



Тьер  
Дэкс

ЖИВАНДИ

## Annotation

Роман Пьера Дэкса дает картину напряженной политической борьбы во Франции в те дни, когда колониальные войска потерпели поражение под Дьен-Бьен-Фу. Это событие заставило задуматься не только солдат и офицеров, но и всех честных людей, в которых Дэкс видит будущее своей родины.

---

- [Пьер Дэкс](#)

- 
- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

- [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
-

# Пьер Дэкс Убийца нужен...

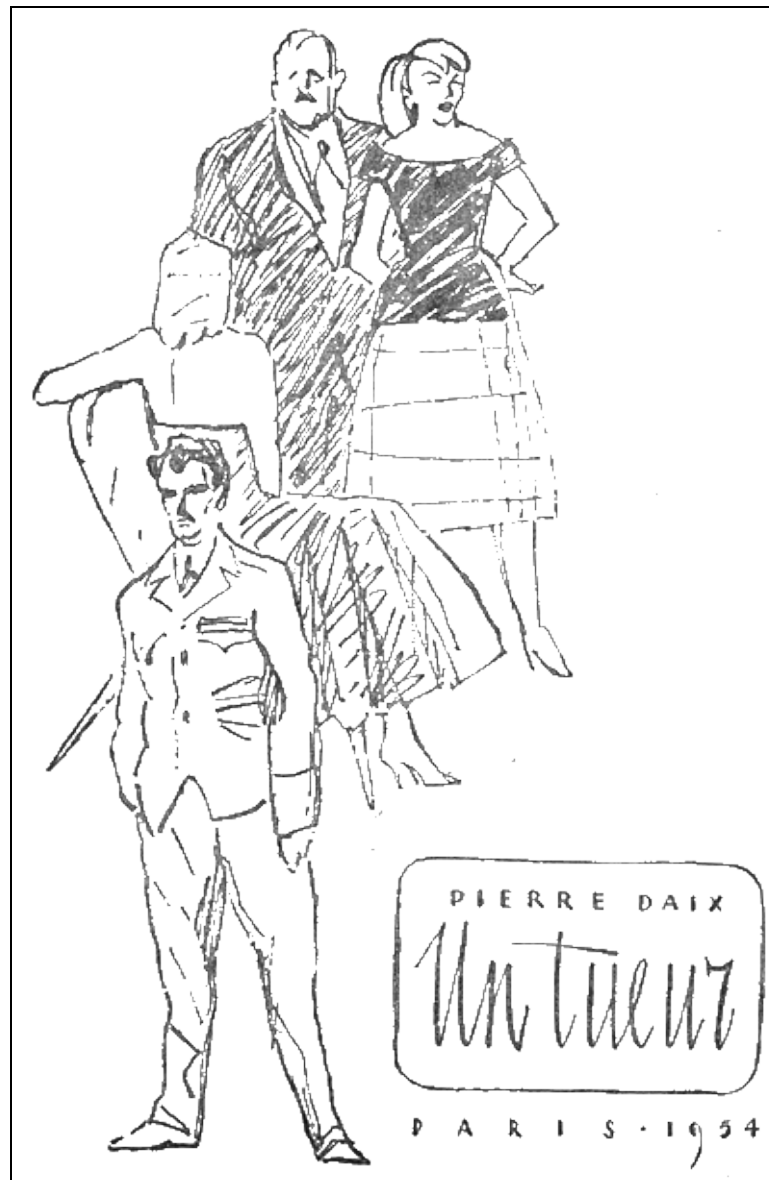
*Мы далеко ушли от приторных времен Людовика XVI. В те дни манера повествования главенствовала над смыслом. В наши дни они поменялись местами.*

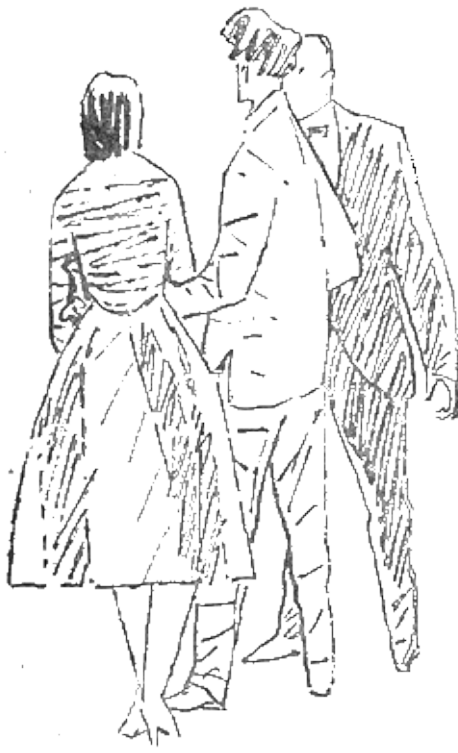
*Прочтите процесс Жюль де Лаваль, маршала де Рэ; придумайте новые применения этой сатанинской энергии. Примите мои уверения...*

*Стендаль. Письмо к г. М. Г... к.*

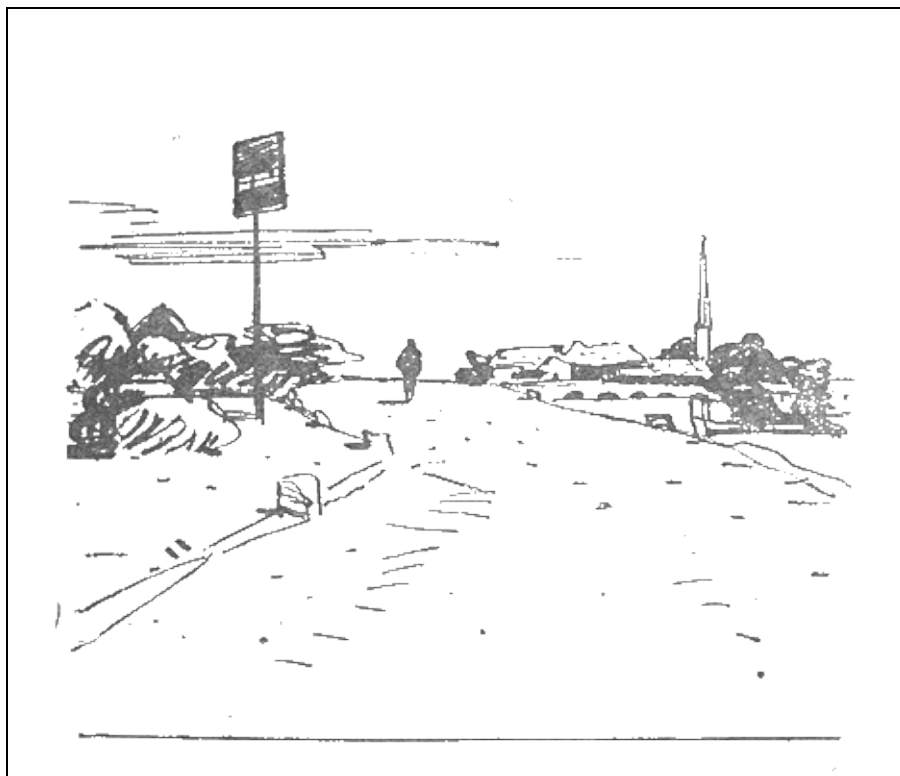
*Посвящается Жозетт, которая права.*

*Всякое сходство между персонажами этого романа и лицами, существующими в действительности, следует рассматривать как чисто случайное и не зависящее от воли автора.*





ТООР  
ДЭК



Отсюда выходишь, точно с крестьянского двора. Сразу за воротами открывается обыкновеннейший деревенский пейзаж — скупая земля, политая человеческим потом.

По обеим сторонам каменистой дороги — массивные тумбы из мягкого известняка. Источенные, изношенные временем, они стоят, точно быки подъемного моста. Но моста нет, а вместо рва — узенькая канавка. И колеи, и обочины дороги имеют жалкий, брошенный вид. Все безлико, серо, нельзя определить ни времени, ни места. Что сейчас, весна или зима? Да, сейчас март...

Даниель Лавердон не чувствовал земли под ногами. Все кончилось, но ему казалось, что недостает еще какой-то последней подписи, завершающего росчерка, после которого можно будет наконец перевернуть страницу. Лопатками он ощущал чей-то безразличный взгляд. Ему не надо было оборачиваться, чтобы убедиться в этом. Ржавый замок проскрежетал и глухо стукнул. Есть! Ворота Центральной тюрьмы остались позади. Он с облегчением засмеялся. Тяжелая, полуприкрытая створка защищала его от любопытных взглядов надзирателей.

Вот сейчас, за первым поворотом, они перестанут его видеть. Оборвется эта последняя связь. За ним разведут мост. Он снова нервно засмеялся, подумав о дураках, которым говорят: «Дверь тюрьмы захлопнулась за ним...» Или они где-то вычитывают это и верят, что так оно и случается, когда попадаешь в ящик. Какими идиотами бывают люди! Готовы верить в любую вонючую чепуху! Семь лет назад он не услышал, как захлопнулась за ним дверь тюрьмы. Не услышал по той простой причине, что тюремный автофургон, въезжая во двор, тарахтел изо всех сил. Позади было двести сорок четыре километра пути. Они сидели в узеньких стальных клетках, по двое, с кандалами на руках и ногах. Кандалы, а не легонькие браслеты. Тюремное начальство умеет по-своему обласкать вечников. Да, тогда им было наплевать на пейзажи. Да и на все остальное им было наплевать. Ни думать, ни слушать они не могли. Видеть сквозь щели тюремного фургона может только свежий, не выжатый допросами и судом человек. Догадываться, где ты едешь, по слуху? Нет, когда тебя охватывает отвращение ко всему на

свете, как это было с ними, тогда ты ничего не услышишь, разве только шум крови, бьющей в виски. И хорошо, что он есть, этот шум. Как-никак, развлечение...

Эти размышления вызвали в Даниеле приятное чувство собственного превосходства. Губы его слегка растянулись. Не улыбкой, нет. Просто лицо стало чуточку мягче. Как и всякий заключенный, он считал дни, отделявшие его от выхода на свободу. «Дело прекращено»... Этот термин сам по себе отгонял всякую мысль о свободе. Теперь, когда это свершилось, никакого удовлетворения Даниель не испытывал и сам удивлялся этому. Он на свободе. А ведь входя в эту клетку, он знал, что выйдет из нее не иначе, как ногами вперед.

Даниель приостановился, несколько растерянный. Конечно, он и не ждал, что за ним приедут на машине. Конечно, нет, но... Он стоял один на пустынной дороге. Ни одной полицейской морды вокруг. Никаких дел, не известно, чем заполнить время. Пачка денег в заднем кармане брюк, где обычно носят пистолет. На первое время хватит. Может быть, он просто в отпуске? Сколько лет не было у него отпуска? Лет девять? Нет, Служба Безопасности замела его быстро. Его схватили вскоре после того, как он вернулся из Германии. Значит, отдыхал он раньше, когда еще служил в дарнановской милиции. Сорок третий год. Бог мой, уже одиннадцать лет! Тогда ему было девятнадцать. Будем считать, что настоящая работа началась после отъезда из Франции. Ему только-только стукнуло двадцать. «А сейчас? Тридцать, дружочек мой, полных тридцать. Свое тридцатилетие ты отпраздновал за решеткой».

Он вздрогнул, услышав чьи-то шаги, и остановился, с трудом затормозив разгон своего восьмидесятикилограммового тела. Нет, никто не угрожал ему. Перед ним стоял жилистый, сморщенный старикашка. Он замер, разинув рот, но ничуть не испугавшись. Ну и пасть! Старик, видимо, родился до появления зубных врачей на земле. По его изумленному виду Даниель понял, что говорил сам с собой вслух. Поколебавшись секунду, он решил не бить старика и умилился своему великодушию. Он ограничился тем, что пожал плечами, сплюнул на щебенку дороги и прошел мимо. Сплюнул просто так, по привычке. В тюрьме грубость считалась хорошим тоном, обязательным, как всякий хороший тон. Отойдя от старика, Даниель на мгновение испытал угрызение совести. Конечно, старику можно было дать в ухо, чтобы он не разевал пасть, но...

Даниель вступал в другой мир. Теперь он был в отпуске и мог позволить себе прощать мелкие обиды. Не надо карать этих уважаемых граждан слишком строго. Пусть по привыкнут, пусть поймут, кто он такой. Дадим им время.

Он чувствовал себя необыкновенно легким, Даниель Лавердон. Лишенным корней, невесомым, готовым улететь при малейшем дуновении. Он поежился. Свежий ветерок ранней весны был здесь ни при чем. Это там, в стенах Центральной, Даниель вздрагивал от него. Может, дело в одежде? Его жалкий костюм восемь лет пролежал на складе, перетянутый веревкой, как колбаса, а рубашку ему перешили из тюремной. Надо быть уж очень тонкокожим или, наоборот, ко всему привыкшей старой клячей, чтобы уловить разницу. Он вздрогнул не от ветра.

Впрочем, здоровье Даниеля Лавердона ничуть не расшаталось. У него нет ни малокровия, ни лишнего жира, ни атрофии мышц, ни даже истощения нервной системы. Никаких болезней. Он уплыл к свободе легко, как отвязавшаяся лодка. Лодка... Он подумал о контрабанде, об ослепительном средиземноморском солнце, о девушках в набедренных повязках бикини. С ними было много смеха, с этими бикини. Мало кто умел с ними обращаться. Их принесли с собой американцы. Что там еще нового на свободе? Здоровенные груди Риты Хейворт да какая-то там атомная бомба. Женщины. На свободе есть женщины. Он плывет по течению, но килевой качки ему не миновать.

Костюмчик выглядел не так уж плохо. Однако ощущение какой-то неловкости не покидало

Даниеля. Когда вещь не носишь столько лет, чувствуешь себя в ней ряженым. Подумав, он понял, что дело в обуви, которая никак не вязалась с остальным. На нем были желтые, остроносые, по-сутенерски щеголеватые туфли. Они были куплены в Марселе, в сорок пятом. Воспоминания не из приятных. Даниель тупо смотрел себе на ноги. Ясно, что выходишь в том барахле, в котором ты был, когда тебя замели. Но почему же тогда костюм его не раздражал?

Он опять посмотрел на слишком острые носы туфель. Любая обувь покажется нелепой, когда протопашь семь лет в деревянных сабо. Ровно 2677 дней — рекорд сидевших по делу лондонского радио побит. Семь лет и почти четыре месяца. В середине ноября сорок шестого он стал номером, № 3019. Это был огромный, черно-желтый номер, оравший с его куртки. А куртка? Не куртка, а какой-то бюстгальтер. Впрочем при его росте... Он хихикнул. А вот размер обуви у него не так уж велик, всего 44.

Семь лет в сабо! Если бы все сабо сохранились, они могли бы рассказать историю его жизни в заключении. Сначала ему попались новенькие, шероховатые, очень большие. Ноги в них болтались и болели. Он вспомнил бесконечные часы «левой-правой» под командой того поганого старосты, который сам когда-то путался с людьми из Сопротивления. Лавердона он ненавидел и донимал чем только мог. Потом эта пара сабо стала совсем гладкой, точно отполированной. Когда пришла пора ее сменить, коммунистов уже не было в правительстве и военным преступникам стало полегче. Вторая пара была такой же нескладной, но ее обработали изнутри напильником и пемзой. Третью ему сделали по блату в тюремной мастерской, и она пришлась ему почти по ноге. А там пошли совсем легкие, их он вскоре даже перестал замечать.

Штаны на нем, были, пожалуй, хуже тех, что он оставил товарищам. Складка на них исчезла, на коленях отвисли мешки. А оставил он хороший комбинезон с четырьмя карманами. Два были прилажены в пахах — очень удобно, если надо что-нибудь припрятать — и два на коленях. А эти штаны просто ни к черту негодились... Он опять усмехнулся, припомнив, что больше всего мучило его в тюрьме. Это был его арестантский халат. Он был ему чересчур широк и, как полагается по тюремным правилам, без карманов, кроме того, он был слишком короток и еле достигал середины икр. Даниель очень высок, вот и все. Он не сторбился в тюрьме, не согнулся. Даниель Лавердон никогда не падал духом.

Еще сегодня утром в канцелярии писарь достал его старые документы, посмотрел на фото и удивился:

— С ума сойти, как мало вы изменились!

Даниель сейчас же принял тон бывалого парня.

— Семь лет — это сущие пустяки, пикник.

Писарь пожал плечами. Он-то провел здесь двадцать восемь лет, больше, чем самый старый из заключенных. Тот сидел с тридцать первого за то, что тяжело ранил сыщика. Теперь он тихонько дотягивал свой двадцать пятый год. Стукач-доброволец, он подрабатывал на табак, отправляя в карцер разных бедняг, нарушивших «правила внутреннего распорядка». Ему платили сдельно, совершенно так же, как сыщиков оплачивают по числу произведенных арестов. Только подешевле.

— Мало изменился!..

Тут Даниель заметил, что опять думает вслух, и перепугался. Уж не свихнулся ли он малость в тюрьме?.. Черт возьми, он даже и не поглядел на нее снаружи!.. Даниель обернулся и увидел, что успел отойти далеко. Отсюда видна была только внешняя стена, больше ничего. Его окружали деревья. На обочине дороги указатель-стрелка: «Ров расстрелянных, 1,5 км». Даниель нахмурился. В свое время они работали чище. Они тоже расстреливали этих «коко», этих коммунистов. Но потом они их, голубчиков, сжигали. Это было гораздо умнее. Именно поэтому сейчас никто не приносит цветов на могилку Даниеля Лавердона. На этот раз он вышел живым.



Живым, здоровым и сильным. И как раз вовремя. Он потерял руки. Теперь все было здесь, в этих руках.

Дорога незаметно привела его в деревушку. Прежде всего надо посмотреть, не ушла ли машина булочника. Булочник недорого возьмет, чтобы отвезти его вместе с хлебом на железнодорожную станцию. Начали попадаться люди. Они окидывали Лавердона беглым взглядом и тотчас же устанавливали: еще один освобожденный. Здесь к ним привыкли. И ничего удивительного. Наверное, в такой деревушке живут одни легавые, жены легавых и дочери легавых. А как он мечтал о женщинах в тюрьме! О женщинах и о белом вине — сухом, прохладном, которое пьешь долгими, блаженными глотками... На воле тюремные мечтания всегда кажутся нелепыми, это известно. Сам себе кажешься идиотом. Зачем ему вино? Сейчас он и так пьян. Его предупреждали: ты опьянеешь от воздуха, от свежего ветра. Так оно и есть. Но это не опасно. Опьянение быстро пройдет. А сейчас лицо его горит и кровь лихорадочно стучит в висках...

Совсем рядом раздался визг тормозов и короткий, робкий гудок. Он обернулся. Оказывается, он загородил дорогу маленькому автомобильчику. Совсем малыш, с крохотным капотом и большим ветровым стеклом. Лавердон расхохотался, точно встретил знакомого. Так вот она какая, эта новая малолитражка! О ней медвежатник Боб прожужжал ему все уши. Взломщик сейфов по основной специальности, Боб был отчаянным автомобилистом. Он не мог говорить ни о чем другом.

Даниель расхохотался еще громче, разглядев, что за рулем сидит кюре. Да-да, настоящий кюре, еще не старый, краснолицый, важный, исполненный достоинства.

Даниель проворно наклонился к окну водителя.

— Отец, не подбросите ли меня до Труа?

Не отвечая, аббат нагнулся, открыл противоположную дверцу и жестом показал Даниелю, чтобы он обошел машину.

Согнувшись в три погибели, Даниель протиснул в дверцу свои сто восемьдесят четыре сантиметра. Оказавшись на сиденье, он выпрямился и очень удивился, что голова его не касается крыши. Теперь рассмеялся аббат, весело и добродушно. Даниель искоса посмотрел на него. У аббата была совсем не глупая, славная рожа. Ничуть не похож на святошу. Скорее даже продувной, если судить по лукавым морщинкам возле живых черных глаз и тонкого рта. Аристократ в сутане. В Баварии в сорок четвертом Даниель знал такого попа. Он почувствовал к нему доверие.

Автомобильчик весело бежал по пустынной дороге.

— Куда вы пойдете в Труа? — спросил аббат.

— Не беспокойтесь, адресок имеется! — засмеялся Лавердон.

— Дело ваше, — сказал аббат.

Лавердон уловил в его голосе оттенок неодобрения и решил, что «адресок» был понят неправильно. Серьезным тоном он добавил:

— Не для глупостей. Это — важное дело, отец...

Надо ли называть его «отец мой»? В конце концов поп не был его духовником, а школьное изучение катехизиса не оставило в памяти Даниеля заметных следов.

— Надо разобраться, что к чему, господин аббат.

«Господин аббат» прозвучало легко, без всякого напряжения. Помолчав, аббат заговорил:

— Я не собираюсь проповедовать вам пост и воздержание, но... никогда не следует терять голову. Деньги у вас есть?

Лавердон помахал пачкой тысячефранковых бумажек.

— Знаете, господин аббат, еще там, в тюрьме, я дал себе клятву: как только выйду —

устрою, кутеж... Ну, и вот... Сам не знаю, зачем я вам это рассказываю...

— Я понимаю вас, друг мой.

— Вряд ли! — живо возразил Даниель.

Аббат медленно повел рукой:

— Я знаю, как действует длительное заключение на нервную систему, и радуюсь вашему благоразумию, сын мой.

— Я был старостой участка, — проговорил Лавердон. — Знаете, что такое конура? Ну, карцер?

— Знаю, — сказал аббат.

Даниель вспомнил Деде, своего помощника по участку. В ночь перед его освобождением Деде ревел в три ручья. Полночи Даниель объяснял мальчишке, что старостой вместо него будет парикмахер Фернан, совсем неплохой парень. Правда, Фернан слишком поспешно нажимал гашетку — так его приучили в ударном батальоне. Он и попал сюда за то, что застрелил заключенного в исправительной тюрьме. Однако с товарищами Фернан был очень мил. Привязчив, как большой пес, и способен на тонкие чувства. В ту ночь Лавердон не сразу понял, что творится с Деде. Мальчишка ревел не только потому, что уходил Даниель. Его бесило, что он, Деде, превратился здесь в мебель, в какой-то довесок к должности старосты, который передается вместе с должностью. И все-таки Деде жалел о его уходе. Он любил Даниеля.

Деде был хороший парнишка. В Центральную он угодил за то, что чересчур поверил кинематографу. С двумя такими же мальчишками он организовал нападение на инкассатора. Смешнее всего было то, что этим щенкам действительно удалось взять несколько «кирпичей», несколько миллионов в банковской упаковке. К сожалению, не все прошло гладко. Прикрывая отступление, Деде стрелял и ранил какого-то болвана, пытавшегося их задержать. А после оказалось, что номера купюр переписаны, и Деде засыпался при попытке разменять деньги. У парня и прежде была нелегкая жизнь. Он работал на фабрике, и заработка его не хватало на приличные штаны. Лилиан, его подружка, еще раньше сделала открытие. Она установила, что девчонка в восемнадцать лет может зарабатывать деньги без особого труда. Самая обычная история. Отец Деде не вернулся из плена. Мать была убита шальной пулей на улице в день парижского восстания. Деде чуть ли не с рождения крутился вокруг черного рынка. Отмену продовольственных карточек он принял как конец света. Тогда мадемуазель Лилиан надоумила его, как добывать деньги. В Центральную Деде прибыл гордым, как молодой петушок. Он размахивал своими пятью годами каторжной тюрьмы, словно визитной карточкой. Его воспитанием занялся Бадэр, в прошлом — комиссар дарнановской особой бригады, бывший старостой до Лавердона...

Молчание затянулось. Машина бежала по безлюдному шоссе. Хороший маршрут для влюбленных или для размышлений.

— А знаете, — сказал Лавердон, — я ведь неверующий. Мне случалось ходить к мессе, но только тогда, когда это было выгодно...

— Знаю, — устало ответил аббат. — Конечно, знаю. Когда-то я был тюремным священником.

Даниелю хотелось, чтобы аббат разговорился, но тот умолк. Внезапно, воспользовавшись тем, что машина выехала на прямую дорогу, аббат повернулся к Лавердону и посмотрел ему в глаза. Взгляд этот был так пристален, точно аббат сквозь голову Лавердона пытался рассмотреть, что делается в придорожном лесу. Что ему было нужно? На шоссе показалась телега, и аббату пришлось отвести глаза.

— Вы не похожи на уголовника. Могу я спросить, за что...

— За сотрудничество с врагом. Так сказали на суде.

— Не надо гневаться, сын мой.

Лавердон изумленно взглянул на аббата. Он и не думал гневаться. Сволочь пришла к власти во Франции. Вот и все. Сволочь использовала нашествие англичан и американцев в сорок четвертом. Когда-нибудь все будет поставлено на место, все снизу доверху. С чего это он болтает о гневе, этот попик? Почему все говорят с ним, как с ненормальным? Опять воспоминания нахлынули на него. В сорок шестом на заседании военного трибунала председательствовал какой-то штафирка в черной шапочке. Он тоже спрашивал: «Скажите, подсудимый Лавердон, почему вы так возненавидели мадемуазель Метивье?»

Даниель ответил ему терпеливо и чистосердечно:

— Она не хотела сказать нам, где спрятан радиопередатчик ее отца!

Тот сладенько захихикал.

— И это вас до такой степени рассердило?

Даниель растерялся и захохотал. Сквозь глухой рокот зала он расслышал отчаянный, умоляющий шепот своего адвоката: «Да!.. Да!.. Говорите „да“».

Но Даниель разнервничался и отчеканил чистую правду:

— Да нет же, господин председатель, я и не думал сердиться!

Тот наклонился вперед с просветленным лицом человека, записывающего очко в свою пользу.

— Тогда скажите нам, Лавердон, почему вы истязали ее так беспощадно.

Даниель ответил, не раздумывая:

— Я же говорю вам, она знала, где передатчик!

Наступило молчание, такое плотное, что его можно было резать ножом. Даниель почувствовал недоброе напряжение зала, и у него вырвался вопль:

— Она была самой младшей в банде, она была женщина, а мы очень торопились...  
Поставьте себя на мое место, господин председатель!..

Но тут председатель заорал, как зарезанный. Он категорически отказывался ставить себя на его место. Адвокаты истицы, размахивая рукавами мантий, точно вороны крыльями, выкрикивали по его адресу всякие слова. Сама Метивье поднялась на своих костылях, трясла седыми патлами и визжала, чтобы его расстреляли немедленно. Адвокат Лавердона во все горло требовал психической экспертизы. Вот это был хай! Когда шум улегся, Даниель вспомнил, что на тюремном жаргоне адвокаты зовутся «слюнявками». Здорово сказано!

С тех пор прошло почти восемь лет. Нет, Даниель ни на кого не сердился. Он убивал, когда приходилось, но без малейшей ярости. Топя Метивье в ванне, он не испытывал никакого удовольствия. Ему просто нужно было знать, где спрятан передатчик. А та коммунистка, которую они изнасиловали. Она была бы теперь старухой, если бы осталась жива. Просто-напросто люди делают вид, будто ничего не понимают, и председатель, и адвокаты наверняка побывали на войне. Да и этот кюре, по всей вероятности, тоже. Будто судьи не знают, что имеют дело с беднягами, прошедшими через лапы легавых? Так чего же прикидываться святыми? Видимо, этого добивалась та сволочь, что добралась до власти. Иначе какой смысл закрывать глаза? Если хочешь поддерживать порядок, разбираться в средствах не приходится. Он, Лавердон, лишь выполнял свою работу. Полезную, необходимую работу. Такую, где сердиться нельзя, где нужно сохранять полное хладнокровие...

Аббат, по-видимому, не хотел нарушать размышлений Даниеля. Лишь когда тот поднял голову, аббат опять принялся за свои вкрадчивые вопросы.

— Есть у вас семья, сын мой?

— Нет... Автомобильная катастрофа в сорок втором...

— Ах так. Понятно. — сказал аббат.

В его тоне Лавердону послышалась нотка снисходительности, и он обозлился. Ни черта он не понимает, этот аббат! Мсье Лавердон старший потерял ногу под Верденом. Пенсии по инвалидности не хватало, жена его держала лавочку-закусочную в Кукурд, между Роанн и Сент-Этьеном, на 7-й национальной магистрали. У отца Даниеля был брат, моложе его десятью годами. В сарае, пристроенном к лавочке, он открыл мастерскую по вулканизации автопокрышек. Дело пошло. В тридцать девятом его мобилизовали. Уходя, он оставил мастерскую на старшего брата. Великое Бегство обеспечило папаше Лавердону небольшое состояние.

В тот год Даниель рассчитывал получать награды в роаннском коллеже. Разгром превратил его в чернорабочего и мальчика на побегушках. Ему только что исполнилось шестнадцать лет. Неистребимо отвращение подростка, вынужденного прислуживать и получать чаевые от автомобилистов. Шумным, непрерывным потоком удирали они по Голубой дороге на юг, платя за все втридорога.

У старика хватило ума правильно поместить свои деньги. Он ловко создал запасы всего того, что исчезало, что становилось редкостью. В марте сорок первого, когда по карточкам не давали почти ничего, в доме Лавердонов отпраздновали первый миллион. Через три недели пришло извещение о смерти дяди, убитого при попытке бежать из немецкого концлагеря. Покойник так и не успел обвенчаться с женщиной, с которой жил.

Папаша Лавердон увидел в гибели брата два положительных момента: возможность не отчитываться по мастерской и возможность заявить во всеулышание, что эту проходимку он и знать не хочет. Та имела наглость рассердиться. В качестве аргументов она выставила шестимесячного младенца и пачку писем, из которых явствовало, что отец признавал ребенка. Тогда Лавердон старший припомнил, что брат встретил эту особу на празднике, организованном коммунистами. Как только Гитлер напал на Советский Союз, дамочка оказалась в концлагере, а ее отпрыск был передан общественной благотворительности. Тогда же господин Жозеф Лавердон был назначен командиром Легиона бывших фронтовиков и начал всерьез подумывать о политической карьере.

Очень скоро Даниель стал одним из тех молодых людей, о которых говорили на модных курортах — Руайа, Шательгюйон, Виши. Он числился студентом лицея в Клермон-Ферране (его отец только что купил в этом городе большое кафе), но предпочитал показываться там не слишком часто. Его видели в компании политических деятелей, любивших окружать себя «новой молодежью». Он лелеял смутную надежду на теплое местечко в одном из министерств. Папаша Лавердон уже видел сына в красивой форме начальника отряда «Французской молодежи».

В лицее, однако, господствовало вредное направление. Несмотря на высокие связи Даниеля, его дважды срезали на экзаменах. Вишистский журналист разразился громовой статьей, бичующей преподавателей, зараженных коммунистическим духом, но статья не залечила ран, нанесенных самолюбию Даниеля. Мечтая о мести, он остался на первом курсе на второй год. Через три месяца снежной ночью Жозеф Лавердон расплющил свой мощный «Ситроен» о поломанный грузовик, с потушенными фарами стоявший на дороге. Он возвращался с банкета, на котором председательствовал адмирал Дарлан. В виде исключения на этот раз с ним была жена: банкет носил официальный характер.

Чтобы вытащить трупы, пришлось резать кузов автогеном. Даниель прибыл к месту происшествия на рассвете и упал в обморок. Этого обморока он никогда не мог себе простить.

Его жег стыд. В отместку самому себе он не стал соблюдать траура и пустился в безудержный разгул. К концу сорок второго года у него не было ни гроша. Нотариус известил его, что задолженность уже превышает сумму, которую он должен получить по достижении

совершеннолетия. Он ограбил еврея в Канне, выдал несколько необеспеченных чеков, но все это были лишь кратковременные отсрочки. Со смертью отца денежный источник безнадежно иссяк. Еще до получения повестки, приглашавшей его явиться в полицию, Даниель сделал серьезный шаг. Он вступил добровольцем в милицию, только что созданную Дарнаном по немецкому образцу. Он не видел другого способа сохранить вопреки всему то, что определяется досадным англицизмом: свой «стэндинг»...

Все это Даниель выложил аббату без запинки. Он ничего не пропускал и не прикрашивал, подсознательная потребность в исповеди руководила им. На минуту он испугался дремавших в нем воспоминаний, но тут же успокоил себя. Возможно ведь, что аббату понравится как раз то, чего он так стыдился. Он покосился на аббата. Тот спокойно ожидал, когда Даниель окончит свой рассказ. Затем сказал, не отрывая глаз от шоссе:

— Печально, сын мой, что у вас нет семьи. Однако не судите строго своих родителей. Простите им!

— Да нет же! — воскликнул Даниель. — Папаша был славный парень. Такой ловкач и умница... — голос его дрогнул.

По лицу аббата скользнуло неудовольствие. Он упорно смотрел на дорогу, но было заметно, что мысли его заняты рассказом Даниеля. Даниель воспринял это как легкую бестактность. Ведь кюре совсем не походил на ханжу, а отец и вправду был молодчина. Он любил пожить в свое удовольствие и не любил, когда ему мешали. Зато он все понимал гораздо лучше, чем мать. Когда Даниель сделал ребенка одной девчужке из бюро Мишлэна, в Клермон-Ферране, мамаша решила, что все пропало. Она требовала, чтобы Даниель немедленно записался в организацию «Французская молодежь», другого выхода она не видела. А родитель без звука отсчитал нужную сумму. Больше того, он дал еще и адрес клиники, где не будет никаких историй. Это проливало некоторый свет на папашины привычки.

В первый раз за много лет Даниель думал о своих родителях. Все-таки они были славные люди, особенно отец. Интересно, что делал бы сейчас старик, будь он жив? Во-первых, он никогда не позволил бы закатать Даниеля в тюрьму, это уже наверняка. Жозеф Лавердон был бы по меньшей мере депутатом и принадлежал бы к той же партии, что и министр юстиции. Для Даниеля все французы делились на две части. На одной стороне — порядочные люди. На другой — всякая сволочь. Сюда входили коммунисты, голодранцы, североафриканцы и евреи. Да где-то посредине были еще МРП.<sup>[1]</sup> Коммунисты — это враги. МРП — предатели. Даниель не знал, почему именно они предатели, но ему столько раз приходилось слышать это в тюрьме. Однако МРП обладали властью помилования, так что...

Даниель успел прочесть на мелькнувшем указателе: «Труа, 14 км». Чтобы сгладить неприятное впечатление, он сказал:

— А знаете, господин аббат, мой отец ходил к мессе каждое воскресенье...

Кюре не сдержал улыбки.

— Я спрашивал вас не об этом, сын мой. Очень хорошо, конечно, что вы так любите своих родителей...

Голос кюре замер. Было похоже, что аббат не намерен продолжать беседу. Лавердон все время чувствовал, что допустил ошибку. По правде говоря, он слушал аббата с удовольствием. Кроме того, ему хотелось быть любезным, чтобы как-то отблагодарить аббата за бесплатную доставку в Труа.

Он спросил:

— И долго вы работали в тюрьме?

Аббата передернуло. Даниель сообразил, что слово «работали» не вполне уместно, но поправляться было поздно. Ясно, за последние десять лет его словарь несколько сократился. А

попу нечего жеманничать.

— Да, в свое время, — уклончиво сказал аббат.

Он умолк надолго и снова напустил на себя вид всепонимающего исповедника. Ну, если он думает произвести впечатление на Даниеля...

— В то время я стремился оказать помощь людям, которых тогдашнее правительство бросало в тюрьмы...

— Тогдашнее правительство... Сволочи! — зарычал Лавердон.

— Простите им. Они же вам простили.

Даниель совсем растерялся. Что он должен прощать? Кому? Мерзавцам, которые прошли через его руки? Из них немногие остались в живых. Этой Метивье? Да она не успеет наплодить ублюдков... Пусть лучше сожрет свое свидетельство о рождении. Теперь уж он до нее доберется. Скоро будет чистка, настоящая, самая последняя. Без дураков на этот раз, без сантиментов. И чего хочет добиться этот кюре своим прощением? Помешать ему, Даниелю? Защитить своих дружков? Ну, нет!

— Всех их надо прикончить! Всех до одного! — И Лавердон обеими руками сделал движение, точно бил из огнемета. Долгими тюремными ночами мечтал он о такой минуте. Могучий поток огня вылетает из его рук — и тела, которых он коснулся, мгновенно становятся кучами пепла. Легкое дуновение — и они рассыпаются в прах. Да, огнемет — хорошая, беспощадная штука... Даниель посмотрел на аббата с высоты своего роста. У того была кислая, недовольная морда.

— Все они — враги христианской цивилизации! — с издевкой произнес Лавердон. — Как вьеты. Всех их пора в расход. Всех вьетов надо уничтожить, об этом я читал у главного бухгалтера тюрьмы. Этот тип засыпался на арасских болах, вы, наверное, слышали об этом. Он получал газеты, там прямо было написано — истребить всех вьетов...

Вам не следует думать об убийствах, сын мой.

Я о них не думаю, господин аббат. Я мог завербоваться в Корею, но не захотел. Впрочем, этого вам не понять...

— Почему? Вы страдали. Вам достаточно одной войны.

— Вы почти угадали, господин аббат, но не совсем. Под конец я угодил в немецкий иностранный легион СС. Я проделал все отступление с немцами от Одера до Берлина, а русские так вцепились нам в задницу, извините за выражение... Когда наверху, в штабе, фрицы решали удержать какую-нибудь позицию, нас ставили туда. А настоящие эсэсовцы, немцы, расстреливали нас, чтобы мы не бежали. Иногда случалось контратаковать. Это делалось для газет, для коммюнике верховного командования... Вместе с нами в атаку шли эсэсовские танкетки, но, конечно, не впереди, соображаете? Немцы уверяли, будто русские расстреливают пленных на месте. Кое-кто сомневался, и немцам приходилось сводить концы с концами. Газеты писали, что мы — отборные части, войска элита...

— Забудьте об этом!

Слова аббата прозвучали, как приказ. Может быть, ему неприятно слушать? Тем хуже для него. Даниель открыл было рот, но снова закрыл его. Нет, лучше помолчать. Все это слишком сложно, да и не привык он объяснять. Осенью сорок четвертого года его часть использовалась для карательных экспедиций против польских партизан. Было приказано широко применять огнеметы. То, что оставалось после их работы, должно было заставить призадуматься живых. А уж о девках нечего и говорить...

Неплохое было времечко. Они имели дело не столько с партизанами, сколько с населением, помогавшим партизанам. А потом их перебросили на охрану немецких тылов, тут им пришлось столкнуться с настоящими партизанами. Это было похуже. В январе, когда русские после

двухдневного адского обстрела прорвали фронтна Одере, легион побежал на запад. На взгляд немецкого командования, он бежал слишком быстро. К ним примчался оберштурмфюрер СС и объяснил, что личное дело каждого сбежавшего будет оставлено русским. «Русские считают участие в карательных экспедициях военным преступлением. Повторяю: военным преступлением. За это они вешают». Стук люка — куик! — и веревка врезается в шею... Впрочем, эсэсовец сражается за своего фюрера до самой смерти. Так что же лучше: быть расстрелянным или повешенным? К несчастью, господин оберштурмфюрер в тот же день поймал шальную пулю в затылок и умер за честь легиона. Но это не решало вопроса.

Даниель не очень-то верил в эти рассказы. Вокруг них жужжала всякая пакость, готовая уложить хоть легион ради спасения своей драгоценной шкуры. Отвратительная накипь долгих военных неудач, сметенная в кучу надвигающимся разгромом. В эти последние дни они даже не пытались задуматься над тем, что их ждет. Легионеры стали обращаться с немками, как со всеми прочими бабами. Лишь огромное количество трипперов заставило их образумиться. Казалось, войне не будет конца, как змее, закусившей собственный хвост. Но в один прекрасный день русские нажали еще разок — и все развалилось. Во Фленсбурге, столице несуществующей империи, воцарился адмирал Дениц, а легионеры занялись своими делами. Лавердон заколол кинжалом французского сержанта подходящего роста. Новая форма и документы превратили его в торжествующего победителя. При проверках он всегда стрелял первым. Победитель быстро вспомнил прежние приемы, и, если французы их не понимали, всегда находился американец, готовый оценить его искусство по достоинству. Лучше всего было возвращаться через Испанию. Для этого было достаточно попасть в конвой военнопленных, эвакуируемых в Швейцарию. Однако следовало поторапливаться, пока оккупационные власти не успели навести порядок.

Вдвоем с приятелем, владевшим несколькими барами на юге, Даниель добрался до Марселя. Там они остановились. Даниель быстро научился получать удовольствие от игры в шары и померанцевой настойки, он уже подумывал о том, чтобы надолго и на свои средства обосноваться за стойкой. А там, глядишь, подвернется возможность удрать в Аргентину... Но не вышло. Хозяин одного из кабаков, где дружок Даниеля имел приличную долю, решил, что лучшего времени для сведения счетов не придумаешь. Деликатно и умело он продал приятелей полиции. Дружок Даниеля был человек довольно нервный. При аресте он вытащил свой пистолет системы «Люгер», и его пристрелили на месте. Даниеля взяли в постели, так что он и шелохнуться не успел. Шпики заявили, что девчонка, спавшая с ним в ту ночь, несовершеннолетняя. В антропометрическом кабинете все выяснилось. Поднялся адский шум: сенсационная поимка крупного военного преступника! Полицейский комиссар утопал в блаженстве...

Скверное воспоминание. Как и тот обморок при взгляде на папашу, искупившего свои грехи. Не надо думать об этом. Не надо. Аббат теперь не отрывал глаз от дороги, руки его судорожно сжимали баранку. «Труа, 8 км».

Лавердону вдруг захотелось пофорсить.

— Знаете, господин аббат, я ничего не собираюсь забывать. Да, хорошее было время. Но сейчас, понимаете ли, я берегу себя для настоящего дела.

— Вы хотите сказать, что готовы начать все сначала?

— А что? Нам жилось неплохо. Скучать не приходилось. Но такое не повторяется...

Аббат вздохнул. Он ожидал продолжения исповеди. Даниель почувствовал, что кюре начинает действовать ему на нервы. Но в конце концов до Труа оставалось семь километров. Не стоило жаловаться, не стоило быть чересчур требовательным. Ведь столько ребят, причем самых крепких, не сумели выпутаться...

Аббат, очевидно, продолжал размышлять. Наконец он сказал небрежным тоном:

— В общем, вы ни о чем не жалеете.

— Конечно, жалею. Как и все, я жалею, что дал себя замести. Посадить, если вам так больше нравится...

— У вас не было другого выхода!

Каждое слово аббата падало, как топор. Даниель сделал над собой усилие и сказал мягко и бесстрастно:

— Выход был. Надо было в сорок четвертом году пролезть в Первую французскую армию, добить немцев, заработать нашивки и сразу же перебраться в Индокитай. Ребята, которые это сообразили, отделались сущими пустяками...

Даниель задумался. Скажем, Филипп Ревельон, старинный товарищ, подкармливавший Даниеля посылками в тюрьме... Он же прислал и деньги, которые Даниель показывал аббату... Так этот Филипп Ревельон вообще не сидел в тюрьме. Когда-то, в первые дни их дружбы, Даниель прозвал Филиппа Бебе. У него тогда и в самом деле была хорошенькая мордочка. Когда они обдывали свое первое дело на черном рынке, Филиппу понадобилась кличка, и прозвище стало кличкой — Бебе. Сначала Даниель не очень доверял этому высокому парню с девичьим лицом, изящному и хрупкому. Однажды Мардолен, милицейский шофер, позволил себе пошутить над Ревельоном. Он уверял, что Ревельона надо звать не Бебе, как его звал Даниель, а Фифи, раз его имя Филипп...

— В честь Петэна или в честь ФФИ?<sup>[2]</sup> — спросил Бебе.

И раньше, чем эта здоровенная скотина Мардолен успел ответить, он получил великолепную, первоклассную трепку. Еще никогда ни один дарнановский молодец не получал такой трепки от другого... За смелость и ловкость Даниель обожал Бебе. Однако во всем, что касалось войны, Бебе был чрезвычайно осторожен. Порой эта осторожность граничила с членовредительством: лучше самому всадить себе пулю, чем получить ее от кого-нибудь другого. Бебе моментально снюхался с немцами, но и порвал с ними при первой возможности, не слишком выбирая средства. Что ж, на этом он ничего не проиграл. А Дуйон, бывший в милиции начальником отряда, как и Лавердон? Вернувшись из Индокитая, он отделался несколькими месяцами, самое большее годом...

Аббат молчал. Лавердон сказал поучающе:

— Сделай и я так — все было бы в порядке. Когда правительство замело всю шпану и отправило ее на Рейн, и я мог бы не менять фамилии. Вполне можно было обойтись без фальшивых документов!

Аббат отодвинул это предположение новым вопросом:

— А что вы собираетесь делать теперь?

Долго же он пережевывал! Даниель окинул его наглым взглядом.

— Собираюсь пожить, господин аббат. Думается мне, в марте должно быть неплохо в Канне. Или на Капри. Солнышко, девчонки начинают смуглеть... Уж не знаю, сможете ли вы меня понять... Во всяком случае, деньги у меня есть!

Вот он и заткнул ему клюв, этому мужлану. Даниелю показалось, что на губах аббата мелькнула тонкая улыбка. Та самая поповская улыбка, которую почти нельзя уловить. Он сердито посмотрел на аббата и вспомнил рассказ одного бывшего попа, сидевшего с ним в Центральной. Тот-то сидел не по политическому делу... Он рассказывал, что и среди священников были такие, что путались с коммунистами. Что делать, разложение проникло повсюду, даже в клир. Даниель недоверчиво взглянул на своего спутника. Пожалуй, этот братец слишком молод и слишком красив, чтобы быть честным, истинно верующим католиком. Даниель захохотал. Неверующий кюре!

Однако он ничего не сказал, только засмеялся еще громче. Как, черт возьми, их называли,



этих типов, которых Рим лишил сана? Забыл. По правде говоря, в тюрьме это его не очень-то волновало.

Они въехали в пригород. Замелькали дома — маленькие, приземистые, грязные. Даниель вздрогнул, представив себе людей, которые живут в таких курятниках всю жизнь... Страшное дело. Вроде тех историй, что рассказывал ему по вечерам мальчонка Деде. Ба, не стоит об этом думать! Скверно то, что денег, которыми он только что хвастался перед аббатом, было совсем немного. Лавердон с тревогой подумал о дороговизне. В тюрьме ему наговорили, что ни к чему нельзя подступиться. Девка — и не первого сорта — берет будто бы пять тысяч. Даже учитывая склонность тюремной публики к преувеличениям, приходилось признать, что с десятью тысячами далеко не уедешь. А у него даже их не было, полных десяти тысяч. Это американцы со своими проклятыми долларами так безобразно вздули цены. Пожалуй, стоит порасспросить о ценах попа. Нет, лучше не надо. Ведь до Труа остается всего несколько минут. Серьезного разговора все равно не выйдет.

Они проехали мимо высокого забора, заклеенного сверху донизу пестрыми афишами. На одной оборванец в берете держал ворох газет. Даниель прочел заголовки: «Юманите», «Леттр Франсэз», еще какие-то... Газеты были сложены гармошкой. Крупными буквами было написано: ОБЕЩАНИЯ СОБИРАЮТСЯ ЛОПАТОЙ. <sup>[3]</sup> Ниже: Слова Жака Дюкло, музыка... Какая-то русская фамилия на «ов». Разобрать ее Даниель не успел. Он наклонился к аббату:

— Это против коммунистов?

— Что именно?

— Вот эти афиши на стенах?

— Ах, да, — рассеянно ответил аббат. — Ничего особенного, это лозунги Жан-Поль Давида. Они вам что-нибудь напомнили?

Опять эта тонкая ироническая улыбка. Даниель проворчал:

— Сволочь.

— Возможно. Но так ничего не изменишь. Я думал, вы это поняли.

— То есть? — Даниель был готов обозлиться.

— Я сказал, что не следует возрождать времена Петэна. Скоро вы сами это увидите.

Лавердон стиснул зубы. Этот гусь считает своим долгом читать ему мораль. Он тоже не без греха, этот попик. И что тут удивительного, когда евреи в правительстве... Лавердон пожал плечами. Все же лучше сохранять вежливость, раз его бесплатно привезли в Труа. Теперь надо во всем разобраться. Такие афиши на стенах — хороший признак. Значит, возвращаются добрые старые времена. Черт с ней, с этой сутаной, ну что она ему может сделать?.. Впрочем, нет. Пожалуй, не стоит показывать попу, куда он едет. Мало ли что, береженого бог бережет. Конечно, такие афиши — это прекрасно, но чересчур доверяться им тоже не следует...

Слева открылась большая площадь, и Даниель сказал, что приехал. Кюре скромно улыбнулся.

— Желаю вам счастья. Постарайтесь употребить во благо вашу свободу.

Можете быть спокойны, господин аббат.

Даниель колебался. Надо ли пожать ему руку? Он наклонился и проговорил очень быстро, заговорщически подмигнув:

— По сути, господин аббат, мы с вами всегда были по одну сторону баррикады. Возможно, встретимся опять, когда начнется потасовка. Ваше дело — успокаивать людей, а мое — идти вперед, бросаться в атаку...

Аббат опять улыбнулся и порозовел, как мальчик из церковного хора, которого похвалили.

— Quis tulerit Gracchos de seditione quaerentes? Вы, надеюсь, не совсем забыли латынь?

— О, конечно! — Даниеля осенило: — Кто потерпел бы, чтобы Гракхи жаловались на

мятеж?

— Кто потерпит, — поправил аббат.

— Правильно, кто потерпит... Вот видите, мы с вами сразу поняли друг друга!

Даниель внезапно расчувствовался. Школьная латынь блеснула из темных недр памяти и взволновала его. Он был невероятно горд. Это было, как франкмасонский знак. Он не сомневался теперь, что они с кюре в одном лагере. Знак не может обмануть его. Кюре — тоже посвященный, он его товарищ. Действительно, разве сволочь может «пожаловаться на мятеж»? Скоро, очень скоро они возьмутся за бунтовщиков сорок четвертого года! «Кто потерпел бы...», нет, «кто потерпит...» Он с жаром пожал руку аббата.

— Эту культуру мы обязаны защищать!

— Поразмыслите над тем, что я вам сказал: мятежники не имеют права жаловаться на мятеж...

Машина ушла. Даниель остался на улице, бесконечно довольный собой. Гракхи — это плебс, сволочь. Нет, кюре — просто молодчина. Впервые за все утро Даниель почувствовал, что он действительно свободен и уверен в себе. Его заставили вести скотскую жизнь, но теперь с этим покончено. Внезапно он понял, что потерял безвозвратно десять лучших лет. И только теперь пережитое заключение причинило ему острую боль.

\* \* \*

По адресу, присланному Бебе, он прибыл в двенадцатом часу. Ехать пришлось далеко, в предместье. Большой, ветхий дом стоял особняком в тихом переулке.

Множество закрытых ставен и жалюзи делали его похожим на монастырь. С шофером такси Даниель расплатился снисходительно. Он только что вышел из парикмахерской. Массаж освежил лицо, кожа стала мягкой и шелковистой. Какое блаженство!

Оказывается, он потолстел — старый пиджак не застегивался на нем. Нейлоновая рубашка, которую он успел купить, давала чудесное ощущение прохлады и комфорта. Он позвонил. Дверь открыла неприветливая особа без возраста, нечто среднее между ханжой и жандармом. Она назвала Даниеля по фамилии и повела за собой. Они вошли в мрачно-торжественную гостиную. Стены были увешаны портретами военных в мундирах прошлого столетия. Было темновато, уныло и неудобно, как на мебельном складе. Пахло мастикой. Через минуту влетела пышная дама с очень белой кожей и очень черными волосами. Ей было около сорока, но признаваться в этом она, видимо, не собиралась.

Звали ее мадам Рувэйр. Она сейчас же поправилась: Мирейль Рувэйр! — и Даниель понял, что это деликатный намек на вдовство.

Видя некоторое замешательство гостя, она охотно уточнила:

— Мой муж скончался пять лет назад. Он был начальником полиции, и в него бросили ручную гранату...

Даниель подумал, не издевается ли она над ним, но она уже рассказывала дальше. Она говорила о дочери, воспитание которой лежит на ней, дочь родилась так рано, она сама еще была девочкой... Ах, сегодня она чуть с ума не сошла от беспокойства: она ожидала мсье Лавердона гораздо раньше... Дама говорила с пафосом и легким провансальским акцентом, растягивая окончания слов. Массивная грудь вздымалась от вздохов. На ней был расшитый блестками черный пеньюар, подчеркивающий молочную белизну крепкой шеи. Даниель слушал ее рассеянно. Он размышлял о том, что по случаю выхода из тюрьмы... Почему-то они оказались совсем рядом. Они почти касались друг друга. Внезапно Даниель посмотрел ей в лицо

и обеими руками спустил пеньюар с плеч на полные руки. Он повторил то самое точное и грубое движение, которым скручивал пленников в былые времена.

На бешеной скорости, почти под прямым углом, Лиз Рувэйр свернула в переулок, где жила ее мать. С большим трудом она выправила свою «Дину», которую занесло на неровных камнях мостовой. Пришлось резко затормозить, чтобы не задеть подвернувшегося велосипедиста. Решительно не было никакой необходимости ездить с такой скоростью. Она это делала просто так, ради острого ощущения.

Лиз слышала, как бьется сердце, подстегнутое испугом. Она остановила машину у дверей и снова нажала на стартер. Мотор заработал. Она выключила зажигание и взглянула на часы. От самого Парижа скорость была 80. Если бы сейчас навстречу попала машина... Ну что ж, Лиз была бы теперь в больнице, а то и в морге. Боялась она только одного — оказаться изуродованной. Зато, когда так мчишься, не думаешь о жизни.

Она взяла с заднего сиденья сумочку и позвонила два раза. Как только дверь открылась, она вошла решительной походкой, почти оттолкнув изумленную Мелани.

— Мадемуазель Лиз!

— В чем дело, Мелани? Я не с того света.

— Вы не предупредили...

— Кажется, я приехала к своей матери.

— Побегу ей сказать...

— Не надо, Мелани, я сама.

Лиз поставила ногу на ступеньку, но старуха проворно забежала вперед и загородила дорогу.

— Что с вами, Мелани? Вы сошли с ума?

— Мадам занята. Лучше будет, если мадемуазель подождет мадам здесь, внизу. Конечно, я не могу давать мадемуазель советов...

Мелани говорила поучающим, самоуверенным тоном. Она появилась в семействе Рувэйр очень давно, задолго до рождения Лиз, поэтому ей часто случалось решать, что следует, а чего не следует делать. Обычно Лиз сердилась и прилагала все усилия, чтобы поставить Мелани на свое место. Однако это ровно ничего не меняло. Но сегодня Лиз ограничилась недовольной гримасой. Если приподнять верхнюю губу так, что покажутся зубы, сразу приобретаешь жестокий вид. Быть жестокой — это хорошо. Она тряхнула совсем свеженькой холодной завивкой и поняла, что задуманный эффект сорвался. От этих локонов голова кажется маленькой. Мамаша обязательно сказала бы: «Ах, какая ты сегодня хорошенькая!..» Мелани посмотрела на нее, удивляясь ее молчанию и встревоженная легкостью одержанной победы.

Подумав, Лиз выбрала из своего репертуара проверенную роль Балованного Ребенка. Неплохо также говорят с прислугой героини романов Мориака. Тонем, подчеркивающим расстояние, суховатым и вместе с тем вкрадчивым.

— Мелани, прошу вас немедленно известить матушку о моем приезде. Я пройду прямо к себе.

Блестящий эффект. Мелани издала какой-то сложный вздох — смесь возмущения и бессилия. Не могла же она не пустить Лиз в ее собственную комнату! Мелани медленно повернулась. На ней все то же платье из черно-серого камлота с корсажем из сурового полотна. Платье, наверное, извлечено из сундуков какой-нибудь древней тетки Лиз, завершившей свой земной путь наставницей в монастырской школе Сакре-Кэр. Мелани двигалась, негибаемо-прямая, чуть презрительная, точно унаследовала вместе с платьем все повадки классной дамы. Идя за ней, Лиз вновь почувствовала себя замуштрованной девчонкой. Не так уж весело,

окончив уроки, найти в единственном человеке, который о тебе заботится, все ту же черствую учительницу. По-прежнему лестница имела жалкий вид, точно в дешевом отеле. И этот убийственный ковер гранатового цвета, обтрепавшийся по краям... На площадке Лиз сковала привычная неловкость. Это был родительский этаж, запретное место, сюда можно входить, только когда тебя позовут. Она вспомнила о брюках из черного трикотина, которые были на ней. Очень удобно для машины, но здесь, пожалуй, умнее было бы надеть юбку. Серьезная тактическая ошибка. Мелани это переживет, но с матерью сегодня надо помягче... Не беда, она еще успеет переодеться. Сделала же она эту дурацкую завивку. Сделала специально для того, чтобы избежать мамашиних вздохов: «Ах, Лиз, опять ты, как цыганка...» Надо жертвовать собой до конца. Пусть все будет в порядке или хоть с виду выглядит так. Завивка держится три дня, и достаточно нескольких капель воды, чтобы от нее ничего не осталось.

Она подумала, что это очень здорово — свалиться вот так, как снег на голову. Здорово... Интересно, избавится она когда-нибудь от мальчишеских словечек? Она тут же поправилась: чертовски умно, что она приехала без предупреждения. Мамаша будет податливее. Эта мысль ее обрадовала. Лиз была высокого мнения о своей цинической мудрости. Где это она читала, что ореховый цвет глаз, как, впрочем, и серый, говорит о сильной, покоряющей индивидуальности? Она поднялась на свой этаж и решила, что сегодня будет вести себя бесстыдно. Именно бесстыдно. Слово ей нравилось.

Конечно, со времени ее отъезда здесь ничего не изменилось. Мимоходом она заглянула в комнату для гостей. Ого! Повсюду разбросаны мужские вещи. Так вот оно, объяснение тайны!

Она вошла в свою комнату и осмотрелась. Сейчас комната показалась ей еще хуже, чем она была в воспоминаниях. А ведь всего полгода назад она здесь жила... Лиз поморщилась, увидев все те же идиотские книжки, аккуратно сложенные стопками на белой этажерке, приторно изящной, как «Молитва девы». Краска кое-где облупилась, обнажая темное, источенное червями дерево. На потолке — все тот же архипелаг, образованный проступившей сквозь штукатурку сыростью. Как они изрезаны трещинами, эти бедные острова... Нет, даже фантазии мечтательного подростка не удалось найти в этом архипелаге счастливый остров Эдем. Острова Южных Морей, какое красивое вранье! Как глупо думать, будто есть еще неоткрытые земли. Совсем недавно в Океании шла война. Батаан, Омоо, Уэйк, Гуам — когда она ходила в школу, этими пряными, волшебными словами пестрели военные сводки. А сейчас этот искусственный рай отравлен затхлым запахом давно не проветривавшейся комнаты. Всегдашняя мамина мания — не открывать окон! Даже во втором этаже, даже если окно выходит во двор... Идиотский страх перед ворами и террористами. Лиз посмотрела сквозь щель ставни: скопление низеньких крыш, больше ничего. Печальный вид. Все так буднично, так заурядно. Горизонтов нет.

Воспоминания нахлынули и поглотили ее. Она увидела себя пугливой девчушкой, мечтающей а ла Гоген. Потом пришли книги Мельвиля, потом — бодлеровский сплин, за ним — сумасшедший ад Артюра Рэмбо... И длинные приступы меланхолии между ними. Мать вздрагивала от каждого шороха, от каждого звука шагов, нарушавшего мертвую тишину провинциальной ночи. Она запиралась каждый вечер на все замки. «Ей было все равно. Унылая грязь зимы, мимолетная дрожь весеннего солнца, влажная жара лета — ей было все равно. Она запиралась...» Примерно так писала Лиз свои сочинения на втором курсе лицея. Писать лучше ей не удавалось. Она вздрогнула, вспомнив, как завоевала себе свободу. Поток воспоминаний окрасился в грязно-серый цвет. Однажды она случайно услышала на черной лестнице звуки поцелуев и осторожные шаги. Какой-то господин уходил от мамы. Начались ужасные сцены из-за денег. Обе научились делать друг другу больно, находить самые злые, самые ранящие слова. Наконец Лиз добилась того, что ее ознакомили с отцовским завещанием. Она выяснила,

что опекуном ее является брат отца, состоятельный тунисский колонист. Дядюшка даже не удосужился приехать на похороны своего брата. Он равнодушно предоставил Лиз пользоваться частью своего дохода.

Все это было так мизерно, что даже не раздражало, это было только скучно. Лиз приезжала в Труа с единственной целью — выпросить, выцарапать у матери прибавку к тому, что ей полагалось.

Внезапно ее охватил испуг. Вдруг она попала в ловушку, вдруг ее заставят жить здесь, в этой клетке? Теперь она жалела, что не позволила Максиму содержать себя. Пожалуй, это было бы честнее. Все равно они спали вместе, а сохранить иллюзию независимости этот дурак помог бы ей куда лучше, чем мамаша... Нет, она приехала сюда и отступать не намерена. Переходя к другому окну, Лиз задержалась у большого зеркала ампир. Конечно, эта дурацкая завивка совсем ей не к лицу. Не идет, это ясно. Она только изломала линию волос, черных и прямых, как на портретах работы Греко. На узком лице мерцали светло-карие глаза, слишком светлые для таких волос. Быть девушкой так же отвратительно, как и девкой. Она сделала несколько кокетливых гримасок. Кудряшки в стиле «хочу понравиться маме» были вполне уместны. Пережевывая отвращение к себе самой стало для нее привычкой. Она часто устраивала такие спектакли, когда они бывали втроем. Максим был партнером, Алекс — публикой. Иногда получалось забавно, но сегодня она и впрямь готова была возненавидеть себя.

Спуститься в гостиную Лиз не решалась. А ведь она дала себе клятву — не уезжать без шестидесяти тысяч. Обстоятельства ей благоприятствовали. В доме что-то неладно, достаточно вспомнить рожу, которую скроила при ее появлении Мелани. Это надо будет использовать. Внезапно она почувствовала, что, по совести говоря, ей вовсе не хочется уезжать с Максимом на пасхальную неделю, ей вообще не хочется ничего делать. И особенно сидеть в этом Париже, где собрались неудачники со всего света. Погода налаживается, а в хорошую погоду это было бы поистине грешно. Мрачные размышления Лиз привели ее к мыслям о матери. Она — случайная мать. Материнство было для нее лишь средством заставить отца жениться на себе. Хоть бы она не пряталась, не лицемерила. Пусть берет любовников открыто, к чему эти комедии... Впрочем, нет, это тоже было бы не слишком весело. Стоя перед зеркалом, Лиз сделала трагическое лицо. Оно ей понравилось. Затем она обратила свой гнев на окно, которое не желало открываться. Еще бы! В этом доме открывающееся окно показалось бы чудом. С большой тщательностью Лиз занялась своим туалетом. Одевшись, она искусно подкрасилась. Сегодня она даст ей урок, этой мадам Рувэйр, своей мамаше. Выражение ярости мелькнуло на ее лице. В зеркале ей показалось, что тяжелые черты мадам Рувэйр на мгновение проступили в ее чертах. Это сходство заставило ее вздрогнуть. Кто знает, что еще она унаследовала от нее?.. А от отца? Не надо было думать об этом. Шутка становилась опасной.

\* \* \*

Когда Лиз спустилась в гостиную, оказалось, что мать ее опередила. Мадам Рувэйр была не одна, с ней сидел какой-то нелепо одетый верзила. Верзила забился в угол, точно профессиональный регбист, которого заставили играть в шахматном турнире. Лиз решила игнорировать его. Регби и футбол она одинаково презирала, а играть в шахматы не умела. Она ловко приласкалась к матери, и ее представили верзиле. Тот, помимо всего прочего, именовался Лавердоном. Лиз сразу вспомнила романы Жоржа Куртелина. Что-то старомодное, допотопное... Тем не менее она слегка присела, сделав подобие реверанса. Она знала, что это движение подчеркивает красоту ее нового платья, перекупленного у манекенши от Диора.

Платье было очень широкое, того светящегося, бледно-зеленого оттенка, который той весной стал модным для кузовов машин. В полутемной гостиной оно, наверное, выглядело прелестно. Лиз осталась довольна произведенным эффектом.

Она почтительно выслушала все, что рассказала ей мать о мсье Лавердоне. Мадам Рувэйр рассказывала со вкусом, употребляя вздохи вместо знаков препинания. Она говорила о непереносимых страданиях, не забывая, однако, уголком глаза посмотреть, нравится ли ее рассказ самому страдальцу.

Что бы Лиз Рувэйр о себе ни думала, она была еще в том возрасте, когда нельзя знать, какой тебя видят окружающие. Мать говорила с ней, как со школьницей. Разочарованная женщина в Лиз рассудила, что мсье Лавердону вряд ли будет интересна воспитанная девчурка, благоговейно выслушивающая мамшины рацеи. Она решила выступить в роли выдавшей виды девицы и обрадовалась своему решению.

— Ты понимаешь, Лиз, — продолжала мадам Рувэйр, — все эти ужасы тюрьмы...

— А много у вас там было педиков? — спросила Лиз с потрясающей простотой.

— Кого? — холодно бросила мадам Рувэйр.

— Педерастов, мамочка, — соболезнующе пояснила Лиз.

Верзила улыбнулся и взглянул на нее совсем по-другому. Всю эту классику Лиз знала назубок. Сен-Жене — Комедиант и Мученик, третий пол и прочее. Она читала даже отчеты Кинсея. Ни мать, ни гость не годились ей в подметки. Мать просто ничего не поняла, а у гостя, видимо, нехватало теоретической подготовки. Имя Жана Женэ было для них пустым звуком. Сообразив это, Лиз решила переменить пластинку. Наивным голосом подростка она спросила:

— Вы верите в фатум, мсье Лавердон?

Никакого впечатления. Мадам Рувэйр перебила ее весьма сухо:

— Твой отец погиб не от фатума.

Лиз подняла глаза к потолку. Сейчас последует очередной куплет о террористах, оплачиваемых Москвой. Неожиданно гость пришел ей на помощь:

— Мне кажется, я понимаю вас, мадемуазель. Я верю в Судьбу, верю в свое призвание. Я верю также, что имею право на многих людей.

— Вы столько страдали, Даниель! — Мадам Рувэйр была в экстазе.

Страдал? Это не бросалось в глаза. Пожалуй, заметны были лишь легкая одутловатость лица да глуповатый вид, который придавал ему слишком короткий бобрлик...

— Восемь лет? — спросила Лиз тоном знатока.

— Это сущие пустяки. Пикник, не так ли? — едко сказал Лавердон.

— А у вас с комплексом клаустрофобии благополучно? — с чуть преувеличенной развязностью Лиз продолжала свой допрос. — Ну, знаете, чувство страха и удушья в запертой комнате и прочее... Вам следовало бы подвергнуться психоанализу...

Это прозвучало, как добрый совет (мол, поступайте, как хотите, если вы такой умник), и Лавердон проглотил приманку. Эта маленькая кривляка принимает его за сумасшедшего.

— Полагаю, мадемуазель, мне удалось сохранить ясность рассудка.

Мадам Рувэйр начинала сердиться. Это можно было угадать по тому, как вздрагивали ее крупные белые ноздри. Лиз скрестила ноги, потянулась, словно кошка, всем телом и спросила с очаровательной улыбкой, нет ли в доме сигарет «Голуаз»... Марки «Голубой диск», разумеется... Расчет был точен. Никогда мадам Рувэйр не пошлет за сигаретами Мелани и никогда не разрешит дочери войти в табачную лавочку. Операция удалась. Верзила отправился за сигаретами с видом побежденного на олимпийских играх. Черт возьми, сравнение неплохое! В бурном порыве дочерней нежности Лиз бросилась матери на шею. Мадам Рувэйр сначала сопротивлялась, но Лиз прочла полный панегирик очаровательному мсье Лавердону. Как только

мамаша смягчилась, Лиз увлекла ее в смежный кабинет, где находился несгораемый шкаф. Ей надо было получить свои шестьдесят тысяч до возвращения Лавердона.

\* \* \*

Обед длился бесконечно, как это часто бывает в провинции, когда продолжительность обеда превышает разговорные возможности сотрапезников и приходится много есть. Лиз сияла, она получила от матери даже больше, чем предполагала. Теперь она кокетничала с Лавердоном просто так, чтобы позлить мамашу.

— Лизетт, доешь все, что у тебя на тарелке! — сказала мадам Рувэйр.

— Ну, конечно, мамочка!

Лиз обменялась с Лавердоном понимающим взглядом, который не остался незамеченным. Молчание сгущалось. Они еще не добрались до сыра. Лавердон ел торопливо, набивая рот большими кусками. Что это, дурные манеры или жадность человека, давно не пробовавшего ничего вкусного? Лиз только собиралась задать этот невинный вопрос, как вдруг Лавердон громко расхохотался.

— Лизетт, я думаю об утреннем разговоре... Ну, насчет фатума... По-моему, всем вам, женщинам, недостает военного опыта.

Лиз так взбесилась, что решила не отвечать на подобную глупость. Какое право имеет этот тип называть ее Лизетт? Она уткнулась носом в тарелку, точно надувшийся ребенок.

— Не понимаю, что вы хотите сказать? — проворчала мадам Рувэйр.

— Только то, что на войне становишься мужчиной, — начал было задетый Даниель. Лиз выпрямилась, точно ужаленная. Губы ее судорожно искривились от злости.

— Подразумевается, что женщиной становятся в постели?

— Ах, Лиз! Как ты можешь говорить такие вещи!

— Не глупи, мама. Пусть на траве. Я-то понимаю, что имел в виду этот господин...

Лавердон грубо расхохотался.

— Ведь именно это вы подразумевали?

— Вовсе нет. Я об этом и не думал.

— Во всяком случае, ваша точка зрения абсурдна. Она нелепа. Да и вообще, что вы можете знать о войне?

— Лизетт, ты переходишь границы! Дорогой друг, извините ее, не сердитесь...

Но Лавердон не сердился. Наоборот, ему очень интересно было бы узнать... Лиз продолжала, торжествуя:

— Во время бегства мне было шесть лет. Помнишь, мама, как нас бомбили в Жиене? Одной старухе оторвало голову, а тебя мы никак не могли найти. Ты спряталась под телегой. Мне было столько же, когда отца принесли на носилках, а наш дом до сих пор забаррикадирован. Мне было одиннадцать лет, когда атомная бомба упала на Хиросиму. Водородная взорвется, вероятно, к моему двадцатилетию. Не знаю, поймете ли вы меня, но я привыкла к войне. Войной меня не удивишь, придумайте что-нибудь другое.

— Конечно, Лизетт, — свысока начал Лавердон. — Конечно, вы poznали страхи войны, poznали ее ужасы. Но вам не приходилось бывать в бою. Именно там становишься мужчиной.

— Вы отстаете ровно на одну войну, мой бедненький Лавердон. Вы все еще воображаете, что бои ведутся на фронте. Когда брали Берлин, мама устроила иллюминацию. Она решила, что это начало войны с русскими. Когда Трумэн послал американские войска в Корею, мама быстренько продала один из домов и купила золото. Война!.. С тех пор как я стала обедать



вместе со взрослыми, за столом не говорят ни о чем другом. Значит, нечего мне рассказывать сказки. Рукопашные схватки хороши для военных сводок. Возможно, что вас они кое-чему научили. Но котировка курсов на Бирже чуточку поважнее, не так ли? И не тебе, мамочка, спорить со мной... Когда мсье Ревельон появился у нас в доме...

Услышав это имя, Лавердон дернулся и выпалил:

— К счастью, Лиз, есть еще люди, готовые сражаться с врагом. Если бы все думали, как вы, некому было бы лупить вьетов.

— А позвольте вас спросить, — упрямо продолжала Лиз — кто будет лупить врага, когда начнут падать атомные бомбы? Вы?... Вас тогда будут показывать на ярмарках среди развалин. «Спешите видеть! Спешите видеть! Даниель Лавердон, человек, спящий в обнимку с водородной бомбой!» Вы просто бредите. Тень на камне — вот что мы такое. Вы, и я, и все остальные. Мы исчезнем бесследно, никто даже не поймет, как это случилось... Если, конечно, на земле еще останутся люди, способные интересоваться прошлым...

— Но это же пропаганда! — закричала мадам Рувэйр.

Лиз не ответила. К чему? Мать не читала ничего, кроме «Фигаро», Лиз успела забыть, к чему она завела этот разговор. Ей хотелось сбить спесь с этого вояки, уколоть, сделать ему больно. Она возненавидела его. Он ей напомнил отца, которого она тоже не любила, сама не зная почему. По его вине она росла одинокой, запуганной девчонкой. А теперь этот мамашин альфонс смеет ее поучать... Оба они твердят свои примитивные истины. Как это говорит Максим: «Я не удовлетворен, значит, я есмь...» Нет, не так. «Я не удовлетворен, следовательно, существую...» Забыла. Да и все равно, им этого не понять, не стоит и трудиться. Впрочем, усталость и отвращение к себе — это колорит эпохи. Как-то, после очередного длинного разговора, Максим сел писать эссе. Вступления и заглавия Максиму удаются. Он готов рассказывать о них первому встречному. Затем заносит их печатными буквами в записную книжку. На этом обычно его работа кончается. Как это у него? Ах, да: «Мы, поколение атомной пустыни, имеем право совершать то, на что не отваживались наши предшественники. Ни божеских, ни человеческих законов для нас не существует... Это называется правом на жизнь...» Там было гораздо длиннее, но все равно, этого им не понять. Максим говорил, что этот трюк оправдывает все, педерастию и грабеж, убийство и кровосмешение. Тогда ей эта теория показалась забавной. «Право на жизнь» — это были ее слова. Но сегодня они не звучали. А тут еще мать жужжала над ухом: американцы то, американцы это...

— Я читаю газеты, мама.

— Но Даниель не мог их читать!..

Лиз приняла свой обычный пресыщенный вид. Придется дать мсье Лавердону некоторые элементарные разъяснения, как иностранцу, только что сошедшему с корабля.

— Газеты, мсье Лавердон? В них всегда одни и те же шарлатанские обещания, которым никто не верит. Мне на них наплевать, я хочу успеть пожить, пока нет войны. Жить или хоть пользоваться той жизнью, которую вы для нас создали...

Мадам Рувэйр залилась румянцем. Это ей очень шло. Лиз помолчала.

— В конце концов мсье Лавердон знал, что делал во время той войны. Он томился в тюрьме, а я томилась на свободе, это еще хуже.

Взрыва не последовало. Вошла Мелани, неся поднос с сырами. Лиз с интересом наблюдала, как в пять секунд мамаша успела превратиться в гостеприимную хозяйку, непринужденную и любезную. Пользуясь минутной передышкой, Лиз возобновила атаку:

— Не знаю, почему бы вам меня не послушать. Получилось так, что нам приходится оплачивать разбитые вами горшки. Мсье Лавердон был на свободе, когда мой отец...

Сильный стук прервал ее. Выходя, Мелани в знак неодобрения бесцеремонно хлопнула

дверью.

— ...мой отец уже дрожал за свою жизнь, — продолжала Лиз. — С тех пор как я себя помню, я вижу только запуганных людей.

— Это потому, что мы проиграли войну.

— Бросьте, Лавердон. Мой отец был убит, когда все вы ходили победителями и были у власти. А мама баррикадировала дом. Она перестала бояться только тогда, когда ей померещилась новая война.

— Если бы мы выиграли войну...

— А разве те, кого вы сажали в тюрьму, шли туда добровольно? Нет, они боялись вас. Вы — это страх. Я ничего не боялась раньше. Но, когда мама стала ждать войны, я испугалась...

— Ты просто позируешь, Лиз.

— А ты ровно ничего не понимаешь, мамочка. Когда писали о бомбардировке корейского храма, об атомной бомбе, о третьей мировой войне, я не могла читать газет. Я не могла думать ни о чем другом. И пошла к мужчине, чтобы не умереть девственной душой...

Мадам Рувэйр ударила по столу пухлой рукой.

— Как ты смеешь говорить такие вещи!

— Я же их делала, мамочка, и вовсе не для того, чтобы позировать. Я считала годы наоборот. Я решила стать женщиной в шестнадцать лет. Я выросла рядом со смертью. Надо было успеть взять хоть что-то. Я твердо решила никогда и ни в чем себе не отказывать. Я не виновата, что мир таков.

Опять Лиз потеряла нить. Она была довольна, что смогла высказать все это. Мадам Рувэйр сделала вид, что ничему не верит, и начала громовую проповедь против фильмов, развращающих молодежь. Есть один, особенно отвратительный. Он доказывает, что всегда и во всем виноваты родители. Кюре с амвона потребовал его запрещения, но фильм продолжали показывать всюду. Нет, она не помнила названия. Что-то из библии. Это уж верх цинизма. Теперь можно безнаказанно издеваться над самым дорогим, самым святым... Лавердон равнодушно поддакивал, украдкой поглядывая на Лиз. Та решила нанести еще удар.

— Надеюсь, мамочка, я не первая женщина, которая спала с мужчиной?

Мадам Рувэйр закусил губу. Она посмотрела на Даниеля, надеясь найти у него поддержку, но встретила лишь его любопытный взгляд.

— Я не хочу быть неудачницей, не хочу быть такой, как вы оба. Не все ли равно, сидеть в тюрьме или запереться в собственном доме, как в тюрьме? Вы сидите и скулите, что не виноваты. А кто же виноват? Кто, объясните мне? Вы, мсье Лавердон, вы типичный неудачник! Вы дали себя победить и засадить в тюрьму. Вы недавно вышли и еще не успели соскучиться. Но не беспокойтесь, это придет. Я уже вижу, как вы укладываете чемоданы и уезжаете в Индокитай. У войны есть положительная сторона, там ни о чем не надо думать. А я не хочу подыхать без капельки счастья!.. Но в прелестном обществе, которое вы для нас создали, получить эту капельку не так-то просто!..

Лиз отлично знала, что Лавердон с наслаждением треснул бы ее по черепу. Губы его дернулись и сжались в узкий, красный шрам, который на массивной нижней части лица выглядел уродливо.

— Так-то ты меня благодаришь, — сказала наконец мадам Рувэйр жалобным тоном.

— За что? За то, что ты родила меня?

Вошла Мелани с корзиной фруктов, и Лиз сама испугалась своей резкости. В конце концов чем провинилась мать?

Хотела заставить отца жениться на себе? Это — ее дело, и нечего читать ей мораль...

— Я вижу, стилиг сейчас не меньше, чем в мое время, — сказал Лавердон, пытаясь быть

насмешливым.

На эту тему у мадам Рувэйр имелся запасной куплет. Даниель чувствовал себя побежденным. Эта маленькая стерва сумела попасть ему в самое больное место. Если бы Бебе ответил на его телеграмму, пришлось бы ехать в Париж на машине Лиз. Тогда все было бы совсем по-другому, тогда мы еще посмотрели бы... Но телеграммы нет. Что у нее за противная манера связывать его с Мирейль, говорить о них, как о чем-то едином... Не беда, все это мы переменим. Дайте только повидаться с приятелями. Мадам Рувэйр успела добраться до коммунистов, которые, по ее мнению, осквернили все. Лиз поднялась и взглянула на часы.

— Я думаю, вы договоритесь, а меня это утомляет. Продолжайте, прошу вас, надо же как-то убивать время, особенно вам, тем, кто провоевал всю войну. Я вас покину. — Она сильно нажала на «вам».

— Будем пить кофе в будуаре, Даниель, — сказала мадам Рувэйр. — Я покажу вам свой аквариум. У меня есть дивные золотые рыбки, Даниель, очень редкие рыбки.

Внезапно Лиз стало стыдно. Мать перестала казаться ей смешной. На Лавердона она не посмела взглянуть и тихо вышла. Ей было очень грустно. К счастью, скоро ехать. Когда ведешь машину, думать не приходится, совсем как на войне. По совести говоря, чем она лучше этих двух обломков, оставшихся в столовой? Так что не стоило ей задираться...

Лиз бегом спустилась с лестницы, а повеселевшая мадам Рувэйр объясняла:

— Понимаешь, мой дорогой, отец прощал ей все, решительно все... И только в память о нем...

Оглушительный стук прервал ее. Мелани всегда говорила, что Лиз не умеет по-человечески закрыть дверь.

Телеграмма от Бебе пришла на четвертый день, К этому времени термометр морального состояния Даниеля успел упасть до нуля. Даниель злился. Зачем Бебе направил его сюда, к этой немислимой дуре? Еще сегодня утром она вполне серьезно предложила Даниелю жениться на ней. Она размечталась о ребенке, которого собиралась ему родить. В ее-то годы! Она рассказывала разные ужасы о своем первом муже и уверяла, что он был старик, совсем старик, в объятия которого ее толкнули родители... Это тоже бесило Даниеля. Во всяком случае, у этого человека хватило мужества на то, чтобы быть начальником полиции. Он погиб на посту, и его память следовало бы уважать. Даниель задыхался от немой ярости. Как мог Бебе довериться такой индюшке? Или он просто налаживал добрые отношения с правительством? Да нет, наплевать ему на Четвертую Республику. Хотя, по словам Мирейль, покойный мсье Рувэйр не раз оказывал Бебе серьезные услуги.

После завтрака в обществе Лиз в Даниеле все вызывало отвращение. Мирейль опротивела ему. Перезрелая тетушка, расплывшаяся, точно корова. В самый раз для неудачника. Он повторял «для неудачника» и не мог освободиться от гнетущей силы этого слова. Когда он вышел из тюрьмы, он казался себе сильной личностью, победителем. В глубине души он твердо верил, что пережитые им мерзости дают ему право на вознаграждение. Не надо ничего требовать. Не надо ничего говорить. Все придет само в свое время. Раз он на свободе, значит, обстановка изменилась. Так казалось ему вначале.

Сегодня, на четвертый день после освобождения, многое выглядело иначе. Только сумасшедший мог надеяться на справедливость, на воздаяние по заслугам. Уже в первое утро, после разговора с кюре, он понял, что не все пойдет гладко. Тогда он еще не успел осмотреться, составить себе мнение. А здесь эта девчонка... Как откровенно она его презирает!

Даниель злился на себя за то, что ее презрение мучило его. Мирейль он ненавидел. С наслаждением отколотил бы он Лиз. Отколотил бы, чтобы успокоить нервы, чтобы убедиться в собственной силе. Обижать Мирейль попросту бесполезно. Она слишком мягкотела, слишком покорна. У Даниеля всегда бывает так. Сначала сопротивление его обескураживает. Затем приходит ярость, сокрушающая все препятствия, она возвращает ему веру в себя, ставит все на свое место... Да, но Лиз наплевать на его ярость, ее здесь нет. А Мирейль уже принялась охать по поводу его отъезда... Недурно он сейчас выглядит — этаким мальчик, этаким котик для старух. Он неудачник. Он погорел и сам не знал, на чем именно, но ощущение провала не покидало его. Он казался себе ничтожным и грязным. Он — нищий, вшивый нищий. Он одет в новое с ног до головы, но за это приходится расплачиваться заточением у Мирейль. Не успел он отпраздновать свое освобождение, как очутился в тесном аквариуме, точно золотая рыбка. Он, восемь лет просидевший взаперти! Что оказали бы ребята, увидев его здесь? Какую рожу скроил бы Боб-взломщик или даже мальчишка Деде? Позор, позор... Скрежеща зубами, он кружил по комнате для гостей той походкой, которой ходят заключенные в одиночке.

За завтраком он не сказал и трех слов. Зато пил очень много. Он хотел знать, не изменила ли ему прежняя устойчивость к спиртному. Оказалось, не изменила. Опыт удался и принес еще один положительный, хотя и второстепенной важности, результат: Мирейль захрапела, не успев даже выпить кофе. Он долго смотрел на спящую. Скандал, необходимый для эффектного отъезда, не получился. Решительно Мирейль лишила его всех радостей. Стоило бы надавать ей пощечин, но ему почему-то не хотелось... Он поднялся и прошел в будуар. Вот он, знаменитый аквариум, новенький, блестящий. Дно усыпано крашеными камешками и обломками коралла. Над ними бесшумно скользили золотые рыбки. Поистине символ его теперешней жизни. Но с

этим покончено... На этажерке стоял забытый пузырек с чернилами для вечного пера. Даниель схватил его и опрокинул в аквариум.

Рыбы заметались, как обезумевшие, а затем одна за другой начали переворачиваться брюхом вверх. Движения их становились все медленнее, рыбы агонизировали. Лишь один крупный вуалехвост еще плавал близ водостока, судорожно шевеля жабрами. Чернила погасили блеск его чешуи, сделали его отвратительным, гнилостно-зеленым. Наконец издох и он.

Даниель тоже задышался в этом мерзком будуаре. Он был весь мокрый, вино бросило его в пот. Истребление рыбок дало ему минуту мрачного удовольствия. Теперь надо было сматываться, уносить ноги из этой дыры.

Он вышел на улицу, и сонное безмолвие провинциального полдня охватило его. Вечером он будет в Париже. Он не был там с августа 1944 года. Почти десять лет.

Идти на вокзал было еще рано, но он решил убраться отсюда немедленно. Переброшенный через руку габардиновый плащ мешал ему, он остановился и надел плащ в рукава. Внутренний карман оттопыривался. Он пошарил в нем и вытащил пачку денег, двадцать тысячефранковых бумажек. Такое великодушие сначала тронуло его, но затем он подумал, что Мирейль знает счет своим деньгам. Его покупали, и он правильно поступил, положив этому конец.

В купе первого класса стояла невыносимая жара, но зато он был совершенно один. Жесткие сиденья его обрадовали. Все четыре ночи у мадам Рувэйр он заканчивал на коврике, возле кровати. После нар Центральной спать на душной перине было невозможно. Он уселся поудобнее и проспал до самого Парижа.

Свидание с Бебе должно было состояться в странном месте. Девятый округ, улица Баллю, возле площади Пигаль. Даниель взял такси и, несмотря на опущенные стекла, задышался всю дорогу. Такси еле ползло, зажатое среди четырех потоков машин. Даниель нервничал, он успел совершенно отвыкнуть от этих постоянных пробок. Он вспомнил, что впервые очутился в Париже в конце 1943 года, и постарался ничем не выказать своего удивления.

В общем город показался ему непонятным и недружелюбным. Тротуары и переходы через улицы кишели хорошо откормленными людьми. Вся сволочь вылезла наружу. Труды Даниеля и таких, как он, пропали даром. Ничего не изменилось, все были против него.

А он-то, болван, радовался, что отделался, отсидев в Центральной! Какой кретин! Достаточно было посмотреть вокруг. Все эти рожи, морды, рыла — все они из красного, крепкого мяса. Вот они — удильщики, воскресные автомобилисты, трусишки, прикидывающиеся храбрецами. Аферисты, взломщики, сутенеры, мелкие жулики — как они важничают, как вертят задом и копошатся на солнышке!.. Веранды всех кафе переполнены ими. Они издеваются над ним, Даниелем. А он-то гордился годами, проведенными в каталажке! Скажи он сейчас, откуда он, поднимется хохот. Или нет, поднимется глухой, враждебный рев. Такой рев встретил его, когда он, приговоренный к смерти, вышел из военного трибунала. Свины! Чертовы свиньи!

Старая калоша медленно катилась, прижатая почти вплотную к огромной машине. Роскошная открытая колымага, черная с бледно-серым верхом, сверкающая никелем и хромом. Человек, сидевший за рулем, на мгновение обернулся, и Даниель подскочил: это был еврей! Подумать только, еврей. Да еще какой — толстяк с огромной розеткой Почетного Легиона. Даниель отвернулся и стал смотреть в окно. Пешеходы изредка пересекали поток машин, которому, казалось, не будет конца.

Добрых сорок пять минут спустя Даниеля высадили перед полицейским комиссариатом. Шутка показалась ему не слишком остроумной, тем не менее его доставили правильно: нужный номер дома находился напротив. Еще один неприятный сюрприз — домишко выглядел мерзко. Некрашенный фасад был густо залеплен грязью, рамы потрескались, окна без занавесей, видимо,

мыл их один только дождь. Пыльная лестница с косыми, выщербленными ступенями привела Лавердона на площадку. Здесь он обнаружил медную дощечку: «Гаво, прокат часов всевозможных стилей». Лавердон сжал кулаки от злости и вытащил телеграмму Бебе. Все было правильно. Он нашел звонок и позвонил. В дверях появился морщинистый старичок в черной шелковой ермолке. Даниель неуверенно спросил мсье Мазарга. К его удивлению, старичок молча повернулся и провел его в нищенски обставленную контору.

Сидя на корточках перед открытым сейфом, Бебе рылся в бумагах. Он стремительно встал, схватил Даниеля за плечи и горячо расцеловал. Он тряс его, хлопал по спине и рассматривал веселыми, смеющимися глазами.

— С приездом, старина! Вернулся издалека, а? Выглядишь совсем неплохо. Есть лишний жирок, но это не беда. Две недели боксерского тренинга — и все будет в порядке. В общем ты ничуть не изменился!..

Он тоже не изменился. Все та же великолепная осанка киногероя. Те же серые глаза, глубоко сидящие в орбитах. Лет тридцать, пожалуй, но ближе к двадцати, чем к сорока. Все тот же светлый и властный взгляд. Вот только кожа поблекла, стала матовой, обветренной. Еще бы, столько прожить в колониях... Темные волосы Бебе были довольно длинные, он их зачесывал назад. «Чертовски интеллигентен, — подумал Даниель, — прямо свинячий профессор».

Он так и сказал. Бебе слегка поморщился.

— Свой тюремный жаргон можешь оставить за дверью. А то подумают, что ты начитался черной серии.

— Чего? — сердито спросил Даниель.

— Детективных романов. Впрочем, в твоё время черной серии ещё не существовало.

— Ну а называть тебя Бебе ещё можно?

Ревельон словно не заметил раздражения в тоне Даниеля.

— Конечно, Даниель. Бебе выручил мсье Филиппа Ревельона. Спас его прическу, как сказали бы у вас в Центральной. Ты думаешь, я забыл дела, которые мы делали вместе? Пропуск, что ты мне достал, и все остальное? А роскошная жизнь, которая у нас началась с той блестящей идеи? Помнишь, как мы обрабатывали этих типов с черного рынка? Я выдавал себя за полицейского, а ты был настоящим офицером милиции...

Этих воспоминаний Даниель не любил. Однако он не мог не радоваться тому, что Бебе так хорошо помнит прошлое.

— В Индокитае я много думал о тебе, Даниель. Если бы ты был со мной...

Между приятелями возникла неловкость. Бебе вытащил из ящика стола большую флягу и отвинтил крышку, служившую стаканчиком.

— Шотландский виски, Даниель. В твоё время мы такого не пили. Попробуй и скажи своё мнение. Надо выпить за твоё освобождение. Оно задержалось, старина?

Бебе протянул ему стаканчик. Даниель взял его не сразу. Что у Бебе за манера беспрестанно подчеркивать расстояние между ними? «При тебе», «в твоё время»... А сам он лучше, что ли? Может, он хочет отказаться от своего прошлого? Отказаться от их общей борьбы? От этой мысли Даниелю стало не по себе. Однако Бебе хлопал его по плечу так сердечно, что все подозрения рассеялись.

— Пей. Виски никогда не повредит. Знаешь, я так рад за тебя...

Опять «за тебя». Это вернуло Даниеля к мрачным мыслям. А Бебе продолжал:

— Не хочешь виски? Значит, кутузка не только испортила тебе язык, она привила тебе узость мысли. — Бебе вытащил маленький золотой портсигар. — Экспортные сигареты «Голуаз». Как видишь, я не перешел на «Честерфильд»!

Даниель покачал головой. Заметив недовольную гримасу Бебе, он сказал почти робко:

— Ты же знаешь, что я не курю!

Растерявшись на мгновение, Бебе разразился громким, мальчишеским хохотом. Своим прежним хохотом.

— Я совершенно забыл, что ты не куришь! Ты не сердись на меня, Даниель?

Лавердон успел позабыть все неприятные мысли. Напряжение разрядилось. Старая дружба жива, а это главное. Даниель мог по-прежнему рассчитывать на Бебе. Ему бы следовало это знать. Как-то раз он наудачу послал Бебе с одним освобожденным весточку из тюрьмы. Через два дня пришел чек на пять тысяч франков, а еще через месяц Даниеля вызвали в зал свиданий. Даниеля никто никогда не навещал. Из родни у него остались лишь какие-то дальние кузены. Он их откровенно презирал, а они раз в год, на рождество, присылали ему поздравительные открытки. Жена его дяди, вернувшись из лагеря, через суд добилась права носить фамилию Лавердон. Она охотно напоминала о своем муже, павшем за Францию. Когда президент помиловал Даниеля, она имела наглость выступить со статьей, в которой возражала против помилования. Она утверждала, что это помилование — оскорбление памяти невинных жертв дарнановской милиции. Шагая по бесконечным сводчатым коридорам древнего аббатства, превращенного в Центральную тюрьму, Даниель приготовился к самому худшему. Совершенно неожиданно он оказался лицом к лицу с очаровательной девчонкой. Яркая и соблазнительная, она стояла за решеткой. Она назвала его «своим женихом», а о себе говорила в третьем лице, как о «его маленькой Доре», чтобы Даниель узнал ее имя. Желая смягчить надзирателя, Дора щедро сыпала ласковыми словечками. Это прелестное создание было посланцем Бебе.

Теперь Даниель вспомнил все это и поблагодарил друга дрогнувшим от волнения голосом. Бебе насторожился, он не любил сентиментов. Чтобы прервать излишества, он вернулся к насмешливому тону прежних дней.

— Она тебе понравилась, маленькая Дора? Мила со всех точек зрения, а? Отличное шасси, надежная ходовая часть, изящный кузов... Я знал, что тебе будет приятно пообедать с ней сегодня, и пригласил ее. Ты сразу почувствуешь себя дома, старина, Дора все время спрашивала о тебе...

Бебе увидел загоревшиеся глаза Даниеля. Они по-прежнему понимали друг друга, и Бебе решил, что настало время заговорить о своих видах на будущее Даниеля. Он опять наполнил стаканчик, и теперь Даниель не заставил себя просить.

— Не суди обо мне по этой берлоге, Даниель. Я здесь не живу. Я держу ее для несчастного старикашки, который совсем запутался после Освобождения. Представь себе, Гаво (да, такова его настоящая фамилия!) еще в молодости решил, что все беды мира происходят от франкмасонов. Когда пришли немцы, он увидел в гестапо долгожданного спасителя. Он выдал гестаповцам тех, кого считал принадлежащими к почтенному тайному обществу или сочувствующими. Когда немцы свалились, у Гаво начались неприятности, но я его выручил. Он — бухгалтер высокого класса.

— Ты открыл дело?

— Я постоянно открываю, ликвидирую и вновь открываю дела. У Гаво — свое маленькое дельце. Он дает напрокат стильные часы всех эпох. Они нужны для театров, киностудий, телевидения. А то и для новоявленных миллиардеров, чемпионов черного рынка. Устраивая у себя приемы, они любят ошарашить публику. Гаво собирал часы всю жизнь, как всю жизнь бичевал масонов. Из страстишки я помог ему сделать профессию. Он зарабатывает себе на жизнь. Каждая покупка новых часов — это пополнение основного капитала. Он счастлив, и в порядке благодарности готовит за меня декларации о доходах. Безупречная работа, дорогой мой. Министерство финансов по-прежнему воображает, что я зарабатываю два-три миллиона в год, и не обижает меня налогами. А я — это между нами, конечно, — надеюсь через два-три года

отпраздновать свой первый миллиард.

— Ты женился на золотой жиле?

— Идиот, я женился на целом синдикате. Химические Продукты и Механические Конструкции. Но не я, а моя жена вступила в выгодный брак. Три года назад, еще до перемирия в Корее, старик Кадус, мой тесть, малость ошибся. Плохо рассчитал колебания цен на мировом рынке. Он верил в длительную войну, чужак человек. А раньше ни за что не хотел верить в возможность войны. В глубине души он довольно старомодный дядя. Это длинная история. Старик хотел запастись американскими заказами и позволил американцам сунуть лапу в свои дела, но с американцами шутки плохи. Еще немного — и дела папаши Кадуса перестали бы быть его делами. Ему необходимо было укрепить свое положение в правлении, и он, чтобы остаться хозяином, решил приобрести втихую контрольный пакет акций нескольких предприятий. Для этого потребовалось около двухсот миллионов наличными. Сам понимаешь, речь шла о его престиже, и он был готов на все. А я искал, куда бы мне вложить свои деньги. Миллионов, у меня было больше, чем дней в году, но я не хотел нескромных вопросов. Женитьба на синдикате меня вполне устраивала. А ему нужен был жених с приданым. На родословную ему было наплевать. Дочка не была ни косой, ни кривоногой. Мы делаем по ребенку в год, и нас считают счастливой парой...

Даниель так разинул рот, точно собирался проглотить Нотр-Дам. Бебе похлопал его по плечу, совсем как в старину.

— Я дрался в Индокитае целый год, Даниель. Получил рану и достаточно орденов, чтобы никто не лез в мои дела. Там одна мелюзга, Даниель, мелкая рыбешка, пескари. Я очень быстро стал известным и уважаемым. Правда, я не нежничал с вьетами, в этом меня никто не мог упрекнуть...

Даниель почувствовал себя совсем легко. Неужели Бебе заговорил, как в прежние добрые времена? Может, он намерен его приручить, умаслить? Эта мысль появилась, но Даниель ее немедленно отбросил. Ему было хорошо, и он хотел сохранить это ощущение подольше.

У конторы был жалкий вид, опровергавший каждое слово Бебе. Неистребимая грязь лежала в трещинах ветхой мебели. Бесконечные будни текли в этой унылой, безрадостной комнате, и каждый день утолщал слой пыли, слой забот, мелких страхов и низких желаний. Даниель долго смотрел на Бебе и наконец произнес:

— Ну да, я понимаю...

У него был такой разочарованный вид, что Бебе фыркнул.

— Не уверен, что ты понимаешь. Это длинная история, она напоминает то, чем мы занимались в молодости. Но хватит говорить обо мне! Что ты собираешься делать?

Даниель качнул свое длинное тело из стороны в сторону, Бебе говорил с ним примерно так, как он сам недавно говорил с аббатом. Люди перестали понимать друг друга. Бледно-серые глаза Бебе смущали Даниеля. Он выкрикнул:

— Драться!

В голосе прозвучал вызов, удививший его самого. В нем была зависть к Бебе, счастливчику, достигшему цели. Была и боль от сознания утраты всего того, что составляло смысл его жизни. А если не смысл, то хотя бы мечту.

— Ломать? — спросил Бебе глухо.

Больше не оставалось сомнений, он говорил на их старом жаргоне, но Бебе уже продолжал как ни в чем не бывало: — Грабежи и налеты сейчас возможны только в Индокитае... Там можно ломать.

— Значит, не ломать, значит, я буду драться здесь.

— Хочешь вступить в МРП? Или стать независимым, как мсье Пинэ, мсье Ланьель или



новый президент республики? В кабинете министров должны быть вакансии...

— Не издевайся надо мной. Я говорю о драке...

— Как в доброе старое время? Кучка обозленных неудачников? Офицеры запаса на половинном окладе... Насколько мне известно, ты не журналист. А черную работу у нас делают ПЛ.

— Кто?

— Перемещенные лица, раз уж приходится тебе все разъяснять. Их много, и они дешевы. Кроме них еще есть типы, удравшие из демократических стран. Их тоже дают тринадцать на дюжину. Потом еще есть добровольцы, вернувшиеся из Кореи. Их выпустили из тюрем и послали на убой. Кое-кто вернулся и... ты сам понимаешь. Их ремесло больше не кормит. А твое дело совсем плохо. Стоит тебе засыпаться, и ты представляешь, что будут писать коммунисты? «Некий Даниель Лавердон, приговоренный к смерти, но помилованный...»

— Они напишут и «дарнановский палач», и «истязатель», и многое другое. Ты хочешь доказать мне, что я никуда не гожусь? Так скажи прямо...

Этот новый взрыв раздражения вызвал у Бебе улыбку.

— Нет. Этого я не скажу. Я хочу, чтобы ты перестал изображать идиота. Старые времена кончились. Кончились. Вбей это себе в голову. Мы у власти, это так, но при условии, что не будем об этом кричать. И мы не можем делать все, что нам угодно. Впрочем, если ты согласен работать в полиции...

— Ишь ты! Сам смотался оттуда...

Бебе смехом прервал Даниеля. Он сказал, передразнивая вульгарный говор приятеля:

— Ишь ты, дружок! Ему дело говорят, а он дурака валяет!..

— Послушай, Бебе, — серьезно сказал Даниель. — Не делай из меня дурака. Я видел афиши на стенах.

Бебе пожал плечами.

— Знаю я, о каких афишах ты говоришь. Так вот, старина, все это — обман зрения. Эти афиши наклеивают долларами, защищают долларами и оплачивают долларами, когда они сорваны и должны быть заменены новыми. Под этими афишами мы прячем от американцев другие, те, что расклеивают коммунисты. Тогда господа из Вашингтона становятся мягче и охотнее выплевывают свои доллары. Наш метод — отводить глаза заказчику. Мы живем в такое время, когда не следует открывать свои карты. Приказ таков: все делать втихую, не высовывая носа. Впереди выборы, не забывай об этом. Обрати внимание: война в Индокитае ведется давно, а правительство начало упоминать о ней всего год назад. До этого мы воевали и помалкивали. Воевали под сурдинку.

— Ты думаешь, раз я просидел восемь лет, так мне и спешить некуда?

— Если ты будешь валять дурака, старина Даниель, ты быстро вернешься в ящик.

Бебе тщетно старался все уладить, он чувствовал, что поздно. Прежние нити рвались одна за другой, разговор становился все напряженнее. Неизвестно почему Даниель начал сердиться на него. Глухая ненависть поднималась откуда-то из глубины. Непокколебимая уверенность товарища оскорбляла его, побуждала противоречить всему, что изрекал спокойный, медлительный голос Бебе. Тот говорил, как преподаватель, повторяющий надоевшие истины. Наконец Даниель не выдержал:

— Но, черт возьми, они же засадили коммунистов в кутузку!

Бебе расхохотался, окончательно сбив с толку Даниеля.

— А ты соображай, старина! Коммунистов выпустили гораздо раньше тебя!

— Еще бы! Когда такая сволочь в правительстве!

— Министры с удовольствием засадили бы всех коммунистов обратно, — поучающим

тоном сказал Бебе.

— Так за чем же дело стало? — завопил Даниель. — Чего им еще надо?

Бебе пожал плечами. Действительно, чего им надо? Почему они не принимают мер, эти типы в правительстве? Сам Бебе давно решил не думать об этом. Он знал, что должен разубедить Даниеля, доказать ему, что час реванша пока не пробил. У них с коммунистами давние счёты, и время сводить их еще не пришло. Это ясно, и бесполезно размышлять об этом. Бебе занимался лишь вещами насущными, требующими немедленного разрешения. Остальное — дело теоретиков.

— Чего же ты молчишь? Отвечай! — гремел Даниель.

Бебе не торопясь уселся в кресло. Не стоит тратить время на утешения. Он потянулся, посмотрел на приятеля и медленно закурил сигарету.

— Поговорим в другой раз, ладно? Я хотел предложить тебе почести и денег — по горло. И можешь ломать, ломать сколько влезет... Понял? У тебя будут почести и жизнь паши, плюс доходы. Мне нужен в Индокитае толковый заместитель. Вот я и подумал о тебе...

Даниель еще не успел избавиться от раздражения. Он ответил почти бессознательно, не подумав:

— Ну, нет! Только не это!

Смутное чувство постепенно определялось. Победа Бебе была поражением Даниеля. Его верность отвергли и растоптали, награждались те, кто успел своевременно переметнуться. Он не сердился на Бебе за прошлое. Но его теперешний успех, его богатство он воспринимал как оскорбление, как пощечину. Выходит, Даниель теперь выглядит таким жалким, оборванным идеалистом.

Бебе смотрел на него ласково, с оттенком сочувствия.

— Как хочешь, дело твое...

Даниель почел за благо скрыть свою досаду.

— Я хочу драться здесь!

Все восемь лет заключения Даниель изображал из себя сильного человека, пресытившегося и разочарованного. Он откровенно издевался над жалкими людишками, погибающими «за идею». В конце концов он сам себе поверил. Пошатнуть его веру не смогли ни государственный обвинитель, ни восемь лет тюрьмы, ни язвительная наглость Лиз. Теперь за него взялся старый друг. Элегантность Бебе, его скромное довольство собой — своей высокой фигурой, сохраненной стройностью, выхоленным телом — все это казалось Даниелю оскорблением.

— Ну, что ж, — непринужденно начал Бебе, — постараемся придумать для тебя что-нибудь другое. Конечно, пока ничего блестящего... — Он поправился. — Разумеется, я не говорю о деньгах: деньги есть, и они к твоим услугам...

Бебе выдержал паузу, подчеркнувшую небрежность его тона. Этого приема у него раньше не было, он появился недавно. Бебе восседал за письменным столом, как начальство, как бывалый бюрократ. Даниель чувствовал себя подавленным и угнетенным. Если бы Бебе нарочно захотел его унижить, он не смог бы придумать ничего лучшего. Каждый имеет право делать маникюр, но для чего, черт возьми, выставлять свои руки! Чтобы показать, какие они красивые?

— Ладно, — продолжал Бебе. — На сегодня хватит серьезных дел. Тебе давно следует поразвлечься, Даниель. Я оказал про Индокитай, чтобы вернуть тебе вкус к жизни. Мне казалось, что лишний миллион в месяц — не так уж плохо для начала...

Очевидно, Бебе ожидал вопросов. Лишний миллион в месяц? Но как? На каком деле? Даниель промолчал, и атмосфера вновь накалилась. До этой минуты они еще ни разу за весь разговор не раздражались одновременно. Теперь их взгляды скрестились. Даниель отступил, мысленно обозвав себя идиотом. В конце концов Бебе был его единственный друг, последний

настоящий товарищ, последняя опора. Этого не следовало забывать. Даниель выдавил улыбку и похлопал Бебе по плечу с притворной веселостью.

Бебе внимательно смотрел на него.

— Ты понимаешь, Даниель, что устроить тебе помилование было не так просто. Мне это удалось благодаря моему положению и моим связям. Я не хочу твоей признательности, мне она не нужна. Я просто даю тебе хороший совет, указываю направление... — Бебе опять налил виски и засунул бумаги в сейф. — За твои успехи, Даниель!

Даниель плохо управлял своими чувствами. Он пробормотал что-то невнятное, силясь поддержать свое достоинство, но из этого ничего не получилось. В его поведении проскальзывали лстивая назойливость попрошайки и затаенная зависть отщепенца. Бебе равнодушно следил за барахтаньем Даниеля. Он запер сейф, и они вышли. Гаво с низкими поклонами проводил их до передней. Напротив, возле комиссариата полиции, великолепная машина ожидала мсье Ревельона. За рулем сидел шофер в ливрее, слишком вежливый, чтобы внушать доверие. Его тщедушное тельце странно не вязалось с широким, бульдожьим лицом. Ни о чем не спрашивая, он мягко тронул машину.

— Это «Фрегат», последняя модель фирмы Рено. Делает сто тридцать километров в час. Таких не было, когда все дороги принадлежали тебе...

— Да, да... — рассеянно отозвался Даниель. Он думал о другом. Совсем недавно, в сорок четвертом году, он и Бебе стояли на одной ступени. Они всегда были вместе. У Лавердона, начальника отряда милиции, была власть. У Ревельона, делавшего закупки для немцев, были деньги. Они были равны. А теперь Лавердон, ставший мучеником за их общее дело, мог рассчитывать самое большее на место служащего в одном из предприятий своего друга, и это называлось возвращением с войны. Их общее дело? Да разве Бебе когда-нибудь дрался за него? Этот сын сапожника сделал карьеру, жадно хватая все то, что Национальная революция могла предложить людям без предрассудков. Он обогатился, подбирая обломки того, что было растоптано сапогами оккупантов. Однако стоит ли ему завидовать? По отношению к Даниелю Бебе всегда вел себя порядочно. Даниель ни в чем не мог упрекнуть его. И все-таки остро завидовал его успеху, его неторопливой уверенности, природному изяществу, рядом с которым Даниель чувствовал себя неотесанной деревенщиной. С этой матовой кожей и глубокими серыми глазами Бебе стал еще красивее и мужественнее. Он должен иметь успех у женщин...

Машина медленно скользила, зажата в огромном заторе. Даниель нагнулся к окну и узнал площадь Клиши.

— О чем ты думаешь?

— О прошлом.

Даниель просто не мог больше произнести — Бебе.

— Кстати, Даниель, я и не спросил, как встретила тебя мадам Рувэйр? В свое время мы с ее мужем сделали два или три отличных дела. Потом ему не повезло. Мадам должна была принять тебя с распростертыми объятиями.

Даниель не шелохнулся, упорно рассматривая что-то на бульваре Батиньоль.

— Я беспокоюсь только об одном, — продолжал Бебе. — Не попыталась ли мадам Рувэйр сэкономить на тех пятидесяти тысячах, что я послал ей для тебя.

— О, нет! — быстро сказал Даниель. — Я думаю, она истратила гораздо больше...

Лицо Бебе выразило сомнение. Затем он улыбнулся широко и сердечно, излучая искренность и теплоту.

— Значит, ты доволен? Вот и отлично. Мадам очень приветлива, но несколько скуповата...

Огромным усилием Даниель сдержался. Ему хотелось стукнуть по чему попало, по своим ногам или по стеклу, раз он не смел ударить Бебе. Это успокоило бы его нервы. Жить он еще не

начинал.

В прошлом столетии Филипп Ревельон, возможно, стал бы Растиньяком. Во всяком случае, начав после женитьбы почитать классиков, он отождествил себя с бальзаковским героем. Напротив, Жюльен Сорель показался ему чуждым и непонятным. Зачем было убивать мадам Реналь, когда и так все можно было уладить? Безусловно, это был необдуманый шаг. Принимать такого юнца всерьез было невозможно.

В шестнадцать лет Филипп оказался на улице. Его матери надоело ухаживать за культурой своего мужа, ставшего инвалидом в 1914 году, и она покинула семейный очаг. Одноногий сапожник забросил свою лавчонку и начал пить. Филипп был брошен на произвол судьбы. Ему пришлось оставить коммерческое училище. Он занялся мелкими спекуляциями, околавываясь вокруг центрального рынка. Шел тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Филиппу подвернулось место в рекламном киоске на Международной выставке. Он быстро постиг хитрые комбинации, которые совершались на набережных Сены. Осенью тридцать девятого года, в первые дни войны, возник черный рынок, открывший для Филиппа новую эру.

Вскоре у него завелось собственное дело.оборотный капитал, необходимый для начала, ему любезно предоставила молодая жена одного рыночного уполномоченного. Меньше чем через два года, в 1941, Филипп оказался без копейки. Зато он свел знакомство с ворами высшего класса. Среди них был крупный чиновник министерства снабжения.

Филипп приобрел опыт. Он понял, что никогда и никому не следует доверять и что начатое всегда надо неуклонно доводить до конца. Эти размышления вскоре привели его в приемные оккупантов. Здесь он приобщился к новой философии. Весь мир прогнил, прогнил насквозь. В день Великой Катастрофы сотрутся все усилия, погибнут одинаково и правый и виноватый. Завтра исчезло, потеряло смысл. Осталось только Сегодня, надо рисковать всем ради него. И он начал рисковать, избирая самые грубые, самые отчаянные методы. Единственная мера предосторожности заключалась в том, чтобы затянуть, отдалить неизбежное крушение.

Юноши его возраста проливали кровь в боях. Филипп Ревельон не верил ни в войну, ни в будущее своей страны, ни даже в деньги, которые зарабатывал. Карьерист без будущего, он был обездолен. У него не было ничего, кроме тела и мозга. В апокалиптическом хаосе, порожденном крушением прогнившего мира, не с кем было считаться. Ничто не связывало его. Он был смел и поэтому не собирался бежать. Он любил радости жизни и поэтому не собирался прятаться. Он хладнокровно считал удары.

Даниель никогда не понимал его. Он судил по себе, мерил на свой аршин. Его огорчало, что родители не оставили Филиппу ничего, кроме нищеты и несчастий. А Филипп испытывал к Лавердону искреннюю привязанность, как к автомобилю, который не подведет. Даниель был единственным человеком на свете, которому Филипп полностью доверял, доверял так, как доверяют надежной, проверенной машине. Начав крупные дела в Индокитае, Бебе мечтал о возвращении Лавердона. Он был ему необходим. Мысленно он уже видел его своим заместителем, помощником, на которого можно всецело положиться.

\* \* \*

Войдя в квартиру, где должно было состояться празднество, Даниель сразу подумал, что Бебе умеет устраиваться и понимает толк в жизни. Они оказались в просторной студии, с галереей, на которую выходили двери комнат второго этажа. Массивная лестница вела наверх,

Судя по маршруту, которым они ехали, квартира находилась неподалеку от Булонского леса. Название улицы — Мальфер — ничего не говорило Даниелю.

За хозяйку здесь была долговязая блондинка, которую звали Мун, манекенша по основному ремеслу. Нетрудно было догадаться, что Ревельон оплачивает изысканный «стэндинг» Мун. Мун часто употребляла это слово, раздражая Даниеля, ненавидевшего все английское.

Дора, его мнимая невеста из Центральной, ничуть не разочаровала Даниеля. Она была поплотнее Мун, с более развитыми формами, ее темные волосы отливали чудным оттенком красного дерева. Даниель понял, что ее положение не так блестяще, как положение Мун. Дора работала для модных, журналов, но, видимо, в штате не состояла и неохотно говорила об этом. Даниелю стало чуточку досадно за нее. Впрочем, обе девушки были хорошо сложены и отлично одеты.

Атмосфера в студии очень быстро стала веселой. Огромная радиолоа, блиставшая лаком и металлом, проигрывала джазовые пластинки, автоматически меняя их. Бебе радовался, как мальчишка. Радиолоа, видимо, была его подарком. Остальная часть квартиры, обставленная с безупречным вкусом, произвела на Даниеля глубокое впечатление. Мун была, бесспорно, очень порядочной девушкой. Когда рассказы о войне и тюрьме перестали развлекать общество, Мун, как любезная хозяйка, включила для Даниеля телевизор. Перед тем как начать танцевать, они порядочно выпили.

Черные мысли покинули Даниеля. Он опять был в своем кругу и веселился от души. Когда он полюбил это бесшабашное веселье? Когда завершал в ночных кабаках длинные студенческие дни или позже? В этом окружении он выправлялся с каждой минутой. Оказывается, он не разучился танцевать. Приятное доказательство того, что его тело сохранило силу и ловкость. Он не изменился, тюрьма не сломила его. Бебе в дьявольском темпе вел фарандолу.

Даниель проснулся утром в одной из комнат второго этажа. Он был начисто отмыт от забот и печалей, тихая торжествующая радость переполняла его. Спокойная роскошь окружала Даниеля. Сквозь огромную бледно-серую пластмассовую штору просачивались золотые лучи солнца.

Даниель чувствовал себя другим человеком. Он отодвинул штору и распахнул окно. Высокие деревья окаймляли ряды белоснежных домов. Казалось, что и дома и деревья медленно кольщутся от весеннего ветра. Даниель долго стоял у окна, впитывая солнце и воздух. Затем набросил валявшийся на стуле халат и вышел на галерею. Внизу, в студии, Мун делала гимнастику. У нее оказалось великолепное тело, и Даниель долго любовался пластической игрой мышц. Нет, это не Дора, это совсем другой класс... Наконец он окликнул ее.

— Хэлло, Даниель! Хорошо спали? Дора в ванной, она умирает с голоду. Бебе сказал, что вы можете оставаться здесь, сколько захотите.

— Он уехал?

— У него дела. И жена.

Даниель молчал. Итак, Бебе представил его своей любовнице, но не своему семейству. Мун снова принялась за упражнения, и Даниель опять не мог оторвать от нее глаз. Теперь он ревновал ее к Бебе. Женщина остановилась, чтобы передохнуть, и спросила, подмигнув в сторону ванной:

— Довольны вчерашним вечером?

Даниель понял не сразу. Ярость мгновенно вспыхнула в нем. Как, и это было подстроено заранее? Мун, по-видимому, прочла его мысли и обиженно улыбнулась. Даниель решил вернуться к себе в комнату. Пока он был гам один, он чувствовал себя хозяином мира. Как в одиночке в ожидании казни. Конечно, он один виноват в том, в чем его обвиняли...

Наступил вечер, и Даниель начал тяготиться вынужденным бездельем. Бебе не возвращался. Мун уехала, в восторге от возможности погонять по городу свою новенькую скоростную серо-белую «Аронду». Наконец пришла Дора и повисла на шее Даниеля. Ну, что ж... Подумав, он решил принять пока что такую жизнь. Это все-таки лучше, чем кокон, в который засадила его Мирейль. Да, там было совсем не блестяще. Не блестяще? Слово показалось ему неуместным. Черт возьми, так ведь это словечко Бебе. Он уже берет у Бебе его словечки, как, впрочем, и деньги.

\* \* \*

Даниель был отлично скроен для жизни. Прямо непонятно, как в коротконогом, приземистом роду Лавердонов могло появиться такое великолепное животное. Говорили, что светлые волосы он унаследовал от предков матери, а огромный рост — от прадеда-пьемонтца. Здоровье у него было прекрасное. Крепкое телосложение и постоянная благосклонность женщин делали Даниеля самоуверенным. Годы войны принесли ему веру в свою силу, в физическое превосходство над людьми. Он был хороший солдат и красивый мужчина. Это давало ему кое-какие нехитрые права, которых не оспаривали даже начальники. Он пользовался этими правами, не размышляя, и никакие превратности судьбы, никакие преследования не ослабили в нем этой привычки. Ни арест, ни смертный приговор не заставили Даниеля задуматься. Во всем была виновата сволочь, чернь, пришедшая к власти. Сидя в тюрьме Фрэн, закованный в кандалы и ожидая казни, он спокойно встречал и провожал каждый новый день, не испытывая ни сожалений, ни угрызений совести. Лишь одно воспоминание было неприятно, как воспоминание о гадкой болезни: он не мог себе простить, что неосторожно заснул в Марселе и попал в руки полиции. Он не верил ни в бога, ни в черта.

Ему отказали в праве на жизнь. Он принял это как удар судьбы. Значит ему не повезло. Он не пытался бороться и хранил свою непроницаемость. Добиваясь замены смертного приговора вечным заключением, его адвокат особенно подчеркивал его привычку к дисциплине, к слепому повиновению. Лавердон не возражал, он выполнял жестокие приказы не только добросовестно, но и с удовольствием. У него никогда не было и тени разлада с самим собой. К президентскому помилованию он отнесся как к должному, увидев в нем подтверждение своей правоты. Он был последователен до конца, и прохвостам из правительства не удалось его уничтожить.

Оказавшись в каторжной тюрьме, он не удивился своему назначению на одну из мелких административных должностей из тех, что исправлялись заключенными. Поддержание порядка было его прямым делом, и он поддерживал порядок. Он презирал политиканов — штатских, сотрудничавших с немцами, и уважал военных — своих товарищей по дарнановской милиции, эсэсовцев, парней из Легиона французских добровольцев. Словом, всех настоящих парней. Постепенно у него выработалась иерархия, почти полностью совпадавшая с тюремной. Главари уголовников его уважали. Политические часто сменялись — приговоры беспрестанно пересматривались. В этом маленьком мире Даниель чувствовал себя хорошо, хоть и несколько одиноко. Поэтому он поддерживал солидарность с представителями обеих групп заключенных, а через них и с администрацией тюрьмы. Так он стал старостой участка. Все доверяли ему, и он считал это вполне естественным.

И вот достаточно было ему повидаться с Бебе, чтобы здание его самоуверенности рухнуло.

Даниель понемногу восстанавливал в памяти пережитые годы. Значит, помилование ему устроил Бебе. И тот же Бебе наладил его тюремную жизнь. Сразу поблек ореол, питавший веру Даниеля в себя. Он вышел из тюрьмы, как и все прочие. Это вовсе не награда за твердость, за то,

что он не склонил головы. Бебе вел какую-то сложную игру, побочным результатом которой и являлось освобождение Даниеля.

Итак, командовал Бебе. А ведь он здорово перепугался, когда парижская мостовая стала уплывать у него из-под ног! Все же он рассчитал правильно, и теперь бухгалтер праздновал победу над солдатом.

Сомнения привели Даниеля к тому, что он начал пересматривать прошлое. Может быть, в сорок четвертом году, вместо того чтобы ехать в Германию, лучше было переметнуться, как Бебе? Он вспомнил то утро, когда их дороги разошлись. Когда-нибудь он напомним Бебе это утро. В конце концов, помогая Даниелю, Бебе лишь выполняет свой долг. Должен же он как-то искупить свою трусость, свое бегство. А может быть, он хочет заткнуть рот Даниелю? Накануне он сильно хвастался, но не сказал ни слова о своих делишках с немцами...

Каждый день приносил Даниелю новые разочарования. Освобождение казалось ему горьким, иногда даже оскорбительным. Впервые в жизни он затосковал и сразу вспомнил предсказание Лиз за обедом в Труа. Чем лечат тоску? Гипноз здесь не поможет. Даниель стал избегать Бебе. Безразличный ко всему, таскал он свою горечь по улицам Парижа.

\* \* \*

Март подходил к концу, и каждый новый день раздражал Даниеля. Погода издевалась над ним, словно передразнивая его настроение. С утра улицы были залиты весенним солнцем и неповторимой свежестью. Мир казался только что созданным, новеньким, как монетка. Потом день тускнел, постепенно превращался во что-то теплое и безвкусное, вызывавшее у Даниеля тошноту. Он таскался по барам, слушал, что говорят об американских атомных испытаниях на Тихом океане. Двадцать три японских рыбака умерли от радиации, от незаметно подкравшейся лучевой болезни. Такая смерть грозила всему человечеству, и куда, к дьяволу, можно было от нее убежать? В баре Фукье какой-то ассистент кинорежиссера, безработный уже третий год, громил фильм Кайатта «Перед потопом». Фильм уже вызвал гнев всех католических ассоциаций. Этот Кайатт — вредный безумец. Он заставил молодежь мечтать о бегстве на Таити, о бегстве от атомной войны. Островов больше нет, достаточно одной водородной бомбы, чтобы отправить любой атолл на дно океана. Алэн Жербо<sup>[4]</sup> в наши дни неизбежно заболел бы лучевой болезнью. Этот радиоактивный стронций беспощадно поражает костный мозг. Представьте себе Гогена в роли подопытной морской свинки для специалистов из Пентагона.

Для Даниеля эти рассуждения были китайской грамотой. Однажды он поймал ассистента режиссера и заставил его разговориться. Прежде всего он узнал, что в портфеле молодого кинодеятеля имеется готовый сценарий короткометражного фильма, посвященного столетию со дня рождения Артюра Рэмбо. Фильм называется «Уйти нельзя». Сценарий читал сам Вайнштейн и отклонил под тем нелепым предлогом, что фильм не будет делать сборов.

— Понимаете, Вайнштейн не выносит вида атомного взрыва на экране. Такой фильм, как «Дети Хиросимы», могли снять только в Японии...

— Он что, еврей, этот Вайнштейн? — спросил Даниель на всякий случай. Собеседник посмотрел на него сначала изумленно, потом с отвращением. Затем он встал, не сказав больше ни слова. Даниель придвинулся к бармену и спросил, кивком указывая на уходящего режиссера:

— Он коммунист?

— Нет, не думаю. Впрочем, киношники такой народ. Сейчас они с американцами в страшной вражде...

— Я говорю не об американцах, они все сволочи, это давно известно. Я говорю о евреях.



— Ах, евреи... — протянул бармен, и было ясно, что он ровно ничего не понял. — Евреи действительно...

Он поспешно отправился ополаскивать стаканы, хотя в этом не было никакой необходимости. Даниель пожал плечами и вышел с глубоко разочарованным видом.

Дора, помешанная на светскости, успела познакомиться его с кучей людей. С мрачным равнодушием таскался Даниель по вечерам и приемам с коктейлями. Бебе был занят своими делами и говорил только о принце Бью-Локе, новом премьер-министре императора Бао-Дая, или же о сражении при Дьен-Бьен-Фу. Мун была чересчур сложной, как и все неработающие женщины. Она слишком любила театры, концерты и прочую ерунду. Да и какое Даниелю дело до нее?

Сегодня Бебе обещал обедать с ними у Мун. Даниель должен был подобрать Дору в сквере возле Оперы и приехать вместе с ней. У него было много времени, и он решил пройтись пешком. Он шагал медленно, чувствуя себя усталым, неспособным резко изменить свою жизнь. Бездействие угнетало его. Всюду его встречали обещаниями и оттяжками. «Вы нам понадобится позже», или «Подождите, ваше время придет»... Оставалось предложение Бебе, но оно по-прежнему не устраивало Даниеля. Браться за грязную работу где-то у черта на рогах, когда его дружок наслаждается жизнью в Париже? Даниель свирепел при одной мысли об этом. Однообразно тянулись дни. Ясные с утра, тусклые и серые после полудня. Теперь Даниель спал меньше, поднимаясь вместе с солнцем. Каждое утро он остро ощущал свою никчемность. Да, он становился настоящим неудачником. А вся эта сволочь, слоняющаяся по Елисейским полям? Стоило сидеть в тюрьме, чтобы теперь любоваться подобным зрелищем! Его просто законсервировали. Когда он начинал скандалить, ему тут же говорили о необходимости создания европейской армии. Прежде всего надо добиться ее ратификации Палатой, это самое главное... Потом, как только ратификация состоится, можно будет наплевать на всякую осторожность, дело для него найдется... Да и разгром Индокитая не за горами. Падение Дьен-Бьен-Фу будет еще одним «божественным сюрпризом», — подмигивали ему. И сейчас же добавляли: «А пока что...», «В ожидании...» — с таким видом, словно хотели сказать: вы пробыли на каторге десять лет, куда вам торопиться? Наконец последовали предложения: в Индокитай — то же, что предлагал Бебе, только победнее. Или в Марокко, или в Тунис. Или на Мадагаскар.

Как будто в Париже не было места ни для кого, кроме этих прохвостов, прогнивших бюрократов, захвативших все командные посты. Они ничего не понимали, эти люди, и Даниель в душе обещал им жестокое пробуждение. Тогда они бросятся разыскивать его, но будет поздно. Если бы он мог устроиться самостоятельно... дать им всем хороший урок. Ведь должны же где-то быть люди его породы.

С ненавистью смотрел он на бесчисленные машины, тесной стаей бежавшие по авеню. Он тоже имел право на машину. Он имел право жить в почете, а не в нахлебниках у Бебе. Имел право ничего не просить у людей и спокойно ждать, когда они сами придут умолять его...

Дора ждала его в сквере, сидя на крохотной террасе кафе. С ней был какой-то уродливый плюгавый блондинчик с нахальной и хитрой рожей. Дора представила его как секретаря редакции какого-то сомнительного еженедельника, для которого она работала. Даниель почувствовал укол ревности, настроение его испортилось окончательно. А Дора, словно нарочно, не отпускала парня от себя. Они говорили о тряпках, о весенних модах. Английские костюмы в этом сезоне изумительны, потрясающие цвета. Присмотревшись, Даниель решил, что маленький гном должен быть педерастом. Он встал и заплатил за мороженое. Дора сказала, что ей нужно обязательно заехать на Елисейские поля. С большой неохотой она распрощалась с секретарем редакции. Не успели они сесть в такси, как она заявила, что английский костюм ей просто необходим, и немедленно...

Ты понимаешь, мой дорогой, сейчас он мне очень пригодился бы, этот маленький Мейер...  
— Опять еврей? — гаркнул Даниель.

Дора пожала плечами совершенно так, как тот маленький кинодеятель двумя часами раньше.

— Не будь идиотом, пожалуйста. Мейер мне очень полезен. У меня, если хочешь знать, тоже было много неприятностей, но я не делаю из этого события...

Она, наверное, спала с немцами, эта дура. Надо бы послать ее ко всем чертям, но странная лень сковала Даниеля. Дора хотела купить костюм, и ей сказали, что лучшие костюмы в магазине Лидо. У нее почти идеальная фигура, она сможет подобрать себе готовый. Чудесно было бы надеть его сегодня же, в честь праздника... Какого, черт возьми, праздника? Ах да, Бебе завтра улетает в Сайгон... Даниель неохотно последовал за Дорой. Ему нечего было возразить. Дора прекрасно обходилась без него, а он не мог остаться без Доры, он слишком боялся одиночества...

Не жалея времени, Дора перерыла весь магазин и нашла именно такой костюм, какой ей хотелось. Он был из модной материи, бледного, серо-голубого оттенка, восхитительно шедшего к ее темным волосам. И к глазам тоже, утверждала она. Даниель подумал, что он так и не видел ее глаз. Они казались ему бесцветными. Когда Дора в новом костюме вышла из примерочной, выяснилось, что глаза у нее голубые и что они вовсе не дурны. Костюм оказался самым дорогим в магазине, а Дора забыла дома свою сумочку. Даниель недавно получил от Бебе свое месячное содержание. Он выложил все, что у него было, и обещал занести завтра недостающие несколько тысяч. Ему пришлось взять обратно пятьсот франков, чтобы рассчитаться с шофером такси. В глазах кассирши мелькнула насмешка. К этому времени Дора выяснила, что в продаже есть такие же костюмы зеленоватого цвета. «Любимый, зеленый пойдет мне еще больше». Она доказывала, что два костюма гораздо практичнее: их можно часто менять, и они не будут изнашиваться... Даниель с удовлетворением услышал, что фирма в любое время исполнит эту модель в том цвете, в каком будет угодно мадам. Несомненно, мадам всегда сможет подобрать желаемый оттенок.

В такси ему пришлось выслушать несколько язвительных замечаний Доры. Он не умеет жить, и ему не мешало бы избавиться от некоторых неприятных черт характера. Пытаясь контратаковать, он напомнил о секретаре редакции. Тогда Дора быстро и четко объяснила, что не обязана отчитываться перед ним в чем бы то ни было. Даниель умолк. В конце концов за костюм было заплачено деньгами Бебе, и если Бебе не видел в этом ничего неудобного...

В тот вечер Бебе был настолько же весел, насколько Даниель был неразговорчив и хмур. Завтра Бебе улетает в Индокитай. Нет, ничего серьезного, опасаться ему нечего, его дела в полном порядке. Началась канитель с переводом банковских фондов из Бангкока, вот и все... Даниель притворился, что его это совершенно не интересует.

— Мне нужно поговорить с тобой, Даниель.

Женщины тотчас же вышли из комнаты.

— Я дал тебе испытательный срок. Ну, как, устраивает тебя такая жизнь? Нет? Я так и думал. Хочешь лететь со мной? Посмотришь все на месте. Увидишь, что это приятная, хорошая работа. Тем более что основную часть времени ты сможешь проводить в Сиаме.

— Я уже говорил тебе: не хочу.

— А подумал ты о себе? Подумал о том, что ты умеешь?

— . . . . . !

— Давай без представлений, хорошо? Ты умеешь только одно: убивать. Точка, все. На этот счет у тебя имеется удостоверение от правительства.

— Перестань, Бебе. Если тебе надоело меня содержать, так и скажи. Скажи прямо.

Бебе вытащил бумажник и достал оттуда заполненный и подписанный чек.

— Не корчи злой рожи. Я так и знал, что ты будешь артачиться. Вот деньги на то время, пока меня не будет. Только не валяй дурака. Когда я вернусь, я подберу тебе подходящее развлечение.

Даниель взял чек, как ему сначала показалось, на двадцать тысяч. Он взглянул на сумму прописью: чек был на двести тысяч. Он с трудом перевел дух.

— Не волнуйся, — сказал Бебе. — Сегодня двумя телефонными звонками я заработал гораздо больше. Я рад, что могу помочь тебе. Да, чуть не забыл: без меня машина и шофер будут в твоём распоряжении. Я улетаю ненадолго, но дней десять, пожалуй, там провожусь.

— Ты серьёзно думаешь, что здесь для меня нет ничего подходящего, Бебе?

— Читай газеты. Видел, как прошли выборы в департаменте Сена-и-Уаза? Коммунисты получили сорок пять процентов голосов. Я подберу тебе любое место, Даниель, какое ты захочешь. Только в Сайгоне ты сможешь работать в полную силу.

Даниель с подчеркнутым раздражением передернул плечами. Бебе заговорил ещё настойчивее.

— Главное, Даниель, чтобы в великий день ты был цел и невредим, чтобы на твоём текущем счету была куча миллионов. А сейчас пусть другие разбивают себе башку. Ты вернешься через полгода в полной силе. И сразу окажешься с той стороны, с которой дергают за веревочки...

Даниель глядел на Бебе, не решаясь помять его до конца. У Бебе был все тот же вид самоуверенного спортсмена, но в голосе проскальзывали усталые, разочарованные нотки. Поэтому уверенность его отдавала блефом.

— Пойми, Бебе, я не хочу барахтаться в грязи, выколачивая деньги.

— Все деньги, все тысячефранковые билеты, которые есть в обращении, пахнут грязью. Этот чек, что ты держишь в руках, чист. Сравнительно чист. Он порожден страхом тех, кто копошится в грязи. Тех, кто перетаскивает грязь с места на место. Я прошел все ступени, Даниель. Сейчас я торгую безопасностью. Я перевожу фонды, гарантирую переброску ценностей, подбираю надежные капиталовложения. А сам зарабатываю на панике. Это квинтэссенция грязи, но такова традиция. Мой тесть — образованный человек. Он напомнил мне, что отец Горио у Бальзака составил себе состояние на голоде, который сам организовал. Чем сильнее воняет политика, тем легче заработать на ней деньги. Бао-Дай или план Маршалла — это, как говорится, живые деньги.

Даниель колебался, соблазн был велик. Потрясти этих сволочей, заставить их выблевать деньги... Как того еврея, которого он ограбил когда-то. Чек жег ему пальцы. За что он просидел восемь лет? Если бы предложение исходило от кого-нибудь другого, не от Бебе, он согласился бы немедленно. Но принять предложение Бебе значило поменяться с ним прошлым. А в прошлом у Даниеля были кандалы смертника и еще кое-что, с чем ему не хотелось расставаться.

Заметив смятение Даниеля, Бебе подошел и взял его за руку.

— В конце концов я к тебе привязан. Тебе сильно досталось, ты один из всех нас сохранил верность юношеским идеалам. Мы бросались вперед очертя голову, сжигая за собой мосты. А те, что посылали нас на смерть, отсиживались в тылах и думали о своем будущем...

Они подошли к окну. Бебе стал к нему спиной, точно хотел отрезать Даниеля от внешнего мира.

— Слушай, старина, я надоедаю тебе в последний раз. Я не могу предложить тебе ничего определенного. Только возможности, только шансы. Не думай, что я хочу отослать тебя, чтобы избежать угрызений совести. Я знаю все о вишистских министрах. Они приезжают, мило раскланиваются с тюремной дверью и уезжают чистенькими. На это требуется времени меньше,

чем на то, чтобы принять ванну. Знаешь, что они хотят сделать с тобой? Ты — никто. Ты — орудие для грязной работы. Когда работа сделана, тебя можно выбросить. А если ты начнешь возражать — окажешься в очередном Дьен-Бьен-Фу, по уши в дерьме. Ты — убийца, ты специалист, вкус крови тебе известен... Видишь, уже от одних разговоров у тебя загорелись глаза. Успокойся, здесь никого не надо топить в ванне, и у тебя в руках нет бычьей жилы...

Бебе повернулся лицом к окну, за которым сгущались сумерки. Ему самому никак не удавалось поверить в то, что он старался внушить Даниелю. Его молодость давно прошла. Он спасся, потому что был силен и сумел не потерять головы в час катастрофы. Он вспомнил холодный рассвет. В то утро он выскочил из машины, увозившей Даниеля в Германию. Их молодость была мифом. Он еще тогда понял, что его участь не должна иметь ничего общего с участью Лавердона и ему подобных. В боевых отрядах дарнановской милиции он не состоял. Он, правда, вступил в милицию и пользовался привилегиями вступивших, но не успел ничего сделать взамен. Уже тогда у них выло различное прошлое и различное настоящее. А сейчас, десять лет спустя, что может быть общего между ним и молодым парнем, охваченным паникой в дни великого парижского мятежа? Он, Филипп Ревельон, сумел приспособиться к новой жизни. Он не подчинялся импульсам, он охранял свои интересы. Так было всегда. Сейчас дела в Индокитае начинали его тревожить. Они были слишком тесно связаны с политической обстановкой, с борьбой партий, и он хотел передать часть этих дел Даниелю. И вдруг вместо помощника он увидел в нем потенциального врага, который сейчас еще не понимал этого, но потом... Потом он непременно обернется против Бебе, как и все, кому он делал добро. Так было с Дорой и с шофером Джо. Один только Гаво был вполне надежен. Да еще Мун. Впрочем, Мун не участвовала во всех этих историях, она была просто красивой женщиной, и все. Жаль, он надеялся на Лавердона, и ему не хотелось бросать дела, так удачно начатые во Вьетнаме... Он устало сказал:

— Как хочешь, Даниель.

— Ты ни во что не веришь, Бебе.

— А кто, по-твоему, верит?

Слегка подавшись вперед, Бебе ожидал ответа. Даниель молчал. Бебе заговорил, постепенно озлобляясь:

— Наша юность? Маленьким буржуа внезапно преподнесли все привилегии дворянства. Преподнесли бесплатно, с единственным условием: когда понадобится — выполняйте приказ. Все привилегии — от распутства до убийства. Мы думали, что платить не придется никогда. Помнишь, как все вы издевались надо мной, когда я говорил, что нет чека без корешка, что любая поблажка регистрируется, что счет ведется и в свое время будет предъявлен. Платить пришлось. Я говорю не о тюрьмах и не о тех, кого укоротили на голову. Все мы тогда ничего не понимали. Мы не были ни дворянами, ни кондотьерами, ни даже авантюристами. Те, что влезли в драку, стали поденщиками, чернорабочими в мундирах. Я говорю тебе это, Даниель, не потому, что я перешел на другую сторону баррикады. Я не переходил. Но я перестал быть зрителем. Теперь я постановщик. Я не получаю жалованье вместе с вами, я его плачу. Я сам подбираю и готовлю таких парней. Не совсем таких, конечно. Те были лучше, и не так просто их заменить: новые еще не выросли. Но зато я понял всю механику. Сначала проделываются доблестные трюки, для публики, для того, чтобы верили и подражали. Потом другие, сортом пониже. Тут парней прибирают к рукам, и бежать им уже некуда. Они тупеют, становятся безмозглыми обломками. А потом министры, дергающие веревочки, спрашивают с постным видом: куда прикажете девать эти отбросы?

— С нами было иначе!

— Конечно, Даниель. Вы были первыми, лучшими. Ты, например. Но сейчас ты сидишь в

этой комнате, и вовсе не потому, что трусишь. Двадцатилетнего обмануть легко. Тридцатилетнего не проведешь. Полжизни прошло, а запасной не будет.

— А как же быть с этой сволочью?

— Надо к ней приспособиться, Даниель, раз ничего другого не остается. Впрочем, топить в ванне больше никого не придется, дело решат водородные бомбы. Но с ними надо обращаться осторожно, бить только наверняка. Знаешь, во что обошлась свободному миру эта война? А Китай?

— Значит, ты хочешь сдаться?

Даниель все еще держал в руке чек. Он смял его в кулаке, но Бебе ловко схватил приятеля за кисть.

— Спокойно, Даниель. Эта музыка мне известна. Подумай, прежде чем разыгрывать осла.

\* \* \*

На следующее утро они опять встретились в студии. Даниель сделал гимнастику и чувствовал себя свежим и отдохнувшим. Он не без удовольствия отметил, что Бебе осунулся. Видимо, вчерашний кутеж не прошел даром.

— Я и не знал, что ты стал политиком, — проворчал Даниель.

— Ты хочешь сказать, что я низко пал? Как видишь, я еще помню нашу прежнюю классификацию ценностей!

— Пожалуй, что так, — согласился Даниель.

— Я еще не все объяснил тебе вчера насчет бомб и ответственности. Большевизм — это всемирный заговор, так? Учти, что они умеют организовать людей и заставить работать миллионы и сотни миллионов. Подумай о Китае, о Черной Африке... Второй мировой бунт рабов, старина. Первый назывался христианством, это была ерунда. Тогда не было ни печати, ни радио, ни кино. Не прошло и трех столетий, как опять все было в порядке, и даже крепче прежнего. Теперь — другое дело. Надо держаться. Дипломатии больше нет, скрыть правду невозможно. Секреты еще допустимы в денежных делах, но не в политике. Там все тайное становится явным. Значит, нечего и скрывать, чтобы люди не подумали худшего. Бросим это. Я вовсе не хотел угощать тебя кошмарами, я только хотел, чтобы ты знал, чего держаться.

— Но тогда почему меня освободили?

— Это было не самое трудное. И потом не воображай, что тебя освободили. Свободен ты будешь в Сайгоне, но не здесь.

— Неужели мне придется идти работать в полицию?

Бебе зевнул. Трудно разговаривать с этим ослом.

— Может, они и возьмут тебя. Жалованье тебя устроит? Гам масса людей, горько сожалеющих о расстреле английских парашютистов. В полиции и окончится твоя уютная маленькая мечта.

Внизу на улице раздался сигнал машины. Надо было ехать. Бебе понял, что все умерло между ним и Даниелем. Умерло навсегда. Жаль, Лавердон мог бы стать отличным исполнителем.

Проводив Бебе, они возвращались на «Фрегате» с аэродрома Орли. Бульдогообразный шофер понемногу оттаял и разговорился. Его звали Джо. «Мсье Джо!» — с важностью поправил он. Еще не доехав до Вильжюифа, он успел рассказать две тюремные истории времен «странной войны». Он был арестован в превентивном порядке, по подозрению в шпионаже. Его вывезли за границу, и Джо предусмотрительно вернулся во Францию лишь в 1947 году. Поэтому он отделался дешево — всего лишь поражением в гражданских правах. Он сообщил Даниелю, что тогда в тюрьме Санте кормили отлично, а в тюремной лавочке можно было купить все, вплоть до галстуков бабочкой.

На площади Италии они остановились у ресторана Розе. После трех бутылок божоле Даниель прекратил финансирование, хотя мсье Джо выглядел вполне трезвым. Он стал лишь чуточку многословнее. Бульдожий тип он сохранил полностью, но теперь это был бульдог со слезой. Они отбыли от Розе в должном порядке и продолжали объезды и выпивки, оплачивая их поочередно. К вечеру они приземлились в обширной задней комнате какого-то незнакомого Даниелю кабака. Она была набита людьми, преимущественно молодыми, которые замолчали при их появлении. Джо принялся всем подряд пожимать руки и громогласно представил Даниеля. Вокруг заулыбались. Кое-кто еще помнил его процесс. Лед был сломан в одну секунду, Даниеля приняли как героя.

Больше всего он был поражен тем, что среди присутствующих увидел немало чиновников и официальных лиц. Тут были даже два члена кабинета министров. Вскоре Даниель убедился, что осторожность Бебе здесь не в почете. Все говорили в полный голос о предстоящем крушении режима, о необходимости расставить на центральных постах подходящих людей. Генеральная чистка, видимо, приближалась.

Воздух был напоен острым запахом грядущего реванша. Ждать оставалось недолго, как только европейская армия будет создана... Никто в этом не сомневался. Один из присутствующих многозначительно заметил, что генерал де Голль предал возлагавшиеся на него надежды. Словом, все шло отлично, и Даниель от души хохотал над анекдотами о Бидо, которых не понимал. Анекдоты эти рассказывал долговязый и белокурый мальй, энергично именовавший г-на Бидо паяцем и соломенной циновкой. Джо великодушно пояснил, что в соломенные циновки заворачивают бутылки дорогого вина.

Даниель охотно посидел бы здесь подольше, но его тревожило состояние Джо. Даниель хотел добраться до дому в целостности и сохранности, а сам он не водил машину уже много лет. С трудом он убедил Джо, что пора подниматься. Они встали, когда к Даниелю подошел грузный, седеющий человек.

— Лавердон? Моя фамилия Рагесс. Вы меня не знаете. Я подошел к вам потому, что при случае смогу быть вам полезным. Я из политического отдела Сюрте.

Даниель подскочил.

— Да-да, — сказал Рагесс, — и все же успокойтесь, ведь я не на службе. Я зашел сюда в память о брате, который погиб, сражаясь в бригаде Шарлемань.<sup>[5]</sup>

— Вот как, — с интересом сказал Даниель.

Рагесс был толстый дядя. Красные прожилки на круглых щеках придавали ему вид добродушного кутилы. Густые брови прикрывали зеленоватые, неопределенного цвета глаза. Холодный и жесткий взгляд Рагесса странно контрастировал с его любезностью. Он взял Даниеля за пуговицу с неподражаемой простотой провинциального политикана или профессионального затейника. Он умел молчать. Даниель сразу ощутил это тяжелое

молчание, словно вытягивавшее из него самые сокровенные мысли. Он вспомнил, что много пил, и решил подождать, пока Рагесс кончит свой молчаливый экзамен.

Наконец Рагесс сказал фамильярно, с оттенком иронии:

— Поставили на откорм? Трудновато, да? Говори, не бойся...

Даниель нехотя подтвердил.

— Подожди, пока возьмут Дьен-Бьен-Фу. После этого начнутся танцы, обещаю тебе. Но до тех пор — ни-ни!.. Понятно?

Рагесс повернулся на каблуках, точно и правда танцевал, и ушел, оставив Даниеля в замешательстве. Все та же песня: ждать. Боже мой, но он только этим и занимался. Восемь лет подряд.

\* \* \*

На следующее утро Даниель вдруг решил съездить на родину, в Кукурд. Великолепная машина, шофер (он так отругает Джо, что тот и капли в рот не возьмет!), полные карманы денег — плохо ли? Он докажет этим жалким захолустным буржуа, что Лавердон-сын чувствует себя прекрасно. Увидев Дору, он приказал ей привести себя в порядок и сопровождать его в поездке. Та подчинилась с такой готовностью, что Мун разинула рот от удивления.

Даниель ликовал. Чтобы придать экспедиции окончательный блеск, он не поленился позвонить в Кукурд и заказать комнаты в лучшей гостинице. Одну «для мсье Даниеля Лавердона» и вторую «для шофера мсье Даниеля Лавердона». Он повторял это с огромным, неизъяснимым наслаждением. «Да, лучшие комнаты. Самые лучшие. Разумеется, с ванной. И для шофера тоже с ванной, этот человек имеет обыкновение мыться...»

Дора слушала, смотрела на лицо Даниеля и помирала со смеху. Затем Даниель попробовал свою власть над Мун, предложив помочь ему в выборе новых рубашек. Здесь он встретил насмешливый отказ и отправился за рубашками один. Он закончил утро у маникюрши. Раз Бебе платит...

Сумерки сгущались, когда они подъехали к городку. Даниель разрешил всего одну остановку — в Пуге, и Джо смирился. Всю дорогу он держал скорость 95 километров в час и гордился этим, хоть и говорил, что машина идет без напряжения. Даниель хотел прокатиться по городу, но Дора запротестовала. Для этого следовало быть в полном порядке, а платье ее измялось в дороге. О лице и прическе и говорить нечего. Надо совсем отстать от жизни, как Даниель, чтобы не подумать об этом...

Даниель пожал плечами, неприятно удивленный ее тоном. Затем приказал Джо ехать в отель «Гранд-Экю». Даниеля поразило новое здание с большим современным баром. Раньше его не было. Даниель вышел из машины первым и тут же пожалел об этом. Лучше было подождать, пока выскочит Джо и откроет перед ним дверцу. Эффект пропал.

Он подал Доре руку и величественно проследовал к дверям отеля, с наслаждением ощущая на себе жадные взгляды зевак. За конторкой сидел незнакомый Даниелю лысый толстяк, страдающий одышкой.

— Мсье Лавердон и мадам. Вам звонили из Парижа.

— Это вы? — отвислые щеки толстяка дрогнули от изумления.

— Конечно, мы!

— Будьте любезны подождать... Одну минуточку...

Он убежал, пытая лавируя между кресел, обитых искусственной кожей, которыми был уставлен вестибюль.

— Не очень-то гладко он получился, твой фокус! — с торжеством заявила Дора.

— Не начинай, пожалуйста!.. — проворчал взбешенный Даниель. Дора отводила душу, барабанила пальцами по конторке, пока Даниель не остановил ее. Они ждали, фыркая от нетерпения. Наконец толстяк появился. Его сопровождал высокий мужчина в одежде повара. Он закричал издали:

— Мсье Лавердон? Извините, отец не понял вас по телефону. У нас нет свободных комнат.

— Не могли бы вы найти мне что-нибудь по соседству?

— Мсье не хуже меня знает, что здесь он не найдет ничего подходящего...

В деланно глупой роже повара Даниелю почудилась хитрая усмешка. Он сдержался и спросил:

— Вы здешний?

— Нет, мсье, мы переехали сюда из Лиона после Освобождения. Но нам много рассказывали о вас и вашем папаше...

— Быть может, поэтому у вас и нет комнат?

Эта прямая атака смутила повара. Даниель понял, что здесь заговор, мелкая провинциальная интрига. Его хотели унижить.

— Нет, мсье, комнаты с ванной...

Даниель отвесил ему пару оплеух первого сорта. Схватив за руку Дору, он бросился к «Фрегату». Джо невозмутимо сидел за рулем. Мотора он не выключал, точно предвидя неудачу. Они умчались, как смерч, раньше, чем зрители успели опомниться.

— Неплохое у вас чутье... — проворчал мсье Джо.

— Какого дьявола!.. — загремел Даниель.

— А такого, что сегодня вечером в этой гостинице состоится банкет. Банкет бывших бойцов Сопротивления. Они выступают против создания европейской армии. Вас только там и не хватало, мсье Лавердон... Вы неплохо выбрали время...

Дора хохотала до слез, как безумная. Какое-то свинское ржание. Даниель немедленно задал ей давно назревавшую трепку. Она кричала, пробовала сопротивляться, но Даниель схватил ее за кисти рук. Она встретилась с его взглядом и испугалась. Джо гоготал во все горло, выжимая скорость. Надо было проехать побольше до наступления темноты.

\* \* \*

Джо знал много отличных уголков. Иногда это была неприметная харчевня с ценами, отпугивавшими случайных посетителей. Иногда — шикарное заведение, где встречались лишь люди высшего света. Они проехали по маршруту Авиньон-Сен-Троpez — Канн — Монте-Карло, сделали крюк по Швейцарии и теперь через Бургундию возвращались домой. Даниель чувствовал себя вполне уверенно, он успел забыть неудачу в Кукурд. В тюрьме особенно тягостны были вечера, приходившие на смену полным унижений дням. Мечты терзали Даниеля. Теперь эти мечты осуществились: у него было все — девочка, машина (да еще с шофером!) и куча денег. Впрочем, все это он заслужил.

В городке Бон они наведались в погребок, принадлежавший отставному легионеру, а затем Джо свернул на Отэн. Проехав несколько километров по холмистой местности, они заглянули к приятелю Бебе, местному землевладельцу. Их встретил сухонький человечек, подтянутый, как полковой адъютант. Держался он холодно и надменно, подчеркнуто именуя Даниеля «секретарем господина Ревельона».

Это было странное место. На склоне холма размещалась большая ферма. Ниже на восток и



юг уходили виноградники, а на противоположном склоне раскинулись поля. В неглубокой впадине краснели крыши деревянных домов и высилась колокольня. Над всем этим, на вершине холма возвышался замок изысканной архитектуры, построенный, видимо, в XVIII веке. Воздух был насыщен запахом молодого вина.

— Неподалеку отсюда, в долине, празднество. И конкурс земледельческих машин. Приз получил я. — Человечек говорил медленно, отрывистым голосом военного. — Мои люди веселятся. Вино здесь дешевое.

К ним почтительно приблизился высокий, светловолосый парень с очень белой кожей и бледно-голубыми глазами.

— Мсье Лэнгар, я насчет приза...

— Получите награду, — отрезал Лэнгар. — Три тысячи.

— Но, мсье Лэнгар, я выиграл состязание на тракторах. И я готовил и украшал повозки, мсье Лэнгар...

— Машины принадлежат мне. И ты тоже.

— Жена надеялась...

— На что? На все шестьдесят тысяч? Забудь о них. А если ты недоволен...

Лэнгар сделал быстрое движение кончиками пальцев, словно что-то отбрасывал. Парень отошел, ссутулившись.

— Это поляк, — пояснил Лэнгар. — Он женился на местной девчонке и обожает ее. Он отлично знает, что за первую провинность отправится обратно в Польшу, а жена останется здесь.

— Восточная перспектива его не устраивает! — ухмыльнулся Даниель.

— Он мужик, — Лэнгар пожал плечами. — А если вы интересуетесь восточным вопросом, то здесь вы сидите в первом ряду. Этот замок битком набит поляками, русскими, прибалтами. Они именуются «перемещенными лицами», и платит за них ООН. Или правительство. Настоящая штаб-квартира. А я командую ими.

Лэнгар подмигнул.

— Жаль, что все они музейные экспонаты. Большинство опаздывает на одну войну, а старшие — даже на две. Их законсервировали, чтобы при случае наделать из них министров. В общем, это чисто декоративная публика, на поле битвы они ни к черту не годятся...

Шофер Джо сказал с апломбом:

— Тебе повезло, Лэнгар, ты здесь отлично устроился.

Даниель, удивленный этой фамильярностью, взглянул на Джо.

— Я делаю свои дела, а платит Республика!

Все трое расхохотались.

— Здесь можно сделать отличное дельце для тебя, Лавердон, — продолжал Джо свысока. — Послушай, Лэнгар, нет ли у тебя подходящей работенки для бывшего эсэсовца, приговоренного к смерти и так далее?..

— Замок был куплен за шестьдесят миллионов, — проговорил Лэнгар, не обращая на вопрос Джо никакого внимания. — Реставрация стоила около сорока. Завтра утром можно будет его осмотреть. Сейчас уже семь часов, а отставные генералы рано ложатся в постельку.

Даниель сделал большие глаза. Дора молча шла за ним, видимо робея в присутствии Лэнгара. Джо чуть не лопался от самодовольства, всячески подчеркивая свои короткие отношения с хозяином дома.

Они вышли к отлогому подъему. Дорога, извиваясь среди огромных деревьев, вела к воротам замка.

— Неплохо, а? — спросил Лэнгар, обернувшись к Даниелю. Он взял его под руку и увел

вперед.

— В самом деле, хотите здесь устроиться? Здесь царствуем мы. Впрочем, у вас, вероятно, имеются другие планы...

Даниель ответил уклончиво. Предложение застало его врасплох, хорошо бы посоветоваться с Бебе. Тем не менее Даниель обрадовался, оно могло ему пригодиться в разговоре с Бебе. Он сказал Лэнгару, что подумает.

— Сделайте одолжение, — сказал своим офицерским голосом Лэнгар. Потом он заявил, что пора обедать, и повел гостей к ферме, рассуждая по дороге о виноградарстве, о плюсах и минусах современного сельского хозяйства. Он толковал о черном и сером пино, о лозах и налете на ягодах, пока гости не отупели. В заключение он сказал:

— Необходимы организованность и твердость. — Он был уверен, что то и другое у него имеется в избытке.

— Вы были на военной службе? — робко спросил Даниель.

Лэнгар впервые улыбнулся по-настоящему.

— Полковник французской армии.

Он пристукнул каблуками, как бы подтверждая свой чин. Лэнгар был офицером совсем особого сорта. Когда ревущее стадо автомобилей останавливается у стоп-линии и, фыркая, ждет зеленого света, такой офицер неторопливо пересекает улицу, любуясь собственным мужеством. Обостренное «чувство чести» привело Лэнгара в Первый французский полк, сражавшийся в России. Он вернулся во Францию через три года после Освобождения и был привлечен к суду. Лэнгары, заседавшие в военном трибунале, оправдали его. Он никогда не говорил о прошлом. Вскоре он подал в отставку, заявив, что вернется, когда придет время, нанести удар в сердце страшному спуту. Он ушел в частную жизнь, и лишь русские войска в Берлине омрачали его безоблачное счастье. Пока что он опекал своих будущих союзников, презирая их всей душой. Такова была его явная деятельность. Тайная была связана с новым вариантом германской военной разведки. В конце концов только немцы были серьезными людьми, с которыми имело смысл работать. В свое время он работал с американцами и понемногу занимался шантажом. Там и завязались его отношения с Бебе. Еще раньше он оказывал услуги полиции, где подружился с Джо. Но все это были мелочи, давно забытые пустяки. А сегодня Лэнгар отнесся к своим гостям лишь как к непредвиденному источнику информации.

На ферме их ожидали аперитив и стаканы белого вина, смешанного с черносмородиновой настойкой. Это называлось «кирс», по имени дижонского каноника, питавшего слабость к этой смеси. Она имела успех. Лэнгар пригласил их в соседнюю комнату, где был накрыт стол.

Они пообедали по-бургундски, то есть с большим количеством сметаны и бесконечными переменами вин. У Даниеля адски разболелась голова, зато Лэнгар совершенно расцвел. Джо упорно говорил ему «ты», пытаясь связать обрывки воспоминаний, а совершенно пьяная Дора рассказывала какую-то чушь, прерывая себя взрывами бессмысленного хохота.

Даниель хотел уехать, смутно чувствуя приближение катастрофы. Однако Лэнгар все настойчивее ухаживал за Дорой. Наконец Даниелю удалось найти достаточно веское основание.

— Нам надо ехать, сегодня приезжает Филипп.

— Филипп... — заплетающимся языком пробормотала Дора. — Ты хочешь сказать — Бебе... Ничего с ним не сделается, он — рвач...

— Он спас мне жизнь! — Даниель не хотел ронять свое достоинство в глазах Лэнгара. Тот подмигнул Доре.

— Ценю вашу признательность. Но мсье Ревельон не рассердится, если вы переночуете у меня. Он знает мой дом...

— Какая еще признательность? — истерично выкрикнула Дора. Ее красивые волосы висели

космами. — Какая там признательность, мой дорогой? Ты ничего ему не должен, ровно ничего!..

Джо вскочил, его бульдожье лицо побагровело.

— Заткни глотку, грязная девка! — заорал он. — Не то я ее заткну!

Даниель решил вмешаться, он умел обращаться с пьяными. Дора опередила его.

— Вот как? А хочешь я расскажу, зачем ты ездил на Бахрейнские острова, когда тот тип прилетел из Сайгона с документами...

— Не слушайте ее, Лэнгар, — заворчал Джо. — Она сама не знает, что плетет...

— Ах так? Давай поговорим о датах, о том, что случилось с самолетом...

Не напрасно Даниель был настороже. Он едва успел сдавить Джо горло и отшвырнуть его в угол.

— Шли бы вы лучше спать! — с полным спокойствием сказал Лэнгар.

— Понимаешь, Даниель! — визжала Дора. — Бебе боялся этих документов! Он не хотел, чтобы дело с пиастрами...

— Мадемуазель Дора! — грубо перебил ее Лэнгар. — Вам следует пройтись. В саду сейчас прелестно; выпейте, это вас подкрепит...

Он подошел к буфету, налил стакан и протянул его Доре. Второй стакан он влил в глотку мсье Джо, медленно приходившего в себя. Даниель увидел, как оба они замотали головами и грузно опустились на стол.

— Так будет лучше, — сказал Лэнгар. — Не бойтесь, это безвредно. Завтра они ни о чем не будут помнить.

Даниель вопросительно смотрел на Лэнгара, но сомнений у него уже не было. Он отлично понял, к кому попал.

— Чем меньше люди знают — тем лучше! — поучительно сказал Лэнгар. — А вы человек взрослый и понимаете, что такое дисциплина.

— Я не боюсь вас, — сказал Даниель. — А вот они наболтали лишнего.

— Я и не собирался вас пугать. Я друг Филиппа, вот и все. Но если вы этого не знаете, могу пояснить. В нашей деятельности молчание — закон. И мы располагаем всем необходимым, чтобы заставить уважать этот закон. Я не собираюсь вдаваться в подробности, но подумайте сами: что с вами станет, если будут вновь подняты некоторые досье?

Даниель отскочил от него вместе со стулом. Какие досье? Откуда Лэнгар о них знает? Лэнгар спокойно сидел перед ним. Любезный, добродушный деревенский дворянин, землевладелец. Он потер руки и слегка наклонился к Даниелю.

— Это не военная игра, Лавердон, не маневры. Это — крупная игра. В ней все средства хороши. Нас самих долго терроризировали. Впрочем, об этом вы кое-что знаете. Сейчас мы отряд завоевателей, притаившийся внутри государства, хорошо организованное тайное сообщество. Примерно такое, каким в свое время было общество иезуитов, а позднее франкмасонов. Разница в том, что в наше время приходится пользоваться другими методами, менее эффектными и более действенными. Я не знаю, для чего вы нужны Бебе...

— Он хотел, чтобы я занялся его индокитайскими делами, — сказал Даниель. Он был подавлен, но старался не показать этого.

— Это меня не касается. Мне нужно, чтобы вы забыли те глупости, что наговорили здесь ваши друзья. Помните, что мы сохранили вам жизнь...

Лэнгар опять щелкнул пальцами, как тогда перед поляком, показывая этим, что жизнь Даниеля крохотна и невесома, как пылинка. Помешай она кому-нибудь — и ее стряхнут, как пылинку, почти не замечая.

Деревья, голые и черные, постепенно усеялись крохотными зелеными почками. В Париж пришла весна.

Дора жаловалась, что устала от поездки. Даниель отправил ее спать, а сам пошел завтракать с Джо. Он пытался заставить Джо разговориться, но не смог вытянуть из него ничего, кроме намеков на всемогущество Бебе. Продавцы вечерних газет кричали о рукопашных боях под Дьен-Бьен-Фу. Фостер Даллес где-то произнес воинственную речь. Вокруг маленькие буржуа, чистенькие, исполненные чувства собственного достоинства, говорили об атомных испытаниях на Эниветоке и о радиоактивных дождях, которые могут выпасть где угодно.

— Если начнется война, — спросил Даниель, — что ты будешь делать?

— Спрячусь, — ответил Джо. Эта мысль не приходила Даниелю в голову. Он озадаченно посмотрел на товарища.

— Но война-то будет с русскими...

Джо махнул рукой.

— Хорошие дела делаются после войны, а до этого еще нужно дожить.

— Ты дал бы русским победить?

В голосе Даниеля звучало беспокойство. Джо сморщился, как прошлогоднее яблоко.

— Бебе прав, ты Даниель — золотой парень. Такие парни и нужны в наше время — молодцы, не задающие лишних вопросов. За здоровье его святейшества папы, императора Бао-Дая и г-на Бидо мои потроха взлетят на воздух. Отлично. А коммунисты будут смотреть и смеяться. Они поняли: пока дураки дырявят друг друга, Бебе и его дружки набивают карманы. Ты думаешь, Бебе сражается под Дьен-Бьен-Фу? Да там и близко нет никого из тех ребят, что провернули дело с пиастрами! Знаешь знаменитое дело с пиастрами? А знаешь, какую игру Бебе ведет сейчас? Он финансирует своего тестя, а тот всю торгует с русскими...

Даниель не требовал продолжения. Возможно, он боялся узнать слишком много. Кроме того, ему казалось нечестным расспрашивать этого Джо, абсолютно лишённого простого чувства благодарности. Подумав, он решился на последнее объяснение с Бебе.

\* \* \*

Бебе возвратился в омерзительном настроении. Дела в Индокитае шли прескверно. Повсюду кишели американцы, они везде совали свой нос, и парни Бао-Дая стали нестерпимо наглыми. За последний месяц общая картина настолько ухудшилась, что Бебе рискнул пойти на убытки, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. Не то чтобы он ожидал немедленной победы вьетов или вынужденного мира в Женеве — нет, он просто чувствовал, что попал не в тот лагерь, где ему следовало бы находиться, а он привык доверять своему чутью.

На аэродроме его ожидал семейный быюик. С приятным ощущением комфорта Бебе уселся на сиденье. Предчувствие не подвело его, это было ясно по тону, каким писали газеты о создании Европейской Армии. Странная история произошла с группой бывших министров, верных де Голлю. Они заявляли, что Бидо обманул их. Бебе пожал плечами: обычный фокус. Никто не мешал Бидо действовать по-своему. Однако для вернувшегося из Сайгона Бебе эти слова приобретали новый и странный смысл. Пора решаться на крутой поворот. Для этого надо было покончить с прошлым, избавиться от Даниеля, Доры и Джо. Надо было порвать с Мун — словом, произвести полную чистку. Сохранить следовало одного Гава, он еще мог пригодиться.

В данный момент опасен был только Джо: он слишком много знал и слишком нагло требовал денег. Лучше всего было бы освободиться от Джо при помощи Даниеля.

Машина пересекала Сену, и Бебе подумал о предстоящем разговоре с тестем. Он дал радиogramму о часе своего прибытия, которую нельзя было истолковать иначе, как просьбу о свидании. Однако, имея дело с мсье Кадусом, следовало быть готовым ко всему. Абсолютно ко всему. Так по крайней мере считал Бебе.

\* \* \*

Однажды известный репортер крупной американской газеты получил срочный заказ: написать литературные портреты виднейших французских предпринимателей. В то время в конгрессе обсуждался план Маршалла, и кампания в прессе вполне устраивала французское правительство. Надо было показать американцам, что французская промышленность — вполне солидное место для капиталовложений. Влиятельнейшие министры составили список людей, которых репортер должен был проинтервьюировать.

Когда интервью окончились, репортер перечел свои записи и поразился: все опрошенные так или иначе упоминали о некоем мсье Кадусе. Однако в списке этого имени не было. В разговоре с официальным лицом, наблюдавшим за его работой, репортер закинул удочку. Лицо, видимо, его не поняло. Репортер, разумеется, писал лишь то, что ему приказывали, но всегда стремился быть хорошо информированным. Он взялся за своего ментора всерьез. Когда тому уже некуда было отступать, он сказал: «Кадус — олицетворение всего того, что вам не по вкусу. Это реакционный капитал и французское самодовольство. Писать об этом господине не следует». Репортер принял совет к сведению, но продолжал расспросы. Он узнал, что Кадус только что освободился от американских капиталовложений, которые, видимо, ему мешали. Затем он заключил крупную сделку с Советским Союзом. Речь шла о поставке стальных конструкций, и нелегко было определить, «стратегические» это материалы или нет. Затем на Кадуса накинута «Юманите» за применение на его заводах потогонных методов. Французский собрат по перу рассказал американцу, что ему довелось освещать в печати стачку, имевшую место на одном из таких предприятий. По его словам, Кадус располагал самым современным оборудованием в Европе. Он не увольнял политических вожаков, как это делали многие другие. Зато у него была установлена сдельно-премиальная система оплаты, благодаря которой каждый день забастовки обходился рабочим весьма дорого. «Кадус изобрел высокую производительность труда раньше вас, дорогой мой. Только он сделал это на французский лад, втихомолочку...»

Наш американец попросил у странного капиталиста интервью. Его принял молодежавший секретарь, на следующий же день приславший репортеру «необходимые материалы». Среди них было несколько статей, несколько публичных высказываний и две фотокопии. В одной из них фирме «Кадус» выносилась благодарность от имени Министерства национальной обороны за своевременное и добросовестное выполнение заказов в период войны. Вторая свидетельствовала, что после Освобождения мсье Кадус был награжден за участие в движении Сопротивления. Решив, что секретарь его не понял, американец схватил телефонную трубку. Ему ответили, что, по мнению мсье Кадуса, лишь эти моменты его биографии могли представить какой-либо интерес для американского читателя. Исторические детали каждый умеющий читать мог почерпнуть на кладбище Пер-Лашез, из надписи на бронзовой доске фамильного склепа Кадусов.

Имя Кадус свыше тридцати лет было широко известно в финансовом мире. «Что сказал

Кадус?» — в этом вопросе всегда звучало беспокойство, смешанное с уважением. Некоторые называли его идеалистом. В 1924 году, несмотря на то, что он получил в приданое за женой закавказские нефтяные источники, Кадус добровольно признал Советскую Республику и отказался от своих прав на нефть. Другие с восхищением говорили, что он реалист, и в доказательство напоминали, как в трудный год мирового кризиса советские заказы дали ему возможность удержаться на поверхности.

Его решения всегда диктовались соображениями первого и второго порядка. Во-первых, как он считал, важно лишь будущее, ибо оно дает возможность правильно судить о целесообразности произведенных капиталовложений. Во-вторых, Кадус всегда думал о величии своей страны. Он любил красивый жест не ради рекламы, а потому, что верил в рентабельность морали. Во всяком случае, если на заседании правления кто-то пытался возражать ему, Кадус говорил именно так.

В 1911 году покойный отец сказал ему: «Пора тебе браться за дело, вступить в права наследства и сражаться за интересы фирмы „Кадус“». Перед отцом стоял тогда холостой бездельник с моноклем, завсегда та кулис, изысканный, как персонаж Марселя Пруста. За один месяц все изменилось. Персонаж Пруста все перевернул вверх дном. Он создал первый во Франции завод синтетического каучука, изучил современную науку о броневой стали и наладил производства, от которых отмахивались прежние капиталисты. Он думал тогда, что война 1914 года сделает Францию владычицей мира.

Война? Род Кадусов поднялся из войн Республики и Первой Империи. И, когда Кадус предложил американскому репортеру ознакомиться с историей своей семьи, он имел в виду своего предка, скромного дромугазского седельщика. Будучи поставщиком армии Комитета Общественного Спасения, первый Кадус прославился честностью и стал одним из сподвижников великого Карно. Директория внушала ему отвращение, он хорошо знал все уловки спекулянтов кожей и вскоре был провозглашен их некоронованным королем. Однако торговал он только товаром высшего качества, и проницательный Наполеон Первый вскоре сделал этого республиканца сенатором. Он не ошибся. В период Ста Дней сенатор старался всюду, помогая императору.

Зять мсье Кадуса усмотрел в этой фамильной истории лишь скандально быстрое обогащение при помощи двойной политической игры. Зато Шардэн, главный юрисконсульт фирмы «Кадус», восхищался революционным рвением первого Кадуса, его патриотическим мужеством.

Кадусу казалось, что он точно таков, как его предок. Он нашел Шардэна и хорошо к нему относился, утверждая, что у этого молодого человека высокая душа. Случай связал Кадуса с Бебе отчасти против его воли, и он никогда не переставал думать об освобождении.

Когда мсье Кадус говорил «я нашел Шардэна», он всегда вспоминал не только самого Шардэна, но и обстоятельства, при которых тот появился в его жизни. Однажды мсье Кадус завтракал с Манделем, бывшим тогда министром колоний. Разговор шел о только что свершившемся «аншлюссе» и парламентской борьбе вокруг законопроекта об «организации нации в военное время». Война приближалась. Один молодой адвокат напечатал обстоятельную статью, беспощадно обнажавшую слабости правительственного проекта нового закона. Министр посоветовал Кадусу прочесть эту статью.

— Мне как раз нужен хороший адвокат, — сказал Кадус.

— Он вам не подойдет. Горяч, слишком молод и горой стоит за национализацию крупных предприятий.

— Но он не считает, что г-ну Гитлеру следует развязать руки?

— Конечно, нет! — заворчал Мандель. — Он сотрудничал в кабинете Пьера Кота!

На следующий же день Кадус пригласил Шардэна на службу и тот принял предложение. С тех пор он был бессменным главным юрисконсультom фирмы.

Когда Кадус думал: «случай связал меня с Ревельоном», он забывал, что в свое время испытывал к этому малому почти отеческую нежность. Дело было зимой 1950 года, когда войска Макартура в Корее рвались к Яле, а Трумэн произносил двусмысленные речи о «воле американского народа» в вопросе о применении атомной бомбы. Кадус попался на удочку, решив, что начинается война. Он считал, что война эта разрушит Францию и низведет ее в лучшем случае до положения европейской колонии янки.

Не будучи в силах сделать что-либо другое, он начал приспособливаться. Ценой тяжелых уступок он вырвал свою долю американских вложений. Уже через два месяца он увидел, что ошибся. Следовало послушаться Шардэна, сразу решившего, что американцы просто блефуют. После отставки Макартура Кадус попробовал освободиться, но увидел, что это ему дорого обойдется. Правительство отнюдь не поддерживало интересы французских фирм, и Кадусу не на что было опереться. Запутавшись в американских сетях, Кадус оказался один.

Однажды загорелый и породистый молодой человек вошел в директорский кабинет Кадуса.  
— Мне довелось слышать, как вас громил французский посол в Соединенных Штатах. Я позволил себе позвонить вам от его имени. Мне кажется, мы с вами могли бы сделать неплохое дело.

Кадус сначала принял посетителя за сумасшедшего, но тот продолжал:  
— Если вам угодно, я могу завтра же создать в Париже новую газету желательного направления. Деньги у меня есть. Мне сказали, что вы хотите вырваться из лап американских дельцов. Я охотно помещу деньги в предприятие, где американцев нет. Наведите обо мне справки. Я зайду к вам через неделю.

Через неделю Кадус пригласил к завтраку это юное чудо, сумевшее сколотить несколько сотен миллионов за считанные годы колониальной войны. Они завтракали втроем, мсье Ревельон и мсье Кадус со своей дочерью. Кристиана была единственной наследницей отца, ей предстояло принять руководство его предприятиями. Ее готовили к этому с самого детства. Ревельон не скрывал ничего из того, что могло шокировать семейство Кадус. Он не отрицал ни своего темного происхождения, ни малопочтенных занятий во время оккупации.

Когда отец и дочь остались вдвоем, старик выложил все, что думал. Этот Ревельон — стихийная сила. Разумеется, его нужно пообтесать, и вообще он разбойник с большой дороги. Но именно такие парни и нужны, чтобы успешно противостоять заатлантическим гангстерам.

Кристиана спросила просто:  
— Иначе говоря, ты считаешь, что он был бы для меня подходящим мужем?  
Нет, этого Кадус не считал. Он думал о крупной должности в каком-нибудь правлении, о месте директора или председателя административного совета. Конечно, он охотно привязал бы к себе Ревельона. Но он прежде всего обожает свою дочь и знает, что между ней и Шардэном... Словом, Кадус стал адвокатом своего адвоката.

Кристиана улыбнулась.  
— Жорж никогда не станет мсье Кадусом, а я никогда не стану мадам Шардэн. Наши пути не сходятся.

— Делай, как знаешь, Кристи...  
В конце концов мсье Кадусу важно было лишь, чтобы совесть его была чиста.  
— Но сознайся, папа, что твой Ревельон очень хорош собой...

Они стали часто выезжать вдвоем. Через две недели Кристиана сообщила отцу, что Филипп все понимает и согласен на роль мужа без участия в делах. К тому же у него свои крупные дела в Сайгоне, где ему и придется проводить почти все время. Короче, у нее не было никаких

возражений против брака.

Когда на свет появился первый внучонок, мсье Кадус успел позабыть обстоятельства, при которых он познакомился со своим зятем. Однако через три года отношения между Кристианой и Филиппом начали портиться. Связь между ними ослабла примерно в той степени, в какой разрядилась международная напряженность. Шардэн оказался прав. Мсье Кадус был отлично информирован о делах зятя. Война в Индокитае, вскормившая Бебе, становилась все более и более грязной авантюрой, настолько грязной, что могла оказаться препятствием для осуществления мечты мсье Кадуса о достижении полной финансовой автономии.

Мсье Кадус приближался к семидесяти годам. С тех пор как он принял дела от отца, он регулярно занимался спортом, безуспешно борясь против растущего брюшка. Теперь он увеличил расстояние пеших прогулок и время занятий плаванием. Он твердо решил жить как можно дольше.

В это весеннее утро он ожидал зятя для серьезного разговора. На его письменном столе лежала папка с материалами для возбуждения бракоразводного процесса. Досье по этому вопросу по указанию самого Кадуса составил для него Жорж Шардэн.

\* \* \*

Со времени прошлых парламентских дебатов об Индокитае, то есть с начала зимы, Филиппу не доводилось входить в рабочий кабинет своего тестя. Они встретились на пороге и секунду в упор смотрели друг на друга, насколько это возможно при разнице в росте, достигающей двадцати сантиметров. Бебе старался казаться короче перед толстым и добродушным стариком. Во внешности мсье Кадуса было что-то от сенатора Третьей Империи. Возможно, большая лысина и лукавый, почти неуловимый взгляд.

Мсье Кадус предупредительно придвинул два кресла. Такая необычайная любезность сразу насторожила Бебе и заставила его ожидать худшего. Немедленно, без всякого предисловия он начал излагать сущность своих благих намерений.

Чтобы скрыть удовольствие, мсье Кадус нахмурился. Опережая невысказанные требования, Ревельон доказывал свою сообразительность, и это радовало мсье Кадуса. Пока Ревельон беззаботно вгрызался в индокитайский сыр, Кадус терзался беспокойством, что тогда, в пятидесятом году, он переоценил своего зятя, что тяжелые обстоятельства привели его к ошибочной оценке. Мсье Кадус был очень недоверчив. И теперь он поборол себя и решил хладнокровно проверить, насколько намечавшиеся зятем перемены своевременны. Кадус сполз на краешек кресла и нетерпеливо покачивался, ожидая, пока Бебе закончит свои педантичные объяснения.

— Дорогой Филипп, ваши слова радуют меня. Я полагаю, что вам давно следовало бы прийти к такому заключению. — Мсье Кадус немного помолчал. — У меня как раз намечается интересное дело с англичанами. Вначале я не думал о вас, считая, что ваши средства уже помещены...

Он опять выдержал паузу и сказал более энергично:

— Здесь надо решать быстро.

Пауза, подчеркнутая коротким жестом, напоминавшим движение веера, означала, что Филипп мог соглашаться или не соглашаться, учитывая при этом все проистекающие последствия... Филипп ограничился улыбкой и сказал:

— Вам не следовало сомневаться в моей согласии.

Кадус не торопился с ответом. Он играл короткими, жирными пальцами, то складывая, то



разводя их. Казалось, его решение взвешивается на каких-то невидимых весах. Наконец он проговорил таким тоном, будто был в комнате один:

— Это значит, дорогой мой Филипп, что Бебе больше нет. Он умер, и вы должны похоронить его вместе со своей — я не скажу «холостой», а, скажем, «мальчишеской» — жизнью. Ваши способности, Филипп, будут нужны мне и только мне.

Он опять помолчал, чтобы его слова дошли до сознания зятя, и продолжал так небрежно, точно речь шла о погоде:

— Дело касается Китая. Придется монтировать крупные заводы в Южной Африке — отличное помещение капитала и надежные гарантии. Разумеется, корабли пойдут под индийским флагом.

Мсье Кадус резко откинулся на спинку кресла, положил руки на подлокотники и заболтал короткими ножками. Так выразилось у него ликование.

— Мне понадобится пятнадцать дней, — сказал Филипп.

— Пожалуйста. Я пока что вызову в Париж нужное нам лицо. Кроме того, если мы с вами отправимся в Лондон одновременно, в Совете Министров начнется болтовня...

Мсье Кадус замолк на полуслове. Его подозрения относительно зятя зародились давно и долгое время нарастали. Однако достаточно было поговорить начистоту, как сегодня, — и все рассеялось. У Филиппа был бесспорный талант — он умел казаться простым и бесхитростным, вырубленным из целого куска. Быть может, до сих пор Бебе был циничным авантюристом лишь потому, что не видел перед собой иного пути? Кадус не питал никаких иллюзий относительно того, как наживаются крупные состояния. Для него важным было только одно: заставить их плодоносить, и эта решимость читалась в его взгляде. Он позволил себе проявить удовольствие, энергично потерев ручки. Такое обилие маневров начало раздражать Филиппа. Тесть вел себя с ним, точно с конкурентом. Кадус слишком хорошо разбирался в людях, чтобы не заметить недовольства зятя. Он сказал доверительно:

— Послушайте меня, Филипп, это очень серьезно: сейчас вы все поймете. Ваши индокитайские дела в сочетании с моими делами во Франции походят на двойную игру. Дошло до того, что в правительственных приемных стали шептаться...

Как бы невзначай, Кадус опять сделал паузу, словно желая подчеркнуть, что пошлость, которую он сейчас скажет, не имеет к нему решительно никакого отношения:

— «Он неглуп, папаша Кадус, он не кладет всех яиц в одну корзину...» Болтали и другие пустяки, в меру умственных способностей этих господ. Сейчас, Филипп, надо поспевать всюду или обречь себя на уничтожение. Наше будущее в свободной торговле с теми странами, которые могут стать противовесом Соединенным Штатам. Особенно следует заняться Германией господина Аденауэра. Завтра я пришлю вам одно досье. Сделав дело, о котором я вам говорил, мы сможем укрепиться на китайском рынке... Ваше участие в этом деле никого не удивит. А позднее, мой дорогой Филипп, я надеюсь, мы будем иметь другое правительство, покрепче. Такое правительство, которое не будет бегать в Вашингтон, чтобы визировать наши экспортные планы...

\* \* \*

Филипп отлично понимал, что разговор с тестем был поворотом в его жизни. Он знал теперь, что без этого разговора его сотрудничеству с Кадусом пришел бы конец. Он поздравил себя с чутьем, не утратившим остроты, и, будучи умным человеком, с благодарностью подумал о тесте.

Больше всех новым поворотом событий была удивлена Кристиана. Властный телефонный звонок отца застал ее в плавательном бассейне Молитор. Тотчас же, не просушив своих светлых волос, она приехала домой и застала Филиппа вместе с родителями в зале, за аперитивом.

Впервые состоялся семейный обед: мсье Кадус с супругой и Кристиана с Филиппом. Все прошло как нельзя лучше. За десертом мсье Кадус, заботясь о будущем внучат, уже мечтал о полном примирении дочери и зятя. Его веселость постепенно заразила супругу. Это была дама, исполненная достоинств, именно такая, какой ей следовало быть. Поэтому, вероятно, никто ее не замечал. Мадам Кадус никогда не одобряла замужества дочери. Тем неожиданнее было сделанное ею предложение, чтобы «дети» провели с ними пасхальную неделю на Лазурном берегу.

Филипп был польщен таким вниманием. По-видимому, тесть ценил их доброе согласие. Незыблемый, педантичный порядок, царивший вокруг мсье Кадуса, внезапно показался Филиппу таким комфортабельным и приятным. Почему он раньше сторонился этой семьи? Он углубился в воспоминания. Вначале он сам судорожно цеплялся за свою независимость. Кристиана не возражала, ей даже нравились его привычки, все еще отдававшие богемой. Кроме того, папаша Кадус не пожелал тратиться, он не вложил ни гроша в создание их семейного уюта. Они были женаты, но их семейная жизнь протекала в перерывах между самолетами...

Украдкой Филипп посмотрел на жену. Все же она необыкновенно похорошела. Материнство пошло ей на пользу, тело ее развилось, излучало горячую силу, спокойное равновесие счастья. Этот расцвет женской красоты, прелесть созревания теперь были для него гораздо соблазнительнее ослепительной юности Мун. Он не хотел поддаваться опьянению, не хотел подчеркивать свое восхищение, чтобы оправдать сделанный выбор: он бросал на Кристиану робкие взгляды — и снова восхищался ею. Он не видел ее месяцами, и сегодня находил множество мельчайших изменений, новые черты ее гармонического расцвета. Филипп стремился скорее остаться с ней наедине. Она стала другой, его грызла тревога: не потерял ли он ее за время разлуки?

Тем временем мсье Кадус набрасывал семейный портрет господина Ланьеля, Председателя Совета Министров и его брата — сенатора. Филипп не стал слушать тестя, он думал о Кристиане. Ему вспомнилась горячка их первого года. Тогда ему удавалось пробыть с ней лишь несколько дней в месяц. Иногда они не виделись два месяца, а иногда — и три. Он не мог тогда часто прилетать во Францию. Как только его дела в Индокитае наладились и он получил возможность уделять Кристиане больше времени, произошло что-то странное. Они стали сторониться друг друга, появилась взаимная отчужденность, словно у «отпускных любовников», которые проводят отпуск вместе, но, как только возвращаются к работе, к обычной жизни, расходятся и даже не понимают, почему недавно их влекло друг к другу... Правда, Кристиана в ту пору ждала второго ребенка.

Когда Филипп заговорил об отдельной квартире, Кристиана возражала ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы Филипп почувствовал благодарность за ее согласие.

Размышления Филиппа были прерваны дворецким, доложившим мадам Ревельон, что в ее комнату доставлена корзина роз. Они заканчивали пить кофе. Кристиана поднялась к себе, и, как только она вернулась в столовую, мсье Кадус заторопился. Он вспомнил о неотложном деловом визите и испарился, увлекая за собой супругу.

Филипп уже боялся, что сделал глупость, положив в розы свою карточку. Он взглянул на жену, она улыбнулась, и эта улыбка ободрила Филиппа. Он подошел к ней, но, как бережный жених, воздержался от поцелуя.

— Мне не хотелось бы, чтобы вы сердились на меня, Кристиана...

— Филипп, отец сказал мне по телефону о вашем разговоре. Я выиграла пари. За что я могу

на вас сердиться?

— Какое пари?

— Я верила в вас...

В полумраке столовой глаза Кристианы блеснули синим огнем. Филипп не понял, угадала она его решение или просто ждала его. Его охватила радость одержанной победы.

\* \* \*

Можно подумать, что по комнате прошел смерч. Вещи Кристианы вперемежку с вещами Филиппа разбросаны в самых неподходящих местах. Одежда соскользнула в проход между кроватью и окном и лежит там, белея в мягком сумраке комнаты, точно далекая цепь снежных вершин. Кристиана в полусне. Ей не хочется просыпаться. Она совсем забыла своего мужа. Или она никогда не знала его? Она чувствует всем телом, от подбородка до ног, длинное и мускулистое тело, лежащее рядом. Голова ее лежит на твердом плече, и ей радостно это прикосновение.

Филипп прошел трудный путь. Ему пришлось бороться за жизнь, как ей не приходилось бороться, за это она должна уважать его. Она готова прощать ему то, что ей в нем не нравится. Он бился с нищетой, как ее предки, к которым ей внушали почтение. Она прощает Филиппу даже то, что он делал (вернее, чего он не делал!) во время оккупации. Тогда ее не было с ним. В эту минуту блаженного покоя она спрашивала себя: неужели пришло ее время? Неужели можно перестать сдерживаться и окунуться с головой в это обновленное счастье? Положение и воспитание приучили ее к тому, что всегда, в любой ситуации надо сохранять здравомыслие. Она всегда подозревала мужчин, которые ей нравились, в погоне за ее богатством. Узнав Филиппа, она была обрадована тем, что, в сущности, их брак можно было назвать мезальянсом. Правда, оставался Шардэн. Но с ним она больше всего боялась обжечься, сильнее всего берегла свое хладнокровие. Любовь всегда казалась ей чем-то вроде бездонной пропасти, перед которой кружится голова. Она наследница Кадусов, и было решено раз и навсегда, что муж ее будет принцем-консортом, но не больше. Она поняла, что давно уже перестала сожалеть о Жорже.

Сейчас ее бесконечно радовала эта обстановка тайного приключения. Будто они встретились в холостяцкой квартире. Кто-то внезапно постучит, или зазвонит телефон... Она вздрогнула от восхитительного страха. Для дел Филиппа она больше не нужна. Они давно приведены в порядок, балансы Филиппа печатаются в Ежегоднике предпринимателей. Фирма «Кадус» также вполне обойдется без финансовой поддержки мсье Ревельона. Они оба свободны и независимы. Почему бы теперь им не полюбить друг друга?

Она хочет спокойствия. Им по тридцать лет, пора бы Филиппу принадлежать ей целиком. Этот человек, которого случай сделал ее мужем и отцом ее детей, подходит ей. Зачем же скрывать это? Зачем бежать от притягательной силы пропасти, если нет риска? Что может ей помешать? Студия на улице Мальфер и манекенша, которая там живет? Но она-то ведь сохраняла свою мастерскую, вернувшись в Париж в сорок четвертом году! В ее мире на такие вещи не принято обращать внимания. Однако фамильная традиция гласила, что всякое дело нуждается в гарантиях. Что плохого в том, что ее счастье будет обеспечено не только приданым, но и доверием? Правда, чтобы разобраться в своей личной жизни, ей пришлось подождать, пока закончатся денежные операции мужа, но тем больше оснований сейчас отнестись к ней серьезно и по-деловому. Она хочет, чтобы их брак был браком, а не тем суррогатом, каким была супружеская жизнь ее родителей, ее деда и бабушки. Королева, вступающая в морганатический брак, была бы круглой душой, если бы не выбрала принца себе по вкусу.

Внезапно ее охватил прилив нежности к рослому мужчине, спящему, как ребенок, возле нее. Обветренная кожа его лица разгладилась — на ней нет ни пятнышка, ни морщинки. Он спит, он доверяет ей. Теперь она знает, что нужна ему, ошибки быть не может. Только вряд ли он сумеет сказать ей это... Она тихо гладит его лоб, его тонкие темные волосы. В нем есть благородство, есть порода. Вероятно, те самые, что королевские дочери умели находить в пастухах...

Не просыпаясь, Филипп поворачивается на бок и крепче прижимается к ней.

\* \* \*

Он обещал увезти ее куда-нибудь очень далеко. Взять большой отпуск и поехать в настоящее свадебное путешествие. Первое было глупейшей экскурсией до Каира, с обязательным маршрутом к пирамидам... Он проснулся. Дневной свет за спущенными занавесками, беспорядок в комнате... Он засмеялся:

— Кристиана, ты не сердись? Я устал в самолете...

— Сердись на тебя?

Она сказала «тебя». Теперь все стало на свои места, можно было поговорить о делах. Филипп хотел сделать что-нибудь для Мун, обеспечить ее, скажем, купить для нее модный магазинчик. Он совершенно не знал, как это устроить, и Кристиана обещала помочь ему. Ее это забавляло. Филипп при ней позвонил Мун, чтобы условиться о встрече. К телефону подошла прислуга.

— Мадемуазель Симона Перро на работе... Весенние моды, да.

Они договорились, что он заедет за Мун, а Кристиана подождет их в кафе, неподалеку.

— Студия у тебя одна, а протеже еще порядочно... Хочешь, я отдам мадемуазель Мун свою мастерскую?

Кристиана говорила так, точно приносила тяжелую жертву. Чтобы ее утешить, Филипп привлек ее к себе.

\* \* \*

Как только Филипп предложил мастерскую вместо студии на улице Мальфер, хитрая Мун стала расспрашивать его о жене и детях. Вскоре она заговорила о прелестном магазинчике на авеню Виктора Гюго. Это был район с будущим, там всегда находилось место, где поставить машину. Количество солидных предприятий быстро увеличивалось, их владельцы охотно переезжали туда с улицы Сент-Оноре и даже с Елисейских полей. Когда они втроем сидели за чашкой чая, выяснилось, что у Мун есть жених, художник по костюмам, недавно вернувшийся из Соединенных Штатов вместе с выставкой моделей фирмы «Фатт».

Кристиана вышла, чтобы позвонить по телефону насчет мастерской, а Мун быстренько передала Бебе все, что рассказала ей Дора о поездке с Даниелем и о визите к Лэнгару. Раз Бебе собирается подарить ей студию, он должен знать все...

Когда они с Кристианой сели в бьюик, Филипп рассказал ей все по порядку. Мун переедет завтра, а студию займет он сам. Филипп знал по опыту, что дела такого рода делаются сразу, единым махом или вообще не делаются.

Он вошел в студию, когда последние лучи заходящего солнца золотили огромную стеклянную дверь. Дора была дома одна и встретила Бебе с подчеркнутой, шумной нежностью.

Он дал ей выложить свою версию о путешествии и спросил в упор, перебив на полуслове:

— Поехала бы ты с Лавердоном в Индокитай?

— Ты же знаешь, он не хочет...

— Мне надо, чтобы он поехал.

— Слушай, Бебе, он мне нравится, этот малый...

В этот вечер Бебе был готов переженить весь свет и всех обеспечить приданым. Он смягчился.

— Это в его интересах. Здесь он будет прозябать, постарайся убедить его в этом.

— А если не удастся?

— Ему ничего не будет. Расплачиваться будешь ты.

— Неужели ты не дашь мне наконец покоя?

— Нет, — спокойно сказал Филипп. В этот момент вошел Даниель. Дора заревела в голос.

Она побежала вверх по лестнице, и длинные каштановые пряди били ее по спине. Не обращая внимания ни на нее, ни на Даниеля, Филипп подошел к окну, окрашенному вечерним солнцем в цвет охры. Ее сопротивление взбесило его. Дора была ему обязана решительно всем. Во время оккупации она служила в ателье мод, откуда ее взял к себе немецкий офицер. После этого она работала на радио. Пела жанровые песенки и соглашалась на то, от чего отказывались другие певицы. Она пела на празднике фашистского Добровольческого легиона, пела для немецкой «зимней помощи», пела в пропагандистских фильмах немецкой фирмы УФА. Освобождение застало ее в Германии. Она пела в кабаке, затем запуталась в каком-то темном деле, была арестована и перевезена во Францию. Суд приговорил ее к нескольким месяцам тюрьмы и поражению в гражданских правах. Она законтрактовалась на работу в Сайгонском дансинге и там встретила Бебе, начинавшим свое стремительное восхождение.

Филипп отлично знал, что Даниель ждет, чтобы он повернулся, но решил не спешить. В глубине души он еще питал смутную симпатию к ним обоим. Он предпочел бы, чтобы все обошлось по-хорошему, чтобы они уехали добровольно. Погибнут они или спасутся — это уже другое дело. Он, во всяком случае, старался предоставить им шанс на спасение, а не отделаться от них просто и грубо, как он умел. Они не хотели понять, что мешают ему, что, как обломки прошлого, мертвым грузом висят у него на ногах...

— Ты что, смеешься надо мной? — гаркнул Даниель.

Филипп повернулся. Ничего не поделаешь, чистку надо было довести до конца.

— Что ты сделал с Дорой? — спросил со сдержанным бешенством Даниель. Филипп пожал плечами.

— Пожалуйста, не разыгрывай рыцаря.

Они в упор смотрели друг на друга. Филиппу показалось, что у Даниеля появились развязный тон и повадки самоуверенного, прохвоста. Он вспомнил о том, что ему рассказала Мун. Лэнгар и Джо вскружили эту глупую голову, забили ее мечтами о реванше.

— С меня хватит, Бебе, выполнять твои капризы. Дора и я — мы свободные люди...

Звонкий смех Филиппа прервал его.

— Помолчи, Даниель. Ты, как всегда, ничего не понял. Послушай-ка лучше, что здесь пишут.

Он вынул из кармана пиджака газетную вырезку.

— Вот что один человек передал мне сегодня...

«Один Человек» — это был Кадус, по обыкновению превосходно информированный обо всем. Филипп начал читать вслух:

— «Кукурд, по телефону от нашего корреспондента. Вчера вечером в нашем городе появился некий Даниель Лавердон, известный дарнанолец, в свое время приговоренный к

смертной казни, но скандальным образом помилованный. Преступник приехал из Парижа в роскошном черном лимузине, с собственным шофером и в сопровождении весьма элегантной дамы. Он собирался остановиться в отеле „Гранд-Экю“, но, узнав, что там должен состояться братский банкет наших сограждан — героев Сопротивления, немедленно испарился. Напоминаем, что этот субъект — сын Жозефа Лавердона, известного коллаборациониста. В черные дни Виши он выдал полиции жену своего брата, уважаемую мадам Лавердон, ныне избранную муниципальным советником нашего города. Спрашивается, какие тайные силы были приведены в действие, чтобы выпущенный из тюрьмы убийца мог бахвалиться подобной роскошью...» и так далее. Остальное можно не читать. Хорошо еще, что они не узнали, кому принадлежит «роскошный черный лимузин». Мне просто повезло.

— Ты стыдишься меня, — усмехнулся Даниель.

— Нет, Даниель. Я тебя жалею.

Филипп внимательно посмотрел на белокурого геркулеса, стоявшего перед ним. Лицо его было искажено яростью настолько, что показалось Филиппу изуродованным. Он понял, что должен отстегать Лавердона немедленно, не давая ему опомниться.

— Довольно ты изображал идиота, Даниель. Мне не хотелось бы, чтобы с тобой случилось несчастье.

— Особенно если оно будет связано с фамилией Ревельон!

— Фамилия Ревельон здесь ни при чем. Она никогда не будет связана с глупостями Даниеля Лавердона.

— Вспомни день нашего бегства из Парижа. Как ты был рад, когда тебе дали место в машине!

— Я выскочил из машины на площади Клиши, Даниель. Я даже не выехал из города, у меня не было ничего общего с охватившей вас всех истерией. Я думал, ты это понял за восемь лет.

Даниель был чуть выше Бебе и намного массивнее. Он подошел к нему вплотную, заглянул в серые глаза бывшего друга и отодвинулся. Бебе был сильнее его. Чтобы скрыть свое поражение, Даниель проворчал:

— Опять будешь уговаривать меня ехать в Индокитай?

— Ты оказал бы мне большую услугу.

— Так вот, можешь идти ко всем чертям!

— Благодарю за признательность.

— Ты только исполнил свой долг передо мной!

— Тебе заморочил голову Джо. Ты даже не знаешь, как он тебя ненавидит. Ладно, Даниель, успокойся. Давай поговорим. Что ты умеешь делать? Убивать различными способами, вот и все.

— А если я сам хочу жить?

— Не смей меня. Ты просидел в тюрьме чуть не десять лет. Я вытащил тебя оттуда, и ты сразу же хочешь диктовать мне свои желания? Я должен угождать твоим вкусам, а ты будешь перебирать и морщить? Ты забыл, что я имею право на твое повиновение.

— Ты мне не начальник!

— Начальник. Акула рвет сеть, в которую попадает мелкая рыбешка. Я разорвал сеть. Где бы ты был, если бы не я? Если бы не президентское помилование? Ты о нем забыл. А сейчас? Где бы ты был сейчас? В десантной школе? Но ты не хочешь идти на эту войну, она тебе не нравится. Ты хотел бы возобновить прошлую, ту, которую мы проиграли. Ты не в состоянии понять, что все это кончено, кончено совсем и никогда не вернется. Прошлое погребено, и воскресить его нельзя. В последний раз я говорю тебе это, Даниель. В последний раз. Не ожидая ответа, Филипп повернулся к Лавердону спиной и легкой походкой вышел из комнаты. Он сошел вниз, где его ждал Джо. Вторая часть сценария должна была разыгрываться в машине.

Филипп сказал Джо, чтобы тот гнал всю. Ему не терпелось скорее похоронить Бебе. Никогда он не думал, что эта кличка будет так чудовищно его раздражать. И он вспомнил, что ее придумал Даниель.

Как только Бебе уехал, Дору охватил страх. Она знала, на что способен Бебе, когда кто-то срывает его планы. Еще опаснее было угрожать ему, а она слышала, как Даниель швырнул в лицо Бебе неприятные воспоминания.

Даниель не утешал ее. Они оба смутно догадывались о нависшей над ними опасности, но Дора не решалась рассказать ему все, а он тяжело переживал свое бессилие. Он бегал по студии со всей скоростью своих длинных ног, напоминая не хищника в клетке, а манежную лошадь. Так, во всяком случае, казалось Доре, наблюдавшей за ним с галереи.

Даниель страдал, он чувствовал себя неудачником, его одурачили, судьба была несправедлива к нему. Его раздражала Дора, постаревшая и подурневшая от слез. У Бебе была Мун, а ему, Даниелю Лавердону, чтобы спастись от одиночества, пришлось довольствоваться этой Дорой, с ее слезами, застрявшими в морщинах...

Он оказался в тупике. Что произошло между Бебе и Дорой, чего она так испугалась? Панели, как говорил Джо? Видимо, Бебе помог ей, как и ему, чтобы покрепче держать в руках их обоих. Так он готовил для себя безгласных кукол, покорных рабов. Невыразимое возмущение переполняло Даниеля. Когда женщина ревет, всегда можно ее утешить или в крайнем случае надавать ей пощечин. Первое плохо удавалось Даниелю. А уж если женщина ревет так, как редела Дора, значит, скоро она не успокоится... Он посмотрел вверх: Дора ушла к себе. Если он исчезнет сейчас, Бебе окончательно убедится в его никудышности. И потом, что делать с Дорой? Если он возьмет ее с собой и будет жить независимо, без Бебе, она станет чертовски мешать ему. Внезапно злость против Бебе показалась ему такой же глупой, как истерические кривляния Доры.

— Вернись сейчас же! — заорал он, забыв, что она его не может услышать. Входная дверь скрипнула. Даниель выбежал в переднюю и увидел Джо, улыбавшегося во весь рот. Джо по-прежнему был бульдогом, но бульдогом сытым, умиротворенным. Он свободен весь вечер. Может быть, поедем куда-нибудь, покатаемся?.. Даниель подумал, что развлечься им необходимо. Дора перестала плакать и начала приводить лицо в порядок.

\* \* \*

Харчевня «Двух Зайцев» в трех километрах от Поншартрэна имела то преимущество, что стояла не на шоссе, а на заброшенной проселочной дороге. Она была известна лишь немногим посвященным.

Они пообедали в зале, увешанном картинами, изображавшими охоту с гончими. На каминной доске стояли два огромных чучела зайцев.

В их компании Джо казался самым веселым. Он умел притворяться. Сегодня Бебе выгнал его со службы, но он не спешил сообщать об этом. Сначала надо было рассчитаться с Даниелем и Дорой, которые продали его, рассказав Бебе про поездку к Лэнгару. Выставляя его, Бебе так и сказал: «Хватит с тебя Лэнгара, или, может, еще объяснить?» Бебе это тоже даром не пройдет, но прежде всего надо рассчитаться с Даниелем. Вот только как это сделать?

— Здесь лучше, чем в Кукурд! — со смехом заявил он.

В синих глазах Доры мелькнула тревога.

— Ба! — сказал Даниель. — Здешние подонки не имеют ко мне особых претензий. А там, в Кукурд, я был для них бельмом в глазу...



— У тебя есть оружие, милый? — тихо спросила Дора.

— Нет. Зачем оно мне?

Джо с большим трудом сдержал свою радость. Наконец он справился с собой и посоветовал:

— Ночевать без оружия здесь, пожалуй, рискованно. Впрочем, у меня в машине есть пистолет. Если хочешь...

Он с трепетом ждал ответа, сохраняя безразличный вид. Дора здорово помогла ему, все получалось отлично. В Париже он передаст этот кончик в руки своему другу, работающему в полиции. Незаконное хранение огнестрельного оружия — с этим шутки плохи. А когда Даниеля запрячут в ящик, Джо увезет с собой Дору. Предлогом послужит заявление об угоне «Фрегата», которое Бебе написал на всякий случай, если вдруг всплывет история в Кукурд. Все получилось отлично. Джо сразу заторопился. Он сбежал вниз и, хихикая от радости, прижал к щеке пистолет калибра 7,65. Холод стали отрезвил его. Он внимательно проверил пистолет, удостоверился в том, что ствол и обойма пусты. Когда имеешь дело с таким типом, как Лавердон, необходимо принять все меры предосторожности.

\* \* \*

Ко всему был готов Даниель, но только не к появлению двух жандармов, разбудивших его рано утром.

— Вы Лавердон? Одевайтесь, пойдете с нами.

Дора, голая, куталась в простыни, испуская вопли. Даниель не шелохнулся. Жандармы неумолимо стояли в дверях.

— Пройдемте, в жандармерии вам все объяснят.

Даниель подскочил от ледяного прикосновения к спине. Рыдающая Дора ловко заталкивала пистолет под матрацы. Даниель решил одеваться без лишних разговоров. Его увели без обыска, Дора попрощалась с ним долгим кинематографическим поцелуем. Когда через полчаса в комнату вошел Джо, она не слишком удивилась. Она подозревала, что это его работа. Рассчитывать на Даниеля больше не приходилось. На Бебе тем более. Она покорно последовала за Джо.

С утренним автобусом Даниель вернулся в Париж, пылая яростью против Бебе, сыгравшего с ним такую шутку. Студия на улице Мальфер была на замке. Консьержка сказала, что Мун переехала, забрав с собой вещи. Ни одно кафе не попадалось ему на глаза, бары еще не открывались. Даниель дошел пешком до авеню дю Буа и решил прогуляться дальше, до площади Этуаль.

В справочнике «Весь Париж» мсье Филипп Ревельон не значился. Даниелю оставалось только снять шляпу — действительно чистая работа. Он оказался на улице без гроша, чековая книжка осталась у Доры.

Он ничего не понимал. Жандармы искали машину, украденную у мсье Филиппа Ревельона, промышленника. При составлении протокола Даниель на всякий случай отказался отвечать на вопрос о том, каким видом транспорта он приехал в харчевню... Его обыскали, продержали два часа, пока связывались по телефону с Парижем, и отпустили, коротко извинившись.

Младший из жандармов, высокий краснорожий парень с манерами лошадиного барышника, посоветовал ему вести себя потише. «Учтите, что ваше прошлое вас не защищает!..» Даниель задыхался от бешенства, но вынужден был сохранить вежливость. Зачем Бебе дал ему такую подножку? Из-за их прошлого? Нет, это на него совсем не похоже. История с машиной касалась

Джо, а не Даниеля. Его предавали все, даже друзья... Почему исчезла Дора, эта трусливая, жадная потаскуха? Он одинок, все его покинули. Внезапно он вспомнил о Лиз. Хорошо бы заставить ее повиноваться. Эта Метивье тоже выла. Прикончи он ее тогда, она не пришла бы на процесс. Впрочем, это ничего не изменило бы. Он подумал было о том, чтобы отомстить ей, но тут же отбросил эту мысль. Просто в следующий раз надо быть осторожнее, не оставлять следов. Одинокий человек должен уничтожать начисто, оставлять после себя голое место. Он — одинокий человек. Джо помог бы ему развязать этот узел, но как найти Джо?

Он вспомнил, что «Фрегат» стоял в гараже где-то возле Курбвуа и сел в такси, полагаясь на свое умение ориентироваться.

Вскоре ему удалось отыскать гараж. Ему сказали, что мсье Джо уехал накануне вечером и, вероятно, будет около полудня. Даниель решил, что благоразумнее ничего не передавать. В его распоряжении оставался целый час. Он шагал по узеньким улицам, обдумывая случившееся. Те же мысли вертелись в его голове, но решение не приходило. Шпики в гараже не появлялись, стало быть, история с «Фрегатом» — выдумка, предлог. Но кому это было нужно? И для чего? Он вернулся в гараж и увидел Джо, ставящего машину на место.

— Как тебя сюда занесло? — спросил Джо, ни капельки не удивившись.

— Искал тебя. Ты мне нужен.

— Хочешь забрать машину? Возьми, только веди сам, она мне надоела хуже горькой редьки. Я сегодня гонял все утро.

— Один?

— Да. Было одно дельце.

— А где Бебе?

— Представь, он мне не докладывает, как распределено его время.

Даниель посмотрел на приятеля. Эдакий тщедушный коротышка. Даниель не любил таких воробьев. Он сел к рулю и сразу заехал, куда не следовало. Джо побелел от страха, хотя согласие Даниеля вести машину успокоило его. Если бы Даниель собирался его стукнуть, он заставил бы править его. А может быть, он так ничего и не понял, этот болван? Конечно, лучше было бы не заезжать за Дорой. Ну и напорол же этот тип из уголовной полиции! Передать такое дело провинциальной жандармерии, этим олухам и тупицам! Как только Дора вернула ему пистолет, Джо сразу понял, что Даниель вылезет из этого дела в полном порядке и с воинскими почестями. Хорошо хоть, что с Дорой все благополучно. Больше она не опасна, оттуда где она сейчас, так просто не вырвешься.

Они выехали на авеню Гранд-Арме.

— Итак? — уже совсем нагло спросил Джо.

Даниель рассказал о своем веселом пробуждении и о странной истории с якобы пропавшим «Фрегатом».

— А Дора? — забеспокоился Джо.

— Уехала.

— Вот так штука! — ухмыльнулся Джо, чувствуя новый приступ панического страха. — Знаешь, Даниель, тебя кто-то здорово разыграл!

Даниель уже давно забыл о Доре, его мысли были заняты машиной. На мгновение Джо подумал, что Бебе на самом деле подал заявление, но тут же отбросил это предположение. Дружок из уголовной полиции не дальше как сегодня утром сообщил ему, что дело об украденном «Фрегате» прекращено.

Даниель подробно рассказал о допросе. Джо молча выслушал и заявил:

— В конце концов чего ты добиваешься? Хочешь узнать, не Бебе ли продал тебя и Дору легавым? Тут, старина, я ничего определенного не могу сказать. Скажу только, что это вполне

возможно. Он и в Индокитае приготовил тебе такую же работку. Ты должен был сесть в тюрьму, чтобы успокоить тех, кто вопит о безнаказанных аферах...

— Ты сошел с ума!

— Ничуть. Бебе в общих чертах разъяснил мне этот трюк. Еще до твоего освобождения он искал подходящего парня. Ему нужно было ликвидировать одно прогоревшее дело. Ты приезжаешь туда, и тебе дают все: готовое дело, дом, бумаги в полном порядке. Правда, они отчасти липовые, отчасти датированные задним числом. И вот ты начинаешь работать самостоятельно, все чинно и благородно. А через несколько месяцев твой дорогой друг бросает тебе под ноги банановую шкурку. У тебя начинаются неприятности, и серьезные. А Бебе через подставное лицо приобретает твое оздоровленное дело. И, чтобы ты не скучал, он заставит тебя таскать тюки в этом же доме, когда ты станешь отбывать принудительные работы...

— Зачем ты рассказываешь мне это сегодня? — беззвучно спросил Даниель.

— Смотри лучше, куда едешь. И будь осторожнее, я не хочу влипнуть в историю, как какой-нибудь новичок. А насчет Бебе... Что ж, с Бебе у меня свои счеты. А ты — славный парень. Ты мне нравишься...

Каждое слово Джо подтверждало догадки Даниеля относительно Бебе. Его улыбка стала жестокой, губы сжались в узкий, прямой шрам. Джо тем временем был в восторге от своей находчивости. Опасность миновала, он чувствовал себя вполне уверенно. Теперь Лавердон пойдет и проломит Бебе башку. Если Бебе загнется, что вполне вероятно при столкновении с таким парнем, как этот Даниель, надо будет забрать от Гаво папку с компрометирующими документами. Тогда начнется роскошная жизнь. Если с документами обращаться умеючи, они ничем не хуже государственной ренты. Ренты на сумму три-четыре миллиона в год. На радостях Джо повел Даниеля завтракать. Один его приятель открыл недавно возле церкви св. Августина кабачок под названием «Шлюпка». За завтраком Джо рассчитывал еще немножко подогреть Даниеля.

За кофе с ликерами Даниель вновь ощутил прелесть жизни. Джо был прав. Прежде всего надо хорошенько подоить этого предателя Бебе, выжать из него побольше. Найти хорошую работу, имея деньги, — не такая уж сложная штука. Жаль, конечно, что Даниель не хочет сотрудничать с правительством. Джо полагал, что к нему можно привыкнуть. Ланьель, Бидо — все они совсем не такие, какими были десять лет назад. Конечно, воскресить покойников они не могут. Сколько отличных ребят было казнено после Освобождения... Этого добились коммунисты. Впрочем, Джо не настаивает, как Даниелю будет угодно. После трех стаканчиков коньяку Даниель размечтался. Он вернется в жизнь не как-нибудь, а через парадную дверь, открытую настежь. Вернется один, одинокий и гордый, как вельможа. Потом, пожалуй, он возьмет к себе Лиз и займется как следует ее воспитанием...

— А знаешь, Даниель, — вкрадчиво сказал Джо, — частная резиденция Бебе находится в двух шагах отсюда, на авеню Фридланд. Если ты хочешь повидаться с ним, сейчас самое время...

Даниель встал, точно солдат, получивший приказ. Джо не успел даже проверить поданный счет. Он улыбался во весь рот — Лавердон был приведен в правильный вид.

По дороге Даниеля раз десять обругали за грубые нарушения правил. Он решил развернуться на площади Этуаль, чуть не врезался в какую-то машину и зигзагом вылетел на авеню. Он был весь в поту, когда они остановились у подъезда внушительного особняка. Джо указал на бьюик последнего выпуска, стоявший у тротуара.

— Это колымага патрона, он должен быть дома.

Даниель открыл дверцу, но Джо удержал его.

— Не спеши, успеешь. На вот, возьми... У Бебе такая штука может пригодиться...

Даниель почувствовал в руке что-то холодное. Это был маленький острый корсиканский нож. Лавердон благодарно улыбнулся Джо и вышел.

Под аркой ворот он нашел звонок и нажал кнопку. Ворота открылись автоматически, и Даниель оказался в просторном холле с мраморными колоннами, который вел в небольшой внутренний дворик. Озадаченный Даниель приостановился и увидел в нише между двумя колоннами конторку швейцара. Он подвергся форменному допросу и уже начал поглядывать на лестницы, соображая, по которой из них пробраться к Бебе. Внезапно раздался телефонный звонок. Швейцар снял трубку, и, к удивлению Даниеля, указал на правую лестницу.

— Пройдите сюда. На втором этаже спросите еще раз.

Даниель взбежал по лестнице, на ходу намечая путь для будущего отступления. Он чувствовал себя отлично. Наконец-то он расквитается за все унижения, перенесенные за этот месяц...

На втором этаже его ожидал человек в штатском. Он несколько походил на официанта, но на нем был отличный смокинг.

Он открыл перед Даниелем обе створки высокой двери, ведущей в зал стиля модерн, сверкавший лакировкой, в золотистых, черных и зеленых тонах.

— Мсье Ревельон просит обождать одну минутку.

Даниель шагнул вперед и почувствовал, как чьи-то железные руки обхватили его приемом «задний пояс». Его уткнули лицом в ковер, и он был не в силах шевельнуться. Подошел Бебе, ловко обшарил его карманы и вытащил нож.

— Так я и думал. Теперь можно разговаривать.

Он сделал знак телохранителю. Тот поднялся и ушел, унося нож. Даниель вскочил, как зверь, готовый укусить.

— Ну и сволочь же ты!

— Замолчи, идиот! — надменно сказал Бебе. — Говорить буду я. Знаешь, что ты собирался сделать? Попасть на гильотину, защищая мсье Джо. Посмотри в окно. Как видишь, он не стал тебя дожидаться.

Даниель подошел к окну. «Фрегата» внизу не было.

— Мсье Джо пытался меня шантажировать. Вчера я спустил его с лестницы.

У Даниеля перехватило дыхание.

— Сядь! — великодушно разрешил Бебе. — Как ты мог заметить, я работаю не со святыми. Когда живешь в таком борделе, как наш мир, приходится идти на многое. Мсье Джо решил, что настал час бросить меня и перекинуться к Лэнгару.

— Но ведь Дора...

— Знаю, — оборвал Бебе. — Но к Лэнгару тебя отвез Джо. Лэнгару нужны люди. Джо шпионил за мной по его поручению. Объяснять тебе все слишком долго. Пойми главное: Джо использовал тебя, чтобы посчитаться со мной.

— А легавые? — заорал Даниель. — Легавые, которых ты напустил на меня? Зачем ты заявил, будто я украл твой «Фрегат»?

Бебе ринулся на Даниеля.

— Ты мог в это поверить?

— В таких случаях снимают пиджак...

Даниель встал со стула.

— Классическая борьба или джиу-джитсу? — усмехнулся Бебе. Он знал, что у Даниеля пропала охота драться.

— Даю тебе честное слово: таких шуток я не потерплю!

Мускулы лица Бебе напряглись от ярости. Он был теперь похож на немца, сероглазого,

темноволосого немца с окаменевшим от бешенства лицом. Ростом почти с Даниеля, с отлично развитыми мышцами, он был опасным противником. Словам Бебе Даниель не поверил, но физическая сила приятеля внушала ему уважение. Запинаясь, он рассказал, что случилось, и закончил усталым, почти равнодушным тоном:

— ...а когда я вернулся из жандармерии, Дора исчезла...

— И ты пошел на улицу Мальфер?

— Да. Там никого не было.

— Ясно. Хочешь знать правду? Это твой дружок Джо продал тебя полиции. Для этого он и повез вас кататься. Для этого дал тебе пистолет. Хранение огнестрельного оружия — еще не самое страшное: у каждого пистолета есть номер, а пистолет Джо, вероятно, наделал хороших дел. А потом Джо увез Дору или просто напугал ее и заставил исчезнуть.

— Он сказал мне, что ездил все утро.

— Когда ты вернулся из жандармерии?

— Около половины девятого.

— А когда уехала Дора?

— Мне сказали, минут за сорок до меня.

— И больше ты ни о чем не спрашивал?

Даниель уныло покачал головой. Филипп подошел к телефону и позвонил в харчевню «Двух Зайцев». Его не соединяли довольно долго. Затем он сделал знак Даниелю и взял трубку так, чтобы было слышно обоим:

— Говорит мсье Лавердон, — сказал Бебе. — Вы меня помните? Я хотел бы знать, как уехала от вас моя приятельница. Автобусом? Ах! За ней приехал шофер... Тот самый шофер на той самой машине... Благодарю. Вы оказали мне услугу... Большую услугу.

Даниель вышел от Бебе опустошенным. Он казался себе пустым и ненужным, как костюм, сброшенный с плеч. Вся эта история была нелепой и непонятной. Он не хотел разрыва и ничего не сделал для того, чтобы он произошел. Но теперь ничего не поправишь. Память отодвинула его в прошлое. Двенадцать лет назад он был юным лицеистом, неумелым и робким игроком, спускавшим папашины деньги. Он был скрытен и чванлив. Восхождение своего семейства по социальной лестнице он отмечал безобразными выходками против одноклассников. Он завидовал положению других, завидовал крупным состояниям, он непременно хотел усесться покрепче, доказать, что он тоже принадлежит к сливкам общества. Искренней уверенности в этом ему не доставало всегда. Оплачивать кутежи, заказывать шампанское в борделях и иметь собственный столик в любом модном кабаке Виши — это еще не все. Надо было научиться воспринимать это как нечто привычное, само собой разумеющееся. Он хорошо помнил, с каким презрением относились к нему тогда. Он был выскочкой, нуворишем, которого «накальвали», заставляли расплачиваться за незаконно полученные права. Вступив в дарнановскую милицию, он приобрел те привилегии благородных, о которых говорил Бебе. Он упивался своей властью, своей безнаказанностью. Он двигался по хорошо смазанным колеям породившего его ублюдочного государства, он стал избранным, аристократом — и за это стоило биться, стоило умереть. Он бился б и умер за себя, за свой успех. Теперь прежнее свалилось с него, как старая кожа, рассеялось, как призрачный ореол. У него больше ничего не осталось. Ему было тридцать лет.

Прошлое больше не связывало его с Бебе. Теперь он не понимал Даниеля, а его блестящий успех, его автомобили, его особняк на авеню Фридланд — все это причиняло Даниелю острую боль. Бебе его презирал. Он, Лавердон, герой, был вынужден обращаться за помощью к плутократу и быть довольным, если ему эту помощь оказывали.

Лишь коренная чистка могла поставить все на свои места, восстановить прежний, упорядоченный мир. Тот мир, в котором Даниель Лавердон будет облечен всей полнотой власти, правом распоряжаться жизнью и смертью.

То, что он пережил за один день, было выше его сил. Его, как мальчишку, обманул этот мерзавец Джо. Эта шлюха Дора попросту его обокрала. Недурно он выглядел теперь, Бебе было над чем посмеяться от души. Да еще этот «задний пояс» у входа в зал, неожиданный прием, бросивший его, побежденного и беспомощного, к ногам Бебе. Он действительно больше ни к черту не годился. Это был предел унижения. Никогда еще, ни во время войны, ни в каторжной тюрьме, он не был так одинок. Даже в худшие времена он был преступником, приговоренным к смерти, но заслуживающим уважения; вечником, которому кланяются; старостой участка, с которым лучше не ссориться. Сейчас он был ничем. Джо, наверное, смеется над ним. Даниель представил себе Джо, облизывающегося от удовольствия, пока он испивал чашу позора у Бебе.

Прежде всего надо взять напрокат малолитражку. Бебе предложил ему свою помощь, чтобы он мог расплатиться со всеми долгами и, кстати, свести счета с Джо. Даниель обещал себе задать Джо такую трепку... Эта мысль развеселила Даниеля. Только так можно доказать свое превосходство, превосходство солдата и мужчины, превосходство того, кто бьет, над тем, кого бьют. Даниель сумеет заставить себя уважать. Конечно, довольно утомительно все время заставлять и доказывать. Но, сведя счета с Джо, он получит возможность работать на себя. Бебе не собирался, видимо, отказывать ему в деньгах. У него будут свои подчиненные, свои лакеи, свои мальчишки на побегушках. Кроме того, можно будет повидаться с Лэнгаром. Маневрируя между ними, легче будет сохранить независимость. Во всяком случае, мсье Джо недолго

Жозефу Картье никак не удавалось вырваться из Парижа. Как только Даниель вошел к Бебе, Джо уехал, уверенный, что дальнейшее он узнает завтра из газет. Ему надо было ехать в Ман, к приятелю, которому он поручил Дору, но сначала необходимо было отпраздновать одержанную победу. Наконец-то жизнь улыбнулась ему. Наконец-то на него работали другие. Он отогнал машину в гараж и распорядился сделать профилактику, вымыть ее и переменить в ней масло. Сегодняшний день оказался свободным, он может провести его в свое удовольствие.

Джо, посвистывая, вышел из гаража и наткнулся на старьевщика, своего давнишнего приятеля. Матье наливал воду в радиатор малолитражки выпуска 1921 года, которую он переделал в грузовичок. Джо нуждался в благоговейном слушателе и потому обрадовался Матье.

— Бросай работу! — скомандовал Джо. — Бросай и идем: я тебе залью твой радиатор!

Тот захохотал так, точно услышал шутку, самую остроумную со дня сотворения мира. Это был низкорослый человек, не крупнее Джо, но жилистый и крепкий. Он был устрашающе худ. Когда он смеялся, его желтое, морщинистое лицо сливалось с голым черепом. В квартале он был известен под прозвищем Матье Мертвая Голова.

— Мне надо отвезти эту штуку домой, — умоляюще сказал Матье. — А то, знаешь, моя хозяйка...

— Боишься, что твои ребята тебя отлупят?

— А что, мой старшенький для своих десяти лет здоровенный парень...

— Бросай и пошли!

Матье застонал еще жалобнее.

— Редкий случай, старина... Переносная печка, настоящая саламандра — и всего за тысячу монет...

Джо взял его за руку, но Матье начал энергично сопротивляться.

— Дай я хоть поставлю машину, Джо... А то я себя знаю...

Этот аргумент подействовал на Джо. Он тоже знал себя. Но сейчас ни за что нельзя было отпускать Матье домой: Джо хорошо знал его хозяйку, стокилограммовую даму с отлично подвешенным языком. Голос у нее был, как паровая сирена, и она так умела кричать о своих несчастных детях, что даже Джо иногда случалось расчувствоваться. Сегодня она обязательно испортила бы им все удовольствие. С королевской щедростью Джо велел Матье пристроить за его счет машину в гараж. Затем он распорядился, чтобы эту старую калошу подвергли пульверизационной смазке. Механик гаража разинул рот. Затем они под руку отправились в самый дальний кабачок. Разумнее было начинать оттуда, постепенно приближаясь к дому. В сумерках по этим паршивым мостовым совершенно невозможно ходить... Матье не возражал, он был со всем согласен. Он тоже знал Джо, как самого себя.

Прежде всего Даниель отправился в гараж. «Фрегат» стоял на своем месте, стало быть, и мсье Джо обретался неподалеку. Даниель зашел в угловой кабачок и узнал, что мсье Джо был здесь четверть часа назад и ушел вдвоем с товарищем, неким Матье. Куда они направились?

— В кровать, вероятно, — с усмешкой сказала хозяйка. — Она им была просто необходима...

Даниель выпил коньяку и вышел с огорченным видом человека, которому пришлось перенести на завтра неотложное дело.

В малолитражке его ожидал Бебе. Они объехали квартал, заглянули в ярко освещенное кафе и обнаружили обоих приятелей за стойкой — они уже выглядели достаточно живописно. Даниель хотел атаковать немедленно, но Бебе удержал его. Умнее было подождать, пока приятели выйдут. Можно поехать за ними и подобрать более подходящее место для разговора. Сидя в засаде, Даниель заново открыл полузабытое удовольствие, чувствуя приятное возбуждение, наслаждаясь холодным воздухом и молчанием. Сердце билось сильно, но не от волнения, а от радости. Ровно месяц назад он вышел из тюрьмы, и только теперь представилась возможность развернуться.

Ожидание показалось ему недолгим. Дверь кафе распахнулась и выпустила двух пошатывавшихся пьянчужек. Даниель дал им отойти подальше и тихо поехал следом.

За поворотом начиналась темная улочка, плохо освещенная редкими фонарями. Их мертвенный свет падал на жалкие лачуги. Даниель прибавил газу. В ночной тишине слабый треск малолитражки казался грохотом могучей гоночной машины. Метрах в двадцати от друзей Даниель убрал газ и перевел машину на нейтральную скорость. Машина заплясала по неровному бульвару. Обогнав пьяниц, Даниель развернулся и затормозил.

Затем он выскочил из машины и ринулся в бой. Приятно было сознавать, что ты не разучился драться. Сила и точность взмаха остались при нем. Несколько ударов заводной ручкой были нанесены в безупречном темпе, это была чистая, красивая и бесшумная работа. Увидев два рухнувших тела, Даниель пожалел, что все так быстро кончилось. Джо лежал на краю дороги, свесив голову в канаву. Даниель набросился на безжизненное тело и дал волю ярости, пока Бебе не вернул его к действительности, запустив мотор на полные обороты. Даниель сел в машину и молча выслушал ругань Бебе: Джо надо было вздуть, но не искалечить... Впрочем, что сделано, то сделано.

Они ехали не торопясь, как на прогулку. Даниель улыбался, давно ему не было так хорошо. На площади Этуаль Бебе вылез из машины, оставив Даниелю несколько тысячефранковых бумажек и ключ от студии на улице Мальфер.

Оставшись один, Даниель почувствовал себя совершенно счастливым. Зверь в нем ликовал. В первом попавшемся бистро он пропустил двойную порцию коньяку и поехал в Булонский лес. Он медленно ехал по аллее, когда стоявшая под деревьями женщина сделала ему знак рукой. Он затормозил. При неверном свете фар женщина показалась ему соблазнительной. Все было в порядке: он был свободен, и мир принадлежал ему.

\* \* \*

Утром Даниель отослал девку, он переживал новое наслаждение, оставшись один в студии на улице Мальфер. Он голый разгуливал по комнатам, трогал безделушки, словно они были его собственностью. Он заглянул в платяной шкаф Доры и погрузился в мечты о мирной холостяцкой жизни. Ему казалось, что необходимое равновесие найдено. Рожденный для боя, он должен был сначала победить самого себя. Он принялся мечтать о том, как окажет Бебе огромную услугу и взамен приобретет независимость. После этого он создаст организацию. Придется собрать воедино разрозненные группы настоящих ребят. Их надо будет обучить, вооружить и подготовить так, чтобы в Великий День они выступили как грозная сила. Бебе



отпал, он дал соблазнить себя финансовыми делами. Даниель поднимется выше: все деньги Бебе и таких, как Бебе, будут принадлежать ему. Он станет настоящим вождем. Эта перспектива вдохновила его.

В дверь позвонили. Он решил, что вернулась Дора, и обрадовался тому, что сейчас узнает все досконально. Даниель накинул халат и открыл дверь. На площадке стояли два господина в штатском.

— Мсье Даниель Лавердон? У нас есть к вам несколько вопросов. Потрудитесь следовать за нами.

Даниель выпрямился.

— У вас имеется ордер на арест?

В ответ шпики захохотали.

— Молодец, знаешь порядки! В последний раз дело обошлось восемью годами, верно? Идем-ка. Давай без фокусов.

Легавые тем временем успели просочиться в дверь.

Даниель пошел вверх одеваться. Младший шпик двинулся было за ним, но старший сказал поучительно:

— Второго выхода нет, я проверял.

Даниелю эта история надоела. Этот Джо — прямо проклятие. Видимо, в госпитале он продал его полиции. Нанесение телесных повреждений — во что это может обойтись? Он порывлся в памяти и решил, что удовольствие недорогое. Черт бы его побрал, уж лучше бы он его прикончил... Вот так всегда — страдаешь за свою доброту...

Уже одетый, он спускался по лестнице, когда старший инспектор небрежно бросил:

— Ты, конечно, знаешь, что он умер?

— Кто? — искренне удивился Даниель.

— А тебе разве не известно? Подумай хорошенько. Никто из твоих знакомых не хворал? Какая жалость, а он-то думал, что это ты его пришел. Сам понимаешь, придется разобраться...

Даниель пожал плечами.

— Я не читаю полицейских романов.

— Разговор идет о Джо, твоём дружке Джо...

— Что еще он устроил? Опять будете придирааться и шить ему дело? Мало он от вас натерпелся? Вы бы лучше взялись за жидов и коммунистов...

— А ты не глуп, — признал шпик. — Только тебе не повезло. Твой дружок Джо наговорил лишнего перед тем, как отдать концы. Наболтал целую кучу.

— Сволочи! — взвыл Даниель. — Вы сами его убили! Мало вас расстреливали за такие дела?!

— Правильно, старина, правильно! Пойдем быстренько, там тебе все объяснят...

К вечеру жажда стала невыносимой. Шесть часов сряду Даниеля передавали из рук в руки. По-видимому, Джо умер на месте, но другой остался жив. В больнице он опознал Даниеля по фотокарточке, опознал его и хозяин быстро. Так по крайней мере утверждали следователи, хотя упорно отказывали Даниелю в очной ставке. Пока что Даниель ни разу не сбился. Он искал Джо накануне, чтобы разузнать насчет Доры. В первом кафе ему сказали, что Джо, вдребезги пьяный, шатается по улицам с приятелем, который ничуть не трезвее его. Оба они были тепленькие, дай бог, чтоб добрались до постели... Даниель на этом успокоился и сразу отправился домой. Вот как обстояло дело. Но легавые разыскали его малолитражку. Даниель и тут приплел розыски Доры и неустанно повторял все ту же историю. Он чувствовал себя в форме и вполне мог выдержать еще целую ночь. Теперь они станут грозить ему судом присяжных. «Раз ты не хочешь нам помочь — просидишь годик под следствием, торопиться некуда. Твое прошлое нам известно, а парень убит типичным приемом рукопашного боя... Хватит ловить шансы... Это тебе не поможет...»

Вошел грузный, плохо выбритый беззубый человек, похожий на актера Фернанделя. В огромной его голове было что-то бычье и в то же время что-то лошадиное. Он взял со стола пачку бумаг, внимательно посмотрел на Даниеля и приказал дежурным агентам оставить их наедине.

— Давайте, Лавердон, поговорим, как друзья. Убийство вашего приятеля Джо меня не интересует. Ребята говорят, что это — ваш почерк, ваша работа, но меня это не касается. Я хотел бы знать вот что: почему ваш друг Филипп Ревельон толкнул вас в такую заваруху? Мы знаем, что покойный Джо шантажировал его много месяцев, а то и лет. Джо слишком много знал об операциях Ревельона в Индокитае. Недавно Ревельон принялся подчищать свои делишки, и шантажиста нашли убитым. Вы меня не интересуете, вы — исполнитель, не больше. Мне нужно знать, почему Ревельон решил одним ударом освободиться от вас обоих?

— Это все? — спросил Даниель.

— Все. Поразмыслите об этом.

— Я не пишу криминальных романов.

— Как хотите. Нам известно, что Ревельон выписал на ваше имя несколько чеков на общую сумму около миллиона. Какие услуги он оплачивал?

— Никаких. Я присматривал за его домом.

— Это, милейший Лавердон, вы расскажете присяжным. Послушайте меня: если вы сумеете осветить роль Ревельона, вы не только выйдете сухим из этого дела, но и поможете всем, кто пострадал от ревельоновских махинаций. А для вас это будет значить больше, чем свобода.

— Да вы что, издеваетесь надо мной? К пиастрам я не имею никакого отношения. Проверьте даты, проверьте, раз уж вы все хотите проверять, проверьте, если это даст вам хоть что-нибудь...

Шпик с улыбкой встал со стула.

— На вашем месте, Лавердон, я спросил бы, о каких махинациях Ревельона идет речь. Вы не спрашиваете — значит, вы в курсе. Желаю вам доброй ночи.

Даниель остался один, у него было время, чтобы обдумать положение. Что хотел сказать шпик? Что Бебе воспользовался им для сведения счетов? В этом не было ничего удивительного. Джо, как известно, — редкостный прохвост. Зато теперь Бебе ни в коем случае не покинет его. Это совершенно очевидно.

Шпики подстраивали Бебе какую-то крупную пакость. Кому-то из большого начальства Бебе сильно насолив. Именно поэтому здесь, в Сюрте, смерть Джо наделала столько шума. Подумав, Даниель решил, что у полиции против него нет никаких прямых улик, если не считать показаний старьевщика, этого проклятого пьянчуги. Его показания стоили недорого. Матфе был никто, меньше, чем никто... Все же Даниель жалел, что поблизости нет ни одной знакомой рожи. Он вспомнил об инспекторе политического отдела, которого встретил тогда в задней комнате кабака... Как, черт возьми, его звали, этого толстого, добродушного дядю с багровым лицом? Даниель напряг память и вытащил из ее недр имя комиссара Рагесса. Но еще не известно, примет ли он сторону Даниеля или присоединится к легавым. Он решил обождать, пока положение прояснится.

В комнату вошли шпики утренней смены. У них были славные, налитые морды, видно было, что они недурно провели ночь. От дыма их сигарет у Даниеля защипало глаза. Пришлось признать, что они знают свое ремесло: они взялись за Даниеля, голодного, неспавшего, полумертвого от жажды. Допрос возобновился немедленно, и Даниель убедился, что с того времени, когда он сам пользовался теми же методами, по существу, ничего не изменилось. Вот только они старались не оставлять следов на теле, а все прочие третьестепенные приемы применялись по-прежнему.

Он знал толк в этих делах и постарался показать это тем, кто его допрашивал.

\* \* \*

Много часов спустя первая смена отработала свое и удалилась. Даниель никогда не думал, что это так страшно. Его терзала жажда. Он ожидал продолжения допроса и мучился от подступавшей тошноты. Вдруг вошел тот толстый папаша, который давал ему хорошие советы.

— Ну, как, Лавердон, поразмыслили?

— Почему бы вам не вызвать самого Филиппа Ревельона? Спросите у него, что он думает по этому поводу.

— Не будьте ребенком, Лавердон. Неужели для того, чтобы Ревельон мог спокойно спать, вы позволите припать себе большой срок? А ведь он использовал вас, как лакея, и покинул в беде...

— Вы так и скажете на суде?

— Ну, как хотите, Лавердон.

Даниель попытался выпрямиться на стуле. Все тело невыносимо болело. Толстяк вышел, сейчас придут те, другие. Все мерзко на этом свете, и Бебе не лучше остальных. Пожалуй, ребята, прямо из тюрьмы отправившиеся в Корею, были не так уж неправы...

\* \* \*

Он задремал на секунду и тут же проснулся. За стеной кто-то орал благим матом, какой-то бедняга получал свою порцию, его «пропускали через табак». Через полчаса нервы Даниеля загудели. Он понимал, что эту музыку затеяли, чтобы испугать его. Но почему ему дали заснуть? Он чувствовал, что слабеет с каждой минутой. Этот шум отнимал у него силы, как капающий кран, который не дает заснуть в камере. Шли часы, сосед продолжал орать. Под утро все затихло. Даниель услышал, как к его камере приближаются шаркающие шаги. Кто-то вошел. Опять они пришли допрашивать его. Может, они думают, что он уже готов сознаться? Даниель

выпрямился и приготовился к борьбе.

Даниель облегченно вздохнул. Он узнал Рагесса, с опущенными плечами и утомленным лицом. Следом за ним вошли двое шпииков.

— Я возьму его к себе, — пробормотал Рагесс. — Нет, не туда, где тот. Сначала мы потолкуем наедине. А потом, если понадобится, я позову вас и мы устроим очную ставку.

Шпики удалились, досадливо переглянувшись. Рагесс знаком подозвал Даниеля, и они вышли в другую комнату.

— Дело плохо, — сказал Рагесс. — Он не желает признаваться.

— Ясно, — спокойно согласился Даниель.

— Три часа подряд — ничего! — повторил Рагесс. — Я видел Ревельона и Лэнгара. Оба просили вытащить тебя отсюда. А ну-ка покричи!

Даниель вопил, Рагесс стучал об пол.

— Сволочь! — убежденно выл Даниель.

— Это только начало! — зарычал Рагесс.

— Что будем делать дальше? — спросил Даниель шепотом.

— Покричу еще! Так, хорошо... Что делать? Не знаю. Он двужильный, этот Матье Мертвая Голова!

— Надо его заставить!

— Да, но мой коллега пошел спать. Он не верит в это дело, понимаешь?

— Может, на очной ставке, я смогу тебе помочь?

Рагесс улыбнулся и кивнул.

— На, возьми мои очки. Стекла простые. Он тебя не узнает. Мы посадим его к столу, против света, а ты станешь сзади, хорошо? Когда эта комедия кончится, я опять посажу тебя ненадолго, согласен?

— Конечно, согласен! — усмехнулся Даниель. — Ты избил меня, как собаку!

\* \* \*

Матье Фонтвилль, по прозвищу Мертвая Голова, был не таким уж двужильным. Сразу определив его роль в оправдании Лавердона, Рагесс забрал его прямо из больницы. События прошедшей ночи украсили Матье двумя огромными кровоподтеками возле правой глазницы. С этой стороны черепа у него не осталось ни единой складочки — все залила огромная опухоль, начавшая зеленеть. Увидев перед собой столь разукрашенного человека, Рагесс решил, что стесняться нечего, и взялся за Матье с большим усердием.

У Даниеля также имелся немалый опыт в допросах и даже несколько изобретений в этой области. Он знал свое дело и хотел поскорее добиться нужного результата. Приготовления длились ровно столько времени, сколько нужно, чтобы размять мускулы. Затем приведенному Матье было сказано:

— Джо дал тебе по морде, а ты дал сдачи. Свидетели есть. Тебе не повезло, он упал и ударился головой.

Возможно, Матье постепенно уверовал, что так оно и было. Возможно также, что сильные пальцы Даниеля, перехватившие ему горло, окончательно убедили Матье. Во всяком случае, он не стал возражать, он только напомнил о жене и детях. Даниель решил довести дело до конца:

— Типа, которого ты опознал на карточке, ты не видал. Ты ошибся, на улице было темно.

Матье потерял сознание.

— Ты перестарался, — сказал Рагесс.

— Ванны были практичнее... Все-таки холодная вода...

Матье Фонтвилль зашевелился. Он был похож на волосатую, полуразорванную куклу. Даниель протянул ему стакан воды, стоявший на подоконнике.

— Этот не надо, — сказал Рагесс. — В нем соленая.

— Подпиши! — шепнул Даниель. — Подпиши, и тебе дадут пить...

Рука Матье дрожала. Большая, загрубелая, шершавая рука.

— Моя жена, — застонал он. — И потом, у меня долги... А мой старшенький... — он заплакал. — Такой славный парень, такой здоровенный... Ему придется говорить, что у него отец в тюрьме...

Даниель совершенно не переносил слез. Он размахнулся, чтобы дать Матье затрецину, но растроганный Рагесс остановил его.

— Не бойся, Матье Фонтвилль, все обойдется. Мы напишем «в порядке законной самозащиты», и ты отделаешься сущими пустяками...

Услышав это, Даниель вздохнул облегченно. Он успел совсем забыть, что Матье здесь ни при чем. Великодушие Рагесса имело смысл: Матье поскулит, но подпишет. Во времена Даниеля было совершенно бесполезно уговаривать заключенных. Все они прекрасно знали, чем кончится допрос, и ни за что не поверили бы в любезности, вроде тех, что расточает сейчас Рагесс. А теперь Матье Фонтвилль вполне мог надеяться, что все уладится. Рагесс знал свое дело. Он протянул старьевщику стакан воды, затем дал ему сигарету. Он кинул на Лавердона взгляд сообщника, но встретил холодный и жестокий взгляд. Даниель не признавал подобных комбинаций. В глубине души он не слишком доверял этому толстяку. Жирное, багровое лицо Рагесса дышало грубой чувственностью, его зеленоватые, подвижные глазки поблескивали лукавством. Даниель предпочел бы, чтобы Матье был мертв и похоронен. Никогда не следует оставлять в живых опасных свидетелей — эта азбучная истина обошлась ему недешево, черт побери. Жизнь в изуродованном теле Матье казалась ему отвратной, непростительной ошибкой. Он еще смел размножаться, этот Матье. Случайности пьяных ночей увеличивают число подонков, заполнивших мир. Когда этому будет положен конец, когда будут усмирены бесчисленные толпы оборванцев?

— Ты вполне мог бы у нас работать! — любезно заявил Рагесс. Они возвращались в первую комнату. Слегка смутившись, Даниель внимательно посмотрел на спутника. Он опять встретил взгляд зеленоватых глазок. Этот Рагесс думает, что оказал ему большую услугу. При случае, изобразив наивную улыбку на своей круглой роже обжоры, он во всех подробностях напомним ему события сегодняшней ночи. Все та же мерзость, то же одиночество. Никогда он не выйдет из этой тюрьмы.

Утром Даниеля разбудил шпик, подбиравший ключи к Ревельону. На секунду Даниелю показалось, что вернулись добрые старые времена. Затем он вспомнил, что помогал Рагессу, и почувствовал отвращение к себе. Шпик злобно улыбался беззубым ртом и помахивал пачкой листов, напечатанных на машинке.

— С убийством все в порядке. Приятель признался.

— Какой приятель? — чересчур поспешно спросил Даниель.

— Старьевщик. Вот, он подписал показания.

— Значит, я свободен?

— Нет. Ты сообщник, и ты запираешься. Вам сделают очную ставку. Теперь ты видишь, что умнее было бы помочь нам...

На такую чепуху Даниель даже не стал отвечать. Дело было сделано. Пускай теперь шпики подбирают крохи.

После отъезда Даниеля мадам Рувэйр оправилась не сразу. За четыре дня, проведенных с ним, она привыкла к надеждам. Она мечтала, что Даниелю понравится тишина старого дома, семейная обстановка, в которой еще чувствовалось присутствие покойного мсье Рувэйра, тихие провинциальные радости. Если бы все это полюбилось Даниелю, он остался бы с ней.

К тому времени, когда Даниель вылез из своей Центральной, Мирейль уже утратила все иллюзии. Она больше не считала себя молодой и красивой. Ей исполнилось сорок четыре года, и уверенность в себе ее покинула. Красота южанки — белокожей и темноглазой — недолговечна. Когда-то Мирейль полагала, что эта красота — главный козырь в ее жизни, теперь же, поблекнув, считала себя менее красивой, чем была на самом деле. Она искренне думала, что молодость прошла, когда в ее жизнь ворвался Даниель. Он вернул ей вкус к жизни, молодость и счастье. Разрыв она объясняла так же, как и Даниель.

Для него она была слишком вялой и уставшей, ум ее утратил прелесть и живость юности. Однако не все еще было потеряно, и Мирейль взялась за дело. Она обошла все модные магазины Труа, не обращая внимания на вежливые улыбки продавщиц. Визиты в кабинет косметики вызвали усиленные сплетни в ее кругу, но и это не пугало, а лишь раздражало ее. В разговорах с Мелани она порицала провинциальную узость мысли. Ее место было в Париже, там она сумела бы сохранить Даниеля.

Шли дни. Апрельское солнце скупо сочилось сквозь высокие, зашторенные окна. Мирейль хандрела, зябко вздрагивая в полумраке пустынных комнат. Она никого не знала в Париже. Мсье Ревельон не ответил на письмо, в котором она окольными путями пыталась узнать, где Даниель.

С его отъезда прошел месяц, и Мирейль чувствовала, что стареет. Ее не радовали новые платья, она думала о своей усталости, о морщинках у глаз, о седевших волосах. Она подолгу сидела перед зеркалом, затем плакала, после чего выглядела еще более увядшей и озабоченной.

В это утро к ней в комнату без стука ворвалась расстроенная Мелани и застала ее голой перед огромным зеркалом. Пробормотав бессвязные извинения, она исчезла, оставив на неприбранной постели телеграмму. Мирейль даже не успела рассердиться. Она пожалала плечами, но вспомнила о Даниеле и набросилась на голубой квадратик. Руки ее безвольно опустились: «ФРАНСИС РУВЭЙР РАНЕН НАХОДИТСЯ ГОСПИТАЛЕ ВАЛЬ-ДЕ-ГРАС».

Она опять подошла к зеркалу. Сквозь тяжелые занавеси пробивался слабый свет, в котором тело ее казалось очень белым, молодым, исполненным жизни. Телеграмма обрадовала ее. Франсис ранен, но он поправится. Сын мсье Рувэйра от первого брака никогда ее особенно не беспокоил. И вот ему суждено изменить ее судьбу. Сама она никак не могла набраться смелости — теперь жизнь решала за нее. Ей придется ехать в Париж. Такая заботливость с ее стороны произведет хорошее впечатление. Она сразу перестала ощущать себя далекой от того, чем жили люди. Теперь она разделит общие горести. Раненый в Индокитае! Франсис, наверное, уже офицер. Надо было немедленно объехать всех приятельниц и сообщить им новость. Она засуетилась и сразу забыла горькие мысли об ушедшей молодости.

Она вернулась только к вечеру. Поразительно! За несколько часов рухнули стены ее тюрьмы. Всюду ее встречали, как свою. В каждом семействе был хоть один близкий или дальний родственник — воспитанник Сен-Сира.<sup>[6]</sup> В каждой семье кто-нибудь погиб в Индокитае или еще сражался там. Мирейль забросали вопросами, поручениями, ее просили узнать о судьбе родных и знакомых. Ей и в голову не приходило, что столько молодых людей погибло, что в замкнутый круг провинциальной буржуазии так безжалостно вторглась эта

малозаметная война. Еще недавно мадам Рувэйр была для этих людей лишь хитрой интриганкой, выскочкой, сумевшей заставить покойного мсье Рувэйра жениться на себе. Ее терпели, пока ее муж был жив, и ей почти перестали кланяться, когда его не стало. Теперь все изменилось. Ее приглашали к обеду. Но особенно она была удивлена тем, что никто не верил газетам. Ей рассказывали о Хоа-Бине, Као-Банге, сражениях в дельте реки Меконг и прибавляли, что кампания ведется бездарно, лишь для того, чтобы производить впечатление на депутатов и американцев. Там происходят постыдные истории. «Знаете, знаменитое дело с пиастрами»?.. Рассказывали обиняками, недомолвками, часто повторяя, что с самого начала война велась глупо, неправильно. Кстати, в каких частях сражался ваш пасынок? «В десантных войсках», — не подумав, ответила она, а теперь сама сомневалась в этом.

— Вы говорите, он воюет с сорок шестого года?

А что здесь удивительного? Разве это позорно — воевать столько лет и остаться в живых?.. Но нет, ее спрашивали с почтением, уважительным, восхищенным тоном. Все говорящие об этой войне, казалось, испытывают страх.

Мирейль лихорадочно собрала чемоданы и вечерним поездом уехала в Париж. Теперь ей было ясно, чего она не поняла в Даниеле. Он ведь «ломал» (она впервые услышала это словечко от него, и оно ей понравилось), бесстрашный парень, один из тех, кем так восхищался ее покойный муж. Как могла она жить вдали от главного события эпохи? Рассеянно просматривала газеты, вносила свою лепту на рождественские подарки солдатам равнодушно, словно подавала милостыню, не заботясь, на что она пойдет... Как она могла так жить? Теперь все будет иначе: она приведет Даниеля к одру пасынка. С этого начнется их примирение, их новая, общая жизнь... Ей хватило мечтаний до самого Парижа.

На перроне вокзала продавцы газет орали о специальном выпуске, посвященном сражению под Дьен-Бьен-Фу. Поглощенная мыслями о будущем, Мирейль прошла мимо, но жирные заголовки в конце концов дошли до ее сознания. Она вернулась и купила газету. Теперь она должна быть в курсе всех событий.

В городе ей не удалось разыскать дочь, и она остановилась в маленьком отеле на бульваре Мажента. Она собиралась лечь спать, когда ее внимание привлек заголовок на внутренней стороне газетного листа: «Даниель Лавердон признан невиновным и сегодня будет освобожден». Она схватила газету и пробежала статью слишком быстро, ничего не поняла и начала читать заново. Оказывается, два дня назад был найден и опознан труп некоего Жозефа Картье, по кличке Мсье Джо, шофера, находящегося на частной службе. Подозрение пало на Лавердона, которого видели вместе с Джо незадолго до его гибели. Однако вскоре последовало полное признание со стороны истинного убийцы. Им оказался некий Матье Фонтвилль, старьевщик. Он в пьяном виде сильно поссорился с Картье. Следствие заканчивало последние формальности.

Мирейль перечла статейку в третий и в четвертый раз. Опасность, которой подвергался Даниель, ошеломила ее. Как это могло случиться, ведь у нее не было никакого, ну, прямо ни малейшего предчувствия? Просто нелепо! Подумав, она приписала и эту нечуткость к списку своих грехов перед Даниелем. Ее терзало раскаяние, раскаяние матери, которая рассердилась на ребенка, причинившего ей боль, и теперь считала себя виноватой во всех его несчастьях...

Они должны были выпустить его сегодня. Наспех она оделась и переполошила весь отель, настойчиво добываясь телефона полицейской префектуры. Никто его не знал. Наконец она заметила на диске аппарата номер полицейской скорой помощи и немедленно набрала его. Около нее собрался небольшой кружок любопытных: две дежурные горничные, проститутка, поджидавшая клиента, и ночной швейцар, который развлекался от души.

Когда она сказала: «Да нет же, господин полицейский, морг мне не нужен, он жив, он — в

сегодняшней газете», — веселье стало общим.

Мирейль изложила во всеуслышание обстоятельства дела, но не приобрела особых симпатий. Ей посоветовали позвонить в редакцию газеты. Там никто не отвечал. Одна из горничных убеждала ее позвонить в отдел пропаж и находок, и Мирейль уже готова была рассердиться. Тогда вмешалась проститутка. Она авторитетно предложила швейцару позвонить в управление политической полиции. По ее словам, номер ему был отлично известен. Тут все зашумели, и девка сама взяла трубку. Она выпрашивала какого-то типа (называя его на ты), когда будет освобожден мсье Лавердон, и не отстала до тех пор, пока ей не сказали, чтобы она позвонила завтра утром.

Потом она увела растерянную Мирейль в кафе, где проститутки ожидали прихода ночных поездов. Вернулись они около двух часов ночи, совершенно пьяные. Девка опять начала препираться со швейцаром. Оба кричали что-то о легком заработке и о каком-то «нестриженном барашке». Мирейль хлопала глазами, не понимая ровно ничего. Она с трудом держалась на ногах. Наконец швейцар прогнал девку и довел Мирейль до ее комнаты. Позднее Мирейль никак не могла решить, говорил ей швейцар, что девка из полиции и что при ней нужно держать язык за зубами, или это ей приснилось? Во всяком случае, этим были полны ее сновидения на шаткой кровати, которая ныряла и раскачивалась, всячески стараясь вызвать у Мирейль морскую болезнь.

\* \* \*

Даниель также провел прескверную ночь. Шпики обязаны были отпустить его еще накануне, однако они этого не сделали. Он окликнул Рагесса, пробежавшего мимо. Рагесс ответил уклончиво: видимо, надо было как следует оформить признание Матье Фонтвилля Мертвой Головы... Возможно, он начал отпираться после того, как они с ним расстались...

Даниель ничего не понимал. Его то погружали в воду, то вытаскивали и снова погружали. Устраивать скандал не хотелось, ему было ясно, что большинство легавых не имеет никаких сомнений относительно того, кто убил Жозефа Картье. Однако ожидание давалось ему с огромным трудом, нервы его были напряжены до предела. Вдруг Матье откажется от того, что показал? Черт побери, далеко не все легавые были одной масти. Одни стремились напакостить Бебе, утопить его. Другие его защищали. Между ними шла какая-то борьба, а он, Даниель, был просто игрушкой в их руках и расплачивался за все. Чем дальше он продвигался, тем сильнее увязал в этой тине. Кто был виноват в этом? Кто поймал его в сети? Бебе? Нет. Тюрьма? Тоже нет. Это началось раньше. Отъезд в Германию... Дарнановская милиция... Его юность... Все слилось воедино, в одну сплошную черту, точно поезд, мчавшийся по свободному пути. А кто же стрелочник, направляющий его движение? В последнее время стрелочником был Бебе, но он тоже делал лишь то, что обязан был делать. Значит, причина в нем самом. Когда же он выбрал себе путь? Теперь, отступя назад, он находил каждое принятое решение единственно правильным и неизбежным. Значит, причина не в нем, а в этом насквозь прогнившем мире. В угрожающем бурлении подонков, всегда готовых его придушить. Всех их надо выполоть, как сорняк. Чему же тут удивляться? С сорок четвертого года никто не выпалывал сорных трав, которыми заросла Франция. Однако побеждает всегда сильнейший, и он тоже должен в конце концов победить. А раз он так силен, откуда тогда это ощущение, будто сидишь в дырявой ненадежной лодке, которую раскачивают и захлестывают волны, а она несется куда-то вдаль? Вдаль, против твоей воли...

На рассвете за ним пришли и отвели его к большому начальству. Это был грузный человек,



похожий на разбогатевшего преступника, какими их показывают в кино. Он говорил медленно, профессорским, уверенным тоном. Однако, речь его пестрела уличными словами. Контраст получался забавный.

— Не строй такую рожу, дружочек мой, дело кончено. Надеюсь, мы понимаем друг друга? Исчезай, и чтобы больше я о тебе не слышал. Индокитай раскрывает тебе свои объятия.

— Но я бы хотел... — пробормотал Даниель.

— Никому не интересно, чего ты хочешь. Хочешь быть здесь, пока ведется следствие? Твое дело, пожалуйста. У нас все в порядке, признание оформлено по всем правилам. На теле убийцы нет никаких следов, кроме тех, что получены в драке с покойным Картье, соображаешь?

Даниель понял, однако предложение ему не понравилось. Ехать в Индокитай именно тогда, когда уже всем стало ясно, что правительство пожертвовало ребятами, сражавшимися под Дьен-Бьен-Фу, чтобы спасти репутацию Жоржа Бидо и его присных.

Комиссар протягивал ему руку.

— Не расстраивайся, паренек. Ручаюсь, если ты завербуешься, скучать тебе не придется. Там ты будешь среди своих. Мы знаем, что ты серьезный малый, драться ты умеешь. Но, к несчастью, тебе к заднице подвесили колокольчик. Тебе и шевельнуться нельзя. Учти, если не будешь смотреть в оба — опять окажешься в дерьме, в нем и состаришься.

Даниель пожал протянутую руку. Он стоял с опущенной головой, как мальчишка, которого отчитывает отец. Затем он ушел со смутным чувством, что его провели. Что с ним будет в Индокитае? Попозже надо будет хорошенько порасспросить Бебе и добиться ответа. Ни о чем не думая, позабыв обо всех своих планах, спустился он по широкой, грязной лестнице и вышел во внутренний дворик префектуры. Утреннее солнце ослепило его, он улыбнулся. Ничего не скажешь, здесь лучше, чем внутри...

Вдруг он услышал женский вопль, обернулся и увидел толстую, ярко одетую даму, мчавшуюся к нему. Он узнал Мирейль, бежать было поздно. Очевидно, она прочла в газетах...

Восклицания, вскрики, «дорогие» и «любимые» посыпались градом. Бог мой, как могла она понравиться ему тогда?..

— Здесь люди, — сухо сказал Даниель, подталкивая ее к выходу.

Он залюбовался собором Нотр-Дам, удивительно юным, искрящимся солнечной пылью. Сзади послышались шаги. К нему подходил человек в штатском. Он улыбался во весь рот, показывая сгнившие корешки зубов. Один из легавых с первого допроса? Конечно, тот самый беззубый Фернандель, которому так хотелось пришить Бебе дело. Что ему нужно? Это надо выяснить немедленно. Он сделал Мирейль знак оставить его одного.

Шпик подошел и сказал непринужденно:

— Рад видеть вас на свободе. Лэнгар просил вас быть завтра около полудня в кафе «Две мартышки»...

Не дожидаясь ответа, шпик повернул обратно, но остановился.

— Мсье Ревельон не должен знать об этом. Вообще вам лучше не искать с ним встречи, Ревельон не хочет, чтобы вы оставались во Франции...

Шпик поспешно удалился, оставив Даниеля в недоумении. Этим воспользовалась Мирейль. Она вытатила платок и начала стирать губную помаду с лица Даниеля. По ее словам, он был вымазан с головы до ног.

В воскресенье утром Лиз еще спала, когда в ее комнату вошли мать и Лавердон. Лиз легла на рассвете, часа в четыре, после того как их выгнали из последнего приличного бистро. Накануне она приехала с юга, отчаянно поругавшись с Максимом. Порвать с ним окончательно она не решалась. Броситься в объятия первого встречного — просто так, чтобы забыться, — ей тоже не хотелось. Поэтому она посвятила вечер издевательствам над Алексом, третьим членом компании. Алекс, высокий зубрила, застенчивый и робкий, молча умирал от любви. Этим утром Лиз находилась в состоянии того отупения с похмелья, когда чувства и воспоминания расставляют по местам с усилием, точно тяжелую мебель. Мамаша вкатилась не вовремя, Лиз немедленно завопила, чтобы ее оставили в покое. Она хочет проспаться и разговаривать будет потом. Даниель с интересом рассматривал вырез ее пижамы. С судорожной яростью Лиз завернулась в простыни. Мамаша похоронным тоном сообщила, что раненый Франсис вернулся.

— Какой еще Франсис? — заворчала Лиз. Ее заспанное лицо покраснело от злости.

— О боже! Твой брат!

— А, да... Рувэйр младший. Но я его почти не знаю, не стоило из-за него вытаскивать меня из постели!

Она повернулась лицом к стене, твердо решив пролежать так, пока они не уберутся. Мамаша очень сердито сказала, что они придут через час. Лавердон добродушно пробормотал что-то вроде того, что Лиз сначала надо дать выпастись. Он показался ей почти симпатичным.

Они ушли. Лиз осталась наедине со своей злостью. Голова трещала, во рту было мерзко. По-видимому, у мамыши с Лавердоном прочная связь, и вряд ли это наладит жизнь в семействе Рувэйров! Лиз подумала о деньгах. Как удачно, что отец так мудро распорядился наследством. Что поделаешь, даже родителей не выбирают, а уж что касается мамашиних хахалей... Мысли ее вернулись к Максиму. Для нее все складывается паршиво, решительно все. Какого черта этому дураку взбрело отправиться играть в казино в Каннах? Писатель должен все знать, все испытать, все изведать... и прочая чепуха. Максим таскался повсюду и не писал ни строчки. Результат: долг чести в сто с лишним тысяч. В конце концов это его Дело, пусть сам выпутывается перед родителями. Так ему и надо. Но это были еще не самые горькие воспоминания Лиз — она пожалела его всем сердцем, как дура, когда он рассказал ей о свершившейся беде, однако Максим все испортил своим нытьем, своей бессильной злостью. Их поездка стала напоминать шествие плакальщиц на каких-то мнимых похоронах. Деньги хранились у Лиз, и она придержала сумму, достаточную, чтобы пожить на юге еще недельку. Возвращаться ей не хотелось. Погода была чудесная, и Лиз развлекали несколько снобов, задержавшихся после каннского кинофестиваля. Однако Максим стал окончательно несносен, и ей пришлось воспользоваться первым предложением для отъезда. Максим прочно уселся на своего конька и не слезал с него: он говорил о вечном роковом невезении, об издевках судьбы. Он полагал, что в этом рождается талант. Максиму было без малого двадцать лет, но аттестата зрелости он не имел. Зато он подбирал материалы к эпохальному роману с блистательным заглавием «Черное солнце». Неслыханно смелому творению суждено было свершить переворот в литературе. Молодой человек сознательно готовит свое падение, стремясь через него постичь настоящую жизнь. Он влюбляется, не находит в себе решимости идти до конца — и стреляется... Рассказывая эту чепуху, Максим еще больше походил на толстощекого, сердитого младенца... Лиз вспоминала все это и никак не могла набраться мужества встать с кровати. Когда Лиз начинала так упорно думать о прошлом, для нее это всегда было дурным предзнаменованием. По существу, она уже порвала с Максимом, наконец-то порвала...

Впрочем, разве с ним можно что-нибудь доводить до конца? Попробуйте разорвать пополам кусочек резины. По совести говоря, она и сама не любила сжигать мосты. Кто знает, что еще случится? Когда одиночество берет тебя за горло, хорошо, если кто-то есть под рукой. А как же история в Эксе?

Лиз вела свою «Дину» мимо Бриньоля, когда девушка, стоявшая на обочине дороги, подняла руку. Они взяли ее в машину. Девушка была прехорошенькая, и Максим немедленно принялся с ней любезничать, очевидно, в отместку за некоторые горькие истины, выслушанные от Лиз. Девушка, оказавшаяся студенткой из Экса, с видимым удовольствием разбила все иллюзии Максима. По поводу рокового невезения она процитировала Бодлера. Что же касается романа, то она безапелляционно заявила, что заглавие его не ново, как, впрочем, и содержание, — подобных историй полно в любом журнале. Они глаза намозолили. Совсем недавно один такой рассказ получил премию в журнале «Фемина». Да, именно в «Фемине», в дамском журнале... Странно, что Максим не задушил девицу, он был невысокого мнения о «бабских жюри». В Эксе девица их покинула, оставив Лиз взбешенного Максима, который не мог говорить ни о чем, кроме самоубийства. И так целыми днями, точно стертая пластинка.

Наконец Лиз удалось подняться. Усталость тяжело давила на веки. Зачем себя обманывать? Она больше не верила в Максима. Быть может, виновато неудачное утро и противное ощущение, словно голова одеревенела? Нет, она ясно поняла, что этот безнадежный неудачник взялся испортить жизнь и ей. Разумеется, никогда, никогда не сможет он дать ей то, что ей нужно, что она так упорно и отчаянно ищет повсюду. Он годен лишь как противоядие. Разговоры о самоубийстве только смешили Лиз, она слышала их слишком часто и во всевозможных вариантах. Максим был выгодным фоном — рядом с ним чувствовать себя приличной девушкой было так легко. А тут еще мать, и ее приятель, и потом этот Франсис, которого подшибли во Вьетнаме. Когда они виделись? Да, на похоронах отца она видела его первый и единственный раз. Нельзя сказать, чтобы он ей понравился. Он был сухой и жесткий и говорил только об Индокитае. Черт с ним!

Теперь ей предстоит завтракать в компании с мамашиним воякой... Лиз расчесывала длинные черные волосы, с трудом сдерживая раздражение. Вдыхая, она распутывала сбившиеся прядки, подавляя желание рвануть их изо всей силы. Ее, наверно, никогда не оставят в покое. Вокруг одни дураки, нудные резонеры и тупицы. Если бы она не скучала так отчаянно, когда остается одна! Опять придется тянуть ляжку на факультете, объяснять, почему она пропустила практические занятия... По анатомии ее срежут, это факт.

Лиз сняла с вешалки черные брюки и один из черных свитеров, тот, который лучше обтягивал грудь. Брошенные на кровать, свитер и брюки казались тонким силуэтом танцовщицы. Лиз долго занималась своим лицом. Ей хотелось освежить его, скрыть желтизну, стереть следы Дурно проведенной ночи. Обидно было жить так монотонно, безрадостно. Почему ей никогда не встречался настоящий мужчина? Она посмотрела в зеркало и решила, что в двадцать лет у нее уже нет ни капли свежести. Хороша она будет в тридцать... У нее нет молодости, и виновата в этом мать и никто другой. У нее отняли молодость, и она будет мстить за это всем, всему человечеству. И в первую очередь — этой идиотке матери, которая даже денег не может ей дать столько, сколько нужно, чтобы хоть с этой стороны ее не терзала жизнь...

\* \* \*

Завтрак не состоялся. В половине первого влетела, как безумная, мадам Рувэйр, заявила,

что потеряла Даниеля на улице, и сейчас же исчезла. Лиз позавтракала сосисками в маленькой закусочной на Бульмише. На всякий случай она оставила матери записку с адресом — посещения госпиталя Валь-де-Грас избежать все равно не удастся... С завтрашнего дня начинались лекции, и ужаснее всего было то, что от них не отвертишься. На первом курсе медицинского факультета бездельничать не приходится.

В четверть второго появилась запыхавшаяся мадам Рувэйр и — удивительное дело! — отказалась от завтрака, чтобы поспеть в госпиталь пораньше. Даниель так и не нашелся, но говорила мадам Рувэйр только о Франсисе, о бедном Франсисе. Лиз с изумлением глядела на мать, стараясь понять причину этой внезапной нежности к почти незнакомому пасынку. Он никогда не писал им, упрямо уклоняясь от поддержания «родственных отношений». Лиз подумала о госпитале и немножко устыдилась своего обтягивающего туалета: там это одеяние артистической богемы Сен-Жермен-де-Пре могло показаться не вполне уместным. Впрочем, какое ей до этого дело? Она вовсе не собиралась туда идти, как не собиралась становиться сестрой этого типа. Обиднее всего было то, что мать даже не заметила, как она одета.

\* \* \*

Мадам Рувэйр с трогательным возгласом устремилась к парню с забинтованной головой. Оказалось, что это не Франсис, он лежал на две кровати дальше.

— Боже, как вы похудели!

Лиз чуть не фыркнула. Лица сводного брата она не помнила. Левая сторона его рубашки была чудовищно вздута, по-видимому, он лежал в гипсе.

— Имейте в виду, — хрипло сказал раненый, — я не посылал телеграммы. Ваш адрес значился здесь, чтобы сообщить в случае моей смерти, а кто-то решил услужить...

— Ну, если мы вам мешаем... — в тон ему ответила Лиз, делая движение, чтобы подняться.

Этого говорить не следовало. Мадам Рувэйр тут же захныкала, и ее нытье заняло ровно четверть часа. Она даже забыла отдать Франсису коробку шоколада, которую держала под мышкой, забыла справиться о его ране... Лиз решила скучать молча. Забавно, что этот братец так на нее похож. То же лицо, тонкое, с резкими чертами. Тот же взгляд. Он похож на хищника, вернее, на большую хищную птицу. Усталые желтые глаза и худое лицо, покрытое темным загаром. Он лежит, а она рассматривает его, как медики первого курса рассматривают оперируемую морскую свинку. Почему он раньше казался ей грубым? Сейчас он очень усталый, — он не туп, не равнодушен, он просто бесконечно устал. Может быть, от «куплетов» Мирейль? Даже страшно, до какой степени ему на них наплевать...

Наступила короткая пауза, но Мирейль сейчас же задала очередной вопрос:

— Вы столько страдали, мой бедный Франсис, это просто ужасно... Что же с вами случилось?

Франсис начал медленно рассказывать. Он говорил, как заведенный, точно повторял свою историю уже много раз или читал ее по книге. Его джип подорвался на mine на дороге Хайфон — Ханой. У него раздроблено плечо и скверные переломы левой руки. Лечат хорошо, жалоб у него нет. Хирурги в Ланессане — ну да, в ханойском госпитале — тоже оказались молодцами. Ему ничего не нужно, все в порядке...

Внезапно он посмотрел на Лиз и сказал доверчиво:

— В последнее время там было невесело. Дороги в Ханой перерезали ежедневно, приходилось их открывать. А у вьетов с каждым днем появлялись все более мощные мины. Конечно, к страху постепенно привыкаешь...

Мадам Рувэйр перебила его:

— Да-да, конечно! Ваш отец тоже знал страх...

С огромным усилием Франсис приподнялся на койке. Его правая рука поддерживала левую, сведенное судорогой лицо сморщилось. Мадам Рувэйр умолкла. Лицо Франсиса постепенно расправилось, и он сказал слабым голосом:

— Я запрещаю, вы слышите?.. Я запрещаю вам говорить со мной о нем. Он мертв, этого достаточно. Я много думал о нем, именно в связи со страхом. Хватит! Надеюсь, вы меня понимаете...

Лиз, наклонившаяся было вперед, разочарованно откинулась на спинку стула. Франсис, измученный, вытянулся. Мадам Рувэйр, опустив руки, с конфетами на коленях, свершала героическое мыслительное усилие. Франсис молчал, в его быстрых глазах еще дрожало ярость. Казалось, он тщетно стремится уйти от горьких размышлений.

— Вы вели себя очень благородно, — опять начала мадам Рувэйр, — мои подруги просили передать вам поздравления. Все спрашивают, знакомы ли вы с маршалом де Латтром?

— А им не все равно? Если уж правительство поступило с маршалом Жюэном, как с каким-то ефрейтором... Ничего, наши парни сегодня утром поддали сапогом под зад Плевену, и отлично сделали...

— Ах, вот как... — с отсутствующим видом протянула мадам Рувэйр.

— Да, сегодня утром на площади Этуаль. Об этом уже написали в газетах. Ребята из экспедиционного корпуса надавали Плевену оплеух и пинками прогнали Ланьеля!

Франсис почти кричал, с соседних кроватей раздался хохот. Франсис здоровой рукой сделал жест, словно выметал обеих женщин.

— Идите, на сегодня достаточно...

Лиз оскорбилась. Ей хотелось, чтобы он выгнал мамашу, а ее попросил остаться. Она вскочила со стула, Франсис смотрел на нее в упор.

— Я бы не сказал, что вы меня очень любите. В чем дело? Вы коммунистка?

Лиз опустила и сейчас же вскинула глаза.

— А я не сказала бы, что вы очень любезны.

— Мне нельзя утомляться. Идите, забавляйтесь с вашими экзистенциалистами. Это вам подходит больше, чем кривлянье у нас в госпитале.

Не дожидаясь матери, Лиз вылетела из палаты. Этот братец все такой же грубиян. Так ему и надо, что его ранило, — пусть он немножко умерит свое нахальство. Как будто она виновата, что его понесло во Вьетнам...

Лиз бросилась в машину и на полной скорости помчалась домой. Почему Франсис так взбесился при упоминании об отце? Что он хотел этим сказать? Что мать не имеет права говорить об отце или что он не желает о нем слышать?

Приехав, она кинулась на постель. Ей было тяжело. Она ему показалась еще хуже мамаше, этому братцу. Этому брату, с которым они так похожи! Он такой же высокомерный и презрительный. И свое презрение он обратил именно на нее!

Слезы, вероятно, облегчили бы Лиз, но плакать она не умела. Она страдала от бессильной ярости, которая оставляла ощущение непоправимого несчастья. Ее окружали те же стены, и память подсовывала ей те же унижительные картины. В мире не осталось ни капли чистоты, ни крошки любви. Вы можете выпросить, вымолить частицу нежности, впрыснуть ее себе, как наркотик, но зачем? Чего вы этим достигнете? На миг исчезнет отвращение, а потом — все та же грязь, несмываемая, повседневная. Эта грязь лежала на ней толстым слоем, как и на всем вокруг. Но почему только она замечала ее? Почему она задышалась от зловония, которого не чувствовали другие?..

У вас могут быть красивые глаза орехового цвета — они нравятся мужчинам — и длинные черные волосы, как на портретах Греко, — тоже. Вас считают за девицу, умеющую постоять за себя. А что толку? Ваш брат, ваш единственный брат, предпочитает вам вашу мамашу, которую можно назвать умной только из вежливости. И как раз тогда, когда вы этой мамаше мучительно стыдитесь...

Раздражение Лиз не спадало, одни и те же мысли кружились в адском хороводе. Она не могла ни оторваться от них, ни забыться. Отец, мать, брат, она — все они прокляты. Единственный человек, чье мнение было ей небезразлично, проклял ее. Она ничем не лучше Максима или Лавердона. Надо играть до конца: разбитой, совершенно обессиленной можно бросить губку на ринг. «Бросить губку на ринг» — это выражение Максима. А в «двадцать лет не кончают с собой» — ее слова, их она не раз говорила ему. Лиз терпеть не могла разговоров о смерти, но в этой комнате она была одна, затравленная одиночеством.

Она быстро вскочила, чтобы не поддаться оцепенению, не испытать жуткого страха. Схватила телефонную книжку. Старые друзья. Кому позвонить, кого позвать в трудную минуту? Она опустила книжку на угол орехового стола, где облупился лак. Позвать Алекса, вот сейчас, после отвратительных сцен, которые она ему устроила этой ночью? Он был так мил, так мягок, так нетребователен, с ним можно отдохнуть...

В дверь постучали. Удары были отрывистые, уверенные. Портье не звал ее к телефону. Вероятно, это мать, взбешенная тем, что она уехала одна. Наверное, закатит скандал. Можно, конечно, не открывать, притвориться, что ее нет дома, но каждое движение в этой комнате слышно в коридоре. И «Дина» стоит у подъезда...

Она отперла дверь и столкнулась с Лавердоном.

— Не ожидали, Лиз?

Лиз взглянула на него. Он казался помолодевшим, на нем был элегантный, очень светлый костюм и замшевое пальто через руку. Он бесцеремонно вошел в комнату.

— Так я убеждаю себя в том, что я свободен, Лиз. Я покупаю новый костюм...

И подумал: «И завожу девчонку».

Лиз попятилась.

— Зачем вы пришли? Что вам здесь нужно?

— Вы!

Он закрыл дверь на задвижку, бросил пальто на кровать, шагнул к ней. От неожиданности Лиз замешкалась. Тяжелые мужские руки опустились ей на плечи. Она попробовала освободиться, но рядом с этим огромным телом вдруг почувствовала себя совсем маленькой и слабой. Она перестала сопротивляться. В этой покорности была странная радость, упоение собственным бессилием.

Этот сон повторялся каждую ночь. Они шли в один ряд, в затылок друг другу. Вытянувшись в нитку, колонна ползла по узенькой плотине, которая вела к центру рисовой плантации. Потрескавшиеся, мертвые поля остались позади, в тылу у их части. Показалась вода. Сначала это были темные пятна, которые поглощались сухой, подзолистой землей. Затем стали попадаться лужи, за ними — ручейки и болотца, канавы, озера и наконец — сплошная вода, серебристая и животворная. Под тропическим солнцем сырость душила, как объятия гигантской богини. Земля и влага вздрагивали в великом слиянии, и от него трепетала жирная, черная грязь. За линией фронта, за широким разливом зеленоватой воды, еле виднелась деревушка, защищенная высокой бамбуковой изгородью.

Севернее, близ дельты, можно было наблюдать «первичное загнивание». Франсис впервые услышал это выражение во время срочной поездки в Ханой, на неожиданную конференцию у маршала де Лагтра. Тогда оно ему не запомнилось. Ему надлежало скосить в своем секторе на южной окраине низменности весь урожай риса. Он должен был отнять этот рис у вьетов. Скосить — от глагола косить, срезать при помощи косы. Для этого были мобилизованы тысячи кули, но доставить их на место не удалось. Были реквизированы материалы для устройства токов, но доставить их также не удалось. В его секторе все было сухо, урожай сожрала засуха. В подозрную трубу Франсис видел, что в расположении противника появились зеленые ростки. Они налились и зацвели, вспоенные подпольным орошением, сто раз разрушенным и сто раз восстановленным. Надо было ждать, заставляя себя ждать, пока рис созреет, а затем начать наступление, занять поля и снять с них урожай вместо хозяев. Для этой операции все было подготовлено. Франсис через силу принуждал себя выполнять указания типов, засевавших в канцеляриях. Не к лицу солдату заниматься такими делами. Он чувствовал себя грабителем, таможенным досмотрщиком и презирал себя. Но что он мог сделать? Ему приказывали. Надо было побить вьетов голодом, раз не удавалось расправиться с ними иначе. Накануне дня, назначенного для наступления, случилось чудо: даже без бинокля, простым глазом было видно, что вдаль уходят бесконечные, пустые, свежескошенные поля. За одну ночь вьеты успели снять весь урожай. Где набрали они столько мужчин, женщин, мальчишек? Как можно было за несколько часов обработать такую огромную площадь? Невероятный, муравьиный успех противника вывел их из себя. Франсис позвонил в штаб и получил приказ атаковать. Наличного состава его отряда было явно недостаточно, ему обещали все виды подкрепления и сверх того батальон парашютистов. Командир батальона, старый офицер колониальных войск, должен был руководить операцией. Господин подполковник приземлился к вечеру. Это был весьма уравновешенный человек, похожий на профессионального регбиста. «Возмещение убытков? Дело знакомое...» Подполковник гнусавил вследствие неприятного ранения в лицо, заработанного при очистке Константины от мятежников.

Это случилось в сорок пятом, как раз в дни празднования победы над Гитлером. «Были же дураки, которые в нее верили, в эту победу!..» У Франсиса нашлось хорошее вино, и перед атакой подполковник расцвел и разговорился.

Потом ассиметричное, опаленное солнцем, изуродованное шрамом лицо преследовало Франсиса в его повторяющихся снах. Пересохшие, потрескавшиеся от жары поля сменялись и закрывались этим лицом, точно наплывом при киносъемке. Лицо, как и поля, казалось мертвым, и лишь на мгновение в глазах вспыхивали искры жизни. В этом было что-то нелепое, предостерегающее, как бы твердящее ему: «Не верь! Это только сон!»

Огромное красное солнце клонилось к закату, и фигуры солдат сразу стали черными. Они

были похожи на силуэты, которые рисуют на лакированных подносах. Вокруг деревенской площади, пустынной и рыжей, стояли выпотрошенные соломенные хижины. К привычным запахам примешивался острый запах дыма. Они опоздали, вьеты успели испариться. Возбужденные солдаты бегают среди хижин. Франсис отстранился от командования, распоряжается подполковник, он приказывает все сжечь. Одна хижина сделана из бревен, она не хочет загораться. Небогатый, чистенький домик. Франсис входит туда и замечает тень, мелькнувшую в углу. Он стреляет. Тень с воплем выпрямляется, падает и вытягивается на полу в луче заходящего солнца. Это подросток, почти мальчик. В глазах его безмерный ужас. На полу растекается большое пятно, оно еще краснее, чем солнце.

— Жжем, мой лейтенант?

Это сержант Бордей с факелом в руке. Франсис делает утвердительный жест. Подросток лежит неподвижно, кровь течет по животу, худая грудь прерывисто дышит. Загоревшаяся крыша трещит, в хижину врывается дым. Франсис целится ему в голову и стреляет раз, другой, третий. Затем выходит наружу.

— Это была девчонка? — спрашивает Бордей. Франсис не отвечает. Какой смысл отвечать, что это была не девчонка, а мальчишка? Глупо. В глазах у мальчишки не было удивления, он с самого начала знал, что его убьют. В них не было ни мольбы, ни даже ненависти. Вот это и было страшнее всего. Мальчишка не ждал ничего другого. Он знал. Почему Франсис не может этого забыть? Почему, с тех пор как его ранили, это повторяется в его снах с поразительной точностью? Мальчишка был не первым, кого он прикончил, и деревня не первой, которую он жег. Он уже успел сделать немало непоправимого. Тогда он ничуть не переживал — война есть война. Раз воюешь — приходится убивать. Раз парень спрятался, а не ушел со своими — значит, он воевал. Тогда вопрос сержанта лишь на миг смутил Франсиса. Но почему он не может забыть этого? Ведь и Бордей давно мертв, его убили при очистке сектора РЦ-6.

Конечно, самым ужасным было то, что парень знал наперед, что его убьют. А Франсис почувствовал себя в ловушке, выхода не было. В этой войне прикончить раненого было самым обыкновенным делом. Особенно, когда партизаны рядом... Партизаны... Это слово причиняло ему, боль, как и всем старым солдатам. Давно ли они сами были партизанами и гнали бошей из Франции? Как можно теперь называть этим святым словом туземных противников Бао-Дая? Назвать их «милиционерами» было бы также неправильно, потому что многие среди них мобилизованы насильно. Нет, эти слова не подходили, они сталкивались в его мозгу и отскакивали друг от друга.

Беспокойство охватило его, когда он приехал во Францию на похороны отца. При желании он мог в следующем же году вернуться на родину. Он поступил наоборот: вернулся в Тонкин и сам себе отрезал путь к отступлению. Когда Рувэйр-отец стал начальником полиции, Франсис дрался с немцами и вишистами в маки. После Освобождения он попал в Первую французскую армию, и в ее рядах вступил в побежденную Германию Гитлера. Справедливость восторжествовала, одержанная победа окрасила мир в иные краски, все дороги были открыты его молодости. Тогда Франсис мало думал, ему и в голову не приходило, что он восставал против того лагеря, в котором сражался его отец. Он хотел на деле доказать свою силу и правильность избранного пути. Франсис поступил в офицерскую школу и сам выбрал Индокитай, где производство шло очень быстро. В регулярной армии посмеивались над самодельными офицерами войск Сопротивления. Он хотел показать всем, что из них получают настоящие офицеры.

Так Франсис стал бойцом, боевой машиной высокого класса. В другое время он окончил бы Сен-Сир, как его дед, полковник, погибший в Сирии в 1923 году, пятидесяти лет от роду. Франсис пошел в маки против воли отца — отчасти потому что отец его был недостойным



отпрыском рода Рувэйров. С Великой революции он был первым Рувэйром, уклонившимся от военной карьеры. Франсис решил взять реванш за отца.

Все его предки были военными. Один пал в Крыму в 1854 году, другой погиб на Мадагаскаре. Рувэйры участвовали во всех колониальных войнах... Когда Франсис вернулся на родину, в 1949 году, там поднималась волна забастовок. Отца похоронили втихую, словно хотели отмахнуться от досадной помехи. В Индокитае Франсис привык сражаться бок о бок с бывшими эсэсовцами, он считал, что ни честь, ни знамя от этого не страдают. Приходилось использовать побежденных, вот и все. Их не прятали, перед ними не заискивали. Оказавшись в Париже, Франсис перестал что-либо понимать. Встретив товарища по маки, Франсис насмерть разругался с ним. Тот не посмел назвать войну в Индокитае «грязной», но было ясно, что он так думает. Он вовсе не был коммунистом, он был католик из левых, и только. И все же он сказал: «Все вы там преступники!» Никто не приходил в восторг от того, что Франсис сражается в Индокитае. Он вернулся туда полный ярости и отвращения. Родина загнивает. Все надежды рухнули. В 26 лет он был лейтенантом, что было не так уж плохо, если начинаешь с рядового. Однако в Париже и в Ханое он не встретил почета, а лишь косые взгляды. Причины этих взглядов были различны, но суть дела от этого не менялась. Он не мог привыкнуть к штатской жизни.

Франсису удалось устроиться так, чтобы остаться в Индокитае. По его просьбе, его перевели в десантные войска, и он окончил школу парашютистов так же успешно, как и школу офицеров. Вскоре Франсиса должны были произвести в капитаны. С этого все и началось.

Сначала раздражение, потому что не приходила победа; гнев после Као-Банга, смятение после Черной реки. Когда командующим был назначен маршал де Латтр, Франсис говорил всем и каждому: «Теперь дело пойдет. Я его знаю, я видел, как он работает. Мы все видели переход Рейна и Штутгарт. Он — единственный настоящий, без дураков...» И действительно, многое переменилось. Как-то на смотре в Ханое де Латтр узнал Франсиса и сказал ему: «Я здесь ради таких, как вы. Не ради полковников, а ради вас я принял это назначение...»

Как только де Латтр погиб, все развалилось хуже прежнего. Теперь Франсис понимал, что первые симптомы крушения ощущались еще при де Латтре, и воспринял это как личное поражение. Он больше ни во что не верил. Его перебрасывали с одного поста на другой, и всюду он видел, что враг становится сильнее день ото дня. Не хватало продовольствия и боеприпасов, шагреневая кожа угрожающе сжималась, гибли товарищи, лагеря для военнопленных были набиты безответными кули. И всюду американцы, свеженькие, насмешливые, ничуть не усталые. Их раздражали благие советы, иногда, чтобы убить время, они поучали французов искусству политической пропаганды. Они готовились подхватить падающий плод и во все горло ругали неумелость и низкие боевые качества туземных войск. Они были хозяевами, которым в равной мере было наплевать и на боевую славу французов, и на императора Бао-Дая.

Последний пост Франсиса находился в самом центре Аннама. Единственное, что он мог там делать, — это мешать вьетнамским сборщикам взыскивать подати, как в свое время они мешали вишистским контролерам. Впрочем, нет, сравнение было неудачным, оно было подсказано чувством собственного бессилия. Вернее было бы сказать, что он со своим специальным отрядом боролся против вьетнамских бойцов из маки. Примерно так же немецкие части когда-то пытались препятствовать снабжению партизанских отрядов Соппротивления. Здесь, в Аннаме, вокруг французов тоже вилась туча добровольных шпионов и осведомителей, как вокруг бошей во Франции. Даже девок в солдатских борделях приходилось опасаться. Надежна была одна только хозяйка, в свое время выдавшая жандармам вьетнамского комиссара...

И вот Франсис возвращался побежденным. Но не так, как возвращались другие,

проигравшие только сражение. Он проиграл гораздо больше, он потерял все: свои надежды, свою молодость, свое здоровье. Он пошел воевать, чтобы силой и мужеством подняться до своего деда, до предков-героев. Надо было опровергнуть отца, искупить его вину, вернуть себе право на гордость и честолюбие. Надо было вернуть жизни смысл. А теперь он еще более, чем прежде, достоин презрения, искалечен, как и отец, в безумной и уродливой бойне. Он стал неудачником, неспособным даже прилично жить своим трудом. В армию он больше не верил, да и что могла дать ему армия? Место чинуши в какой-нибудь паршивой канцелярии. А в перспективе — отставка в чине майора. Плечо никогда не срастется. Болотная лихорадка сгубила печень, до гробовой доски он обречен на строжайшую диету. В свои 32 года он — развалина. Дух сломлен, морали нет. Эти штучки с моралью известны, они вроде ампутации.

Мораль не отрастает заново. Конечно, можно делать вид, что это не так, но такими фокусами и галерку не обманешь. И выбросить из головы это нельзя. В свое время он немало посмеялся над любителями ломать голову над неразрешимыми проблемами. Они кончали тем, что свою тоску и недоумение принимались заливать вином. Но ему-то война была по вкусу, и он готов был начать все сначала. Перейдя в десантные войска, он даже жалел, что слишком стар, и завидовал тем, кто помоложе...

Мадам Рувэйр приходила к нему каждый день. Она рассказывала ему о парне, бывшем дарнановце, который ее очень интересовал. Франсис слушал болтовню мачехи, словно она могла указать ему путь. Он хранил свои тайны и боялся прихода ночи. Он больше не говорил мадам Рувэйр, что она ему надоела, и не спрашивал врачей о своем состоянии, хотя чувствовал себя заметно лучше. Ему разрешили вставать и даже совершать небольшие прогулки.

Как-то раз мадам Рувэйр не пришла. Франсис сразу показался себе еще более несчастным, одиноким и покинутым. Он уже успел привыкнуть к мачехе, к ее болтовне, которую можно было слушать в пол-уха. Дела под Дьен-Бьен-Фу шли все хуже. Все чаще приходилось подолгу спорить с соседями, а споры обостряли тоску. С ребятами, что там воевали, было кончено, их попросту принесли в жертву, а спрашивается: для чего? Однако все знали, что это так. Франсис возражал по той же причине, по которой не хотел возвращаться во Францию: не было иного выхода. Лейтенант-парашютист из его палаты накричал на него. Это не победа вьетов, это предательство коммунистов, удар в спину и прочее. Разозлившись, Франсис заорал: «Да не вьеты меня так отделили, я сам!..» Его не поняли. У него было слишком много пальмовых ветвей на военном кресте, чтобы его можно было принять за самострела или считать, что он схлопотал себе ранение, чтобы вернуться на родину. Франсис постарался заставить понять себя, но чем больше он говорил, тем яснее ему становилось, что никто его не понимает. Все соглашались только в одном: война бессмысленна, она ни к чему не ведет. Они тщетно пытались поверить в чудеса, которые защитили бы их от дурных известий. Один тип из армейской кинослужбы, плохо поправлявшийся после ампутации руки, называл это занятие «писать статьи по-парижски». Сюда входили все сплетни и рассказы, истории, разведенные на розовой водичке, радиопередачи о красивой жизни и грусть об эротических снах.

Люди отрезвели. Достаточно было одной фальшивой детали, чтобы мозг их перестал воспаляться.

Франсис сегодня пал еще ниже. Он чувствовал себя побежденным. Без надежды на прощение и на убежище.

Мадам Рувэйр появилась на следующий день, с заплаканными глазами и опухшим лицом. Ее субъект, оказывается, живет с Лиз. Теперь только Франсис узнал, что этот дарнановец был любовником мачехи. Он не мог без отвращения смотреть на нее и попросил прислать к нему Лиз. Та тоже, конечно, дрянь, но хоть молодая. Ей можно найти какое-то оправдание...

Жизнь принесла Даниелю Лавердону жестокое потрясение.

Пожалуй, потрясение можно было назвать даже душевным, как он сам определял его впоследствии. Правда, мысленно произнося это, он презирал себя; будь у него чувство юмора, слово «душевное», возможно, показалось бы ему смешным и нелепым, и тем не менее потрясение было. Оно было мгновенным и, наверно, именно поэтому казалось особенно сильным. Кто знает? Быть может, если бы обстоятельства усугубили это потрясение, оно повлекло бы за собой цепную реакцию, которая полностью изменила бы течение жизни Даниеля. Однако обстоятельства, да и сама жизнь сделали обратное: они смягчили, амортизировали потрясение, сгладили его. Вскоре от него остались лишь странное чувство растерянности, легкая слабость и нерешительность, досадная и уродливая.

И все же непроницаемая броня, прикрывавшая душу Даниеля, панцирь, служивший ему всю жизнь, внезапно упал, оставив Даниеля нагим и беззащитным. Это случилось в тот день, в комнате Лиз.

Это граничило с чудом. Хищный зверь, живший в Даниеле, вдруг затих, и ему стала доступна нежность.

Огонь, загоревшийся в глазах Лиз, перекинулся на него. Его подхватила и понесла незнакомая волна гордой щедрости, самоотверженной радости. Он прикоснулся к юному телу, и его тело начало дышать по-новому. Это была весна, не зависящая от его воли, огромное, необжигающее, ласковое солнце. Эта девочка расцветала в его объятиях, и он был восхищен. Он чувствовал себя беззащитным, ослепленным светлой нежностью, возникшей между ними. Впервые человеческое существо жило для него за пределами его «я». Он открыл великую радость получать и давать. Стремление схватить и унести исчезло бесследно.

Это были мгновения полного слияния, когда свершается невозможное: теплое, бесконечное море, лучезарное и ласковое, баюкало и обмывало его. Возникало то редкое равновесие, при котором проступает наружу красота, разлитая в мире.

Лиз, как и Даниель, не сумела найти слов, которые помогли бы ей разобраться в происшедшем. Это был неожиданный дар судьбы. Склонная к самоанализу, Лиз и не подозревала, что может так загореться. Освобожденная и обновленная, она погрузилась в спокойный экстаз, всем существом наслаждаясь ощущением блаженства. Она уже не помнила отвращения, которое когда-то внушал ей Даниель. Она забыла, что отдалась ему от злости и желая наказать себя. Ей было хорошо, вот и все.

И Даниель забыл свои мысли о мести, о том, как хотел обуздать и покорить эту девчонку, издевавшуюся над ним. Он даже начал думать о том, что напортил в своей жизни, об утраченном покое, который, оказывается, можно вернуть. Он старался продлить впечатление прозрачности мира. Они уехали под вечер и ехали, пока не оборвалась Западная автострада. Они не знали, где находятся. В каком-то лесу набрали на какую-то харчевню, хозяин уже собирался ее запирать. Они кинулись туда. Утром их разбудило великолепное апрельское солнце.

Все это было так чудесно, что Даниель забыл свою прошлую жизнь, забыл и о свидании с Лэнгаром. Лиз улыбалась, сама того не замечая. Впервые она не думала о своей красоте и поэтому никогда еще не была такой красивой. На старинных деревенских часах пробило девять.

Они завтракали в общей комнате харчевни, увешанной охотничьими трофеями. Лиз сидела спиной к двери. Она услышала тяжелые шаги и увидела злобную улыбку, исказившую лицо Даниеля. Подсознательно она поняла, что очарование нарушено.

Вошел жандарм, один из тех, что арестовывали Даниеля в день его поездки с Дорой.

На обратном пути они не обменялись ни единым словом. По автостраде Лиз вела машину рискованно, как в худшие дни своей жизни, когда искала смерти. Из слов жандарма она уяснила только одно: Даниель имел обыкновение привозить своих любовниц в эту харчевню. Она считала, что уголок найден специально для нее, а оказалось, что к нему ведет дорожка, протоптанная прежними беспутствами. Она попала, как дура. Лиз немедленно вернулась к роли роковой женщины. Даниель был взбешен — опять все летит к черту. И только потому, что он позволил себе размякнуть возле этой девчонки. Дора, Джо, Лэнгар с Бебе — от них не уйти. Глупо верить женщине. Он возвращался к прежней жизни, обогащенной новым уроком: нельзя поддаваться голубым мечтам. Они опасны, ибо никогда не знаешь, куда они тебя приведут. Рядом с женщиной мужчина всегда глупеет.

Лиз затормозила возле Сен-Жермен-де-Пре.

— Значит, до вечера, — уверенно сказал Даниель, выходя из машины. Ответа Лиз он не счел нужным дожидаться.

Лэнгар ожидал его, сидя на террасе. Он начал с того, что Бебе полностью изменил курс. Не то чтобы он предал Даниеля, но, во всяком случае, и не помог ему ничем. Он, Лэнгар, сейчас связан с вновь созданными германскими специальными органами. Прошлые заслуги, бесспорно, обеспечат Даниелю уважение в этих кругах. Если Даниель согласится, ему будут поручать интересные задания, как раз те рискованные штуки, которые он так любит. Денег у него будет сколько угодно, и получит он их немедленно. Кроме того, Даниель сможет остаться во Франции. Если дело несчастного старьевщика обернется плохо, Лэнгара предупредят своевременно. Не надо упускать из виду, что сразу после создания Европейской Армии организация, с которой он связан, колоссально развернется, станет всемогущей.

— Представь себе: все полиции Европы в мирное время будут легально подчинены штабу СС...

Лэнгар повторил смачно, по слогам:

— Будут под-чи-не-ны эсэсовскому руководству, понимаешь?

Заметив, что сгоряча обратился к Даниелю на ты, Лэнгар прервал поток своих сладостных обещаний. Подумав, однако, он решил, что его авторитет не пострадает от некоторой фамильярности. К тому же этот геркулес не казался мелочным. Даниель задумчиво глядел в пространство. Наступившее молчание вернуло его к действительности. Он извинился улыбкой, превратившей его рот в узкий розовый шрам.

— А как же быть с Жюэном? — спросил он нерешительно. — И потом Плевену набили морду на площади Этуаль. По-видимому, с Европейской Армией не все идет гладко.

— Брось. Все идет как по маслу. Конечно, Плевена жалко, он смелый, хороший парень. Но, поскольку провал в Женеве неизбежен, можешь считать, что пакт о Европейской Армии у нас в кармане.

— Почему же тогда Бебе вышел из игры? Он всегда все знает...

Лэнгар пояснил тоном вельможи, говорящего о ростовщике, которому он должен:

— Бебе заинтересован в делах, которые новая Германия поставит под угрозу. Понятно, что он переметнулся в другой лагерь.

— Надеюсь, не настолько, чтобы снюхаться с коммунистами?

— Во всяком случае, он работает им на пользу. Как союзники, когда они высадились во Франции...

— Ну и ну... — протянул ничего не понявший Даниель. — Но ведь он был со мной в тот вечер...

От удивления Лэнгар заморгал, но быстро оправился и сказал своим командирским голосом:

— Такая топографическая точность для нас не обязательна.

Затем он снова заговорил фамильярно:

— Понимаешь, заплати он тебе за то, чтобы убрать Джо, ты бы отказался. Быть убийцей на жалованье — ремесло не для тебя. Поэтому Бебе оформил дело по-другому.

Лэнгар терпеливо дожидался, чтобы его мысль добралась до мозга Даниеля. Он сидел с надменным, самодовольным видом. Наконец он прервал молчание и сказал медленно, отчеканивая каждый слог:

— А ре-зультат получился тот же. В точ-но-сти.

— Джо?

— Стоил недорого, но был нам верен. Таким образом Бебе хотел тебя обезвредить. Ты вычеркнул Джо из игры. А мы включаем в игру тебя...

Лэнгар щелкнул большим и указательным пальцами, как в тот вечер, когда они встретились впервые в Бургундии. По спине Даниеля снова пробежал холодок, Лэнгар говорил вслух то, о чем Даниель думал. Лэнгар небрежно приказывал, и люди убивали. Нет, этого пренебрежительного щелчка по отношению к себе Даниель не допустит. Пусть Лэнгар командует, но руководить операциями Даниель должен сам, это ясно...

Лэнгар смотрел на него, силясь сообразить, как подействовали его слова. Он ничего не увидел, Даниель был невозмутим. Теперь он разгадал игру того сыщика, приятеля Лэнгара, и понял, чего от него хотели, почему его не освобождали сразу. Ему следовало поставить здоровенную свечу за здоровье Рагесса. Даниель промолчал, козыри надо было беречь.

Лэнгар доверчиво наклонился к нему, и Даниель заметил, что его новый патрон мал ростом; чтобы услышать шепот Лэнгара, ему пришлось согнуться чуть не пополам. Они решили, что Даниель отправится говорить с Бебе. Ликвидируя свои старые дела. Бебе предусмотрел все. Он забыл лишь об одной ниточке, за которую можно было уцепиться, — участие в устранении Джо, сообщничество в убийстве. Лэнгар считал, что эту возможность надо пустить в ход немедленно. Пусть это будет для Даниеля первым поручением. Только тут Даниель понял, что завербован. Он посмотрел на Лэнгара и пожал плечами. Пользоваться правом сильного — это все равно что быть педерастом: приходится откупаться, чтобы вас оставили в покое. Впрочем, выбора у него не было, и Лэнгар это знал. Панцирь на Даниеле был отремонтирован заново, щелей на нем теперь не будет никогда. Бебе, друг, предал его. Лиз, которую он полюбил, насмеялась над ним. Даниель задумался, затем его тонкие губы растянулись. Лэнгар счел эту улыбку знаком согласия, но Даниель думал о другом. В его голове вертелась странная мысль: он сумел полюбить, он полюбил женщину. Эта мысль уплывала, растворялась в тумане, постепенно превращалась в сон, в который трудно поверить... Во всяком случае, больше она не мешала ему.

\* \* \*

Лиз решила окончательно впасть в цинизм. Она распустилась, потеряла контроль над собой — и вот пожинаяет горчайшее крушение иллюзий. Падать с высот голубой мечты неприятно и смешно. Она решила выпустить когти и отыгаться на Даниеле. Она и не подозревала, что ее ожидает.

Однако Даниель разбил ее планы. Весь вечер он не подавал признаков жизни. После двух часов ожидания Лиз, разозленная, вышла, твердо решив не возвращаться домой до утра. Ее твердости хватило минут на пятнадцать. Она попыталась попасть в кино, но сеанс уже кончался. В полночь она вернулась за машиной и поехала в город. Через час она в ярости

поняла, что скучает. Выхода не было, оставалось либо возвращаться в отель, либо ехать к Максиму. Даниель заполнил ее жизнь, это было невыносимо. Она решила ехать в отель, принять снотворное и лечь спать.

В дежурке на доске ключа от ее комнаты не оказалось.

Портье проснулся и проворчал:

— Вас дожидается брат.

Лиз подумала о Франсисе и помчалась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Наверное, он удрал из госпиталя... Дверь была приоткрыта, из нее просачивался слабый свет. Она вошла и увидела ухмылявшегося Даниеля. Лиз хотела было его выставить, но Даниель привез огромную охапку роз. Он протянул ей футляр, в котором блестело тонкое золотое ожерелье.

\* \* \*

Даниель решил сделать из Лиз покорную рабу. На следующий день он поручил ей найти и снять квартиру. Лэнгар заплатит, поэтому он сказал Лиз, чтобы она не скупилась. Он хотел ухватить ее покрепче. Проще всего, конечно, было бы снять квартиру на ее имя. Но это было бы слишком уж просто, Даниель замыслил скомпрометировать Лиз более сложным способом. Пока что он решил удвоить любезность, быть с ней предельно милым. В свое время это окупится.

Пока Даниель жил в маленьком отеле на улице Асса, указанном ему Лэнгаром. Отель был скромным на вид, но вполне комфортабельным. Содержал его верный человек. Сюда, в комнату Даниеля, должна была прийти Лиз во второй половине дня. Даниель вспомнил о магазине в предместье Сент-Онорэ, куда его когда-то затащила Дора. Там торговали вещами, вполне подходящими для изысканного вкуса Лиз, и Даниель отправился туда немедленно.

Вечером, за обедом, он подарил Лиз золотые часы-браслет, как раз такие, какие ей хотелось. Они были малы и изящны, однако в контурах корпуса было что-то твердое, мужское. Даниель был первым мужчиной, делавшим Лиз подарки. Сама не понимая почему, она почувствовала себя польщенной. Она радовалась еще и потому, что без труда могла делать вид, будто привыкла к подаркам.

Они обедали на Елисейских полях. Чтобы позлить Даниеля, Лиз принялась рассказывать о Максиме. Затем как только могла забавно описала Даниелю их недавнюю поездку на юг. Даниель расспрашивал Лиз обо всех подробностях карточного проигрыша, а затем увел ее танцевать.

На следующий день он попросил Лиз отвести его в кафе, где обычно заседал со своими приятелями Максим. Лиз сразу согласилась: ей представлялась возможность испробовать себя в роли «гранд-кокет».

Маленький бар, скорее похожий на коридор, помещался на улице Севр, сразу за бульваром Распай. Хотя коньяк там был прескверный, Максим свил гнездо в этом заведении, где, по его словам, можно было избежать толкучки Сен-Жермен-де-Пре. Его стремление уединиться стало еще острее после письма от фирмы «Галлимар». Издатели с сожалением сообщали, что, поскольку план издания стихов на ближайшие месяцы утвержден... Максим получит свою рукопись заказной бандеролью.

Входя в этот закуток, Даниель почувствовал себя слишком большим. Зато барменша была совсем недурна. Огибая длинную стойку, Даниель посмотрел на нее очень внимательно и остался доволен ответным взглядом. Стоило поглядеть, какую мину скроила Лиз. За столиками

скупало несколько пожилых людей, а в глубине зала страстно спорили двое юношей. Один из них, худой, сутуловатый, грустный на вид, выслушивал тираду собеседника, коренастого парня с бычьей шеей и лицом капризного ребенка, одновременно безвольным и сердитым. По рассказам Лиз Даниель представлял Максима хрупким. Когда их познакомили и Даниель обнаружил свою ошибку, ему стало досадно.

— Мсье пишет? — спросил Максим.

— Нет, — сказала Лиз. — Мсье богат, он живет на ренту. Ведь так, Даниель?

— Вот видишь, Алекс, — хихикнул Максим, поворачиваясь к приятелю. — Трехпроцентный заем 1920 года, гарантированный правительством, — самое святое дело. А мы тут говорим о статье Арагона по поводу сонета. Алекс по обыкновению верит всему. Ты, Лиз, вероятно, согласишься со мной. Я считаю, надо воскресить истинный дух сюрреализма, собрать всех поэтов и устроить демонстрацию перед Оперой...

— Причем здесь Опера? — спросила Лиз — просто так, только для того, чтобы перебить Максима.

— Здание Оперы — символ интеллектуальной всеядности. Перед ним мы сожжем весь тираж «Леттр Франсэз». Ваше мнение, господин рантье?

Даниель напряженно вспоминал: где-то он уже слышал что-то относительно «Леттр Франсэз». Подошел гарсон, и он, не торопясь, обратился к нему, выгадывая время.

— Два шотландских!

Затем он повернулся к Максиму и Алексу, продолжая мучительно соображать. «Леттр Франсэз»? Где же, черт возьми, он слышал это название?.. Гарсон все еще торчал перед ними.

— У нас нет виски, мсье.

— Тогда две бутылки минеральной воды. Я хоть буду спокоен за качество вашего товара!

Ага, вспомнил. В день выхода из тюрьмы афиша на стене и оборванец, играющий на аккордеоне из сложенных газет... Остальные смеялись над его ответом лакею.

— Итак, господин рантье? — снова начал Максим.

— Я человек серьезный. Типов, стряпающих такие газетенки, следует вешать. Постепенно мы к этому придем.

— А видели вы хоть одного повешенного? — насмешливо оскалился Максим.

Даниель посмотрел на него.

— Это совсем не смешно! — жалобно произнесла Лиз, не ожидавшая, что беседа примет такой оборот.

— Я сам вешал, — сказал Даниель.

— Вот как! Значит, мсье — палач на пенсии...

Даниель засмеялся и посмотрел на Максима.

— Вы и не подозреваете, что попали в точку. Спросите-ка у Лиз. — Он подождал, пока все замолчали. — Я даже немного занимался этим в тюрьме. Четыре года. Там уже не было ничего интересного. А вот перед войной у тех, кто работал до меня, были другие возможности. К ним приводили подследственных или тех, кто, по мнению надзирателей, заслуживал карцера. Нужно было заставить их признаться. И, как вы думаете, чем они пользовались? Смирительной рубашкой, обыкновенной смирительной рубашкой для буйнопомешанных. Это удивительная штука. Сквозь воротник пропускается шнурок толщиной в мизинец. Концы шнурка забрасывают на спину и туго привязывают к кистям нашего человечка. Если он поднимает руки — он сам себя душит. Если опускает — стискивает себе грудную клетку и тоже погибает от удушья...

— Какая мерзость! — закричал Алекс.

— Этот способ, мой маленький друг, применялся во всех тюрьмах Республики на

протяжении десятилетий. Он похуже виселиц. Иногда смерть наступает лишь на вторые сутки.

— А вы сами это делали? — спросил Максим.

— Делал для интереса, чтобы посмотреть.

— Колоссальное ощущение, да?

Даниель смотрел на Максима до тех пор, пока тот не смутился. Затем он сказал вполголоса:

— Но я делал это не только из любопытства. Иногда нам приходилось торопиться. Впрочем, подробности вас не касаются.

Алекс встал, нервно собрал свои вещи и вышел. Даниель перевел разговор на теорию полос, закономерностей выигрышей и проигрышей в азартных играх. Лиз стала проситься домой, но Даниель сначала добился того, что Максим поведал ему о своих затруднениях, связанных с проигрышем и долгом. Даниель удостоверился, что у Максима не было решительно никакой возможности уплатить, что через несколько дней кредиторы возьмут его за горло. Тогда Даниель спокойно покинул его и увел Лиз. Уходя, он швырнул барменше королевские чаевые. Он собирался еще зайти в этот кабак и хотел оставить о себе добрую память.



Сцена с Мирейль не значилась в программе Даниеля. Повидаться с Бебе сразу, как того хотел Лэнгар, ему не удалось. Бебе в тот самый день, когда Даниеля выпустили из Сюрте, снова улетел в Сайгон, поразив всех своей стремительностью. Обратного ждали через два дня. Узнав об этом, Лэнгар разрушил иллюзии Даниеля: Бебе умел аккуратно подчищать свои дела. Загнать его в угол будет непросто. Тем не менее Даниель обратился к секретарю на улице Фридланд и попросил, как незнакомый, о приеме, когда Бебе вернется в Париж.

Чудесным апрельским утром Бебе принял Даниеля. В широко раскрытые окна вливался солнечный свет и золотой скатертью расстился по кабинету. Бебе был в халате, его бронзовое лицо сияло здоровьем и силой, он процветал. Бебе встретил Даниеля с сердечностью министра, совершающего предвыборную поездку. Почувствовав холодок, он переменял тон.

— Ты сердишься, что тебя не выпустили сразу? А зачем ты так избил его? Я же просил тебя быть осторожным... А теперь ты ворчишь из-за того, что тебе предложили ехать в Индокитай. По-моему, это и сейчас наилучшее решение. Если Лэнгар говорит иное, то лишь потому, что сам имеет на тебя виды. Ему нужны хорошие агенты. А я хотел избавить тебя от нищеты.

— Лэнгар сказал, что ты бросил все к чертям.

— Спасибо за откровенность, Даниель. С его точки зрения, это верно. Но все они дураки, они надеются, как побежденные генералы, возобновить проигранную войну. А я воспринимаю вещи такими, как они есть. Я разделался с Индокитаем и начинаю крупные дела в Китае. Индокитай — сейчас тоже проигранное дело, в стадии ликвидации. Посмотри, как трудно приходится в Женеве мистру Фостеру Даллесу. В Индокитае еще кое-что осталось, но это недолговечно. А Китай — превосходная коммерция на десятки лет. Больше мне и не нужно. Я не собираюсь сидеть здесь всю жизнь в ожидании потопа. Прибавлю, что с Китаем надо поторапливаться, иначе все заграбастают англичане. Пока что я с ними договорился, и это лучшее, что я мог сделать. Да, я знаю, что тебе на это наплевать. Но ты не прав.

— Лэнгар хотел повидать тебя...

— Ах вот как! Ты бы меня предупредил. Оказывается, со мной говорит не Даниель, мой старый товарищ, а посланник мсье Лэнгара, полковника Лэнгара. Конечно, ты рассказал ему, что я был с тобой в тот вечер, когда ты прикончил Джо. Поздравляю, ты это здорово придумал! Теперь ты гордишься собой, Лэнгар убедил тебя, что я буду кроток, как ягненок. Так вот, я скажу тебе правду. Действительно, я натравил тебя на Джо, он был сукин сын и человек Лэнгара. Пока у меня с Лэнгаром были дела, плевать я хотел на его шпиона, он был вроде заложника. Но потом я узнал, что Джо подбирает ключи к тебе. Он знал твое прошлое и пытался установить связь с Метивье — ты, конечно, помнишь мадемуазель Метивье, — чтобы держать тебя в руках. И тогда я подтолкнул тебя — чуть-чуть, одним пальцем, — чтобы ты понял.

— А Дора?

— Когда я встретил ее в Сайгоне, у нее был покровитель, как принято выражаться в таких случаях. Это был мой подручный, мсье Джо. Я купил ее у него, но это ничего не значило. Она могла послушаться мсье Джо, если бы он сумел действовать достаточно убедительно. Теперь ты понимаешь, что произошло в харчевне «Двух зайцев»?

Даниель только покраснел, но Филипп слишком хорошо знал его: ему было ясно, что Даниель приходит в опасное состояние холодной ярости. Надо было кончать. Он положил руки в карманы халата и подошел к Даниелю вплотную, развязный и презрительный. В эту минуту Даниель казался ему просто дураком. Черты его потолстевшего, обрюзгшего лица были словно стерты невидимой резинкой.

— Запомни хорошенько, что я скажу тебе, Даниель. Я только что приехал в отпуск из Индокитая, когда прочел в газетах о твоём аресте. Я заплатил — и из твоего досье было изъято самое опасное. Я привлек влиятельных людей, которые были рады случаю оказать мне услугу. Знаешь, почему я это сделал? Мне было жаль тебя, и я не хотел, чтобы говорили, что Бебе бросает в беде друзей. Кроме того, я хотел показать всем, что не боюсь своего прошлого; ведь, если бы тебя расстреляли, оно умерло бы вместе с тобой. Кто, кроме тебя, знал о наших прежних делах? Никто! Подумай об этом. В то августовское утро, когда мы расстались с тобой, я понял, что все вы — пустяковые ребята. Когда вы кинулись меня искать, мне ничего не стоило пришить тебя: ты знаешь, как я стреляю из автомата... Так вот, материалы, изъятые из твоего досье, не погибли, они в сохранности. С другой стороны, мне известно, что на днях будет расстреляно несколько типов из гестапо, взятых по делу на улице Помп. Я знаю, что в данном случае ты ни при чем. Но я хочу, чтобы ты понял: и сейчас еще расстреливают «за измену», за «сотрудничество с врагом». У нас слишком много людей, которые не хотят новой оккупации. Поэтому, будь я на твоём месте, я постарался бы скрыться и сидеть тихо, чтобы обо мне забыли. По-моему, я сказал тебе все, что следовало сказать. Да, вот еще что: я договорился с англичанами, и пусть Лэнгар нервничает, сколько ему угодно. Я сделал это вполне официально и, если потребуется, пойду гораздо дальше. Я поеду в Пекин или в Москву. Я буду работать с ними, так и знай.

Поэтому тебе лучше всего забыть то место, где мы встретились, когда ты вернулся в Париж... Бебе больше не существует, мой дорогой Лавердон. Помни об этом.

Взглядом Бебе указывал на дверь. Позднее, вспоминая эту сцену, Даниель не раз спрашивал себя: не навел ли его Бебе на папашу Гаво, как месяцем раньше навел на Джо? В тот момент он был не способен определить долю блефа в словах Бебе. Он отыгрался, как мог: завтракая с Мирейль, во всех подробностях рассказал ей, как славно провел время с Лиз.

\* \* \*

Мирейль ничего не сказала дочери: после встречи с Франсисом в ней заговорило чувство собственного достоинства. Кроме того, у нее мелькнула мысль, что она сумеет взять верх и рано или поздно Даниель достанется ей.

Лиз заметила только, что мать перестала называть ее Лизетт. Приглашение посетить Франсиса она приняла с удовольствием, он был ей нужен, как союзник против Даниеля. Героизм брата казался ей подходящим средством для того, чтобы заткнуть клюв Даниелю. Она начинала ненавидеть его, понимая, что с каждым днем оказывается все больше в его власти. Он полностью овладел Максимом и постепенно отстранял Алекса. Лиз усматривала в этом хитроумный план, задуманный для того, чтобы изолировать и унижить ее. Даниель устраивал сцены за то, что ей никак не удавалось найти квартиру. Без особого труда она напустила на него мамашу, а сама занялась подготовкой к разговору с Франсисом. Она перечла целую кипу газет, убедила мадам Рувэйр не сопровождать ее и отправилась к одру Франсиса. Возможно, конечно, он мало чем отличается от Даниеля, даже наверное...

Чтобы не приезжать с пустыми руками, она решила потратиться и накупила кучу книжонок черной серии. Она думала, что детективные романы смогут развлечь раненого. Оказавшись в палате, Лиз оробела, как дура. По существу, Лиз ровно ничего не знала ни о брате, ни обо всех этих мужчинах, распростертых перед ней на больничных койках. Все они казались одинаковыми, удивительно похожими друг на друга. Ей следовало повнимательнее осмотреться в первый раз, как она попала сюда... Несколько скованная, она неловко пробиралась между

койками. Франсис улыбнулся ей издали, как только ее увидел. Он выглядел лучше, лицо его посветлело. Он сказал, что причиной тому она и что он жалеет о своей грубости. Ей нечего было ответить, она робко протянула ему книжки. Он весело засмеялся.

— Эти романы не для меня, малютка. Настоящая черная серия разыгрывается там, на войне. Я не хочу опять погружаться в нее, даже в шутку.

Лиз огорчилась, но Франсис ни капельки не был рассержен. Пусть в следующий раз Лиз принесет ему «Войну и мир», он слышал об этой книге, ему интересно было бы прочесть ее...

— Но заглавие... — пробормотала Лиз.

— Ты боишься, что оно вызовет во мне мрачные мысли? Не путайся. Мне важно только одно: попробовать понять, почему я добровольно стал тем, чем недавно был...

Опять Франсис заговорил, как заведенный. Засады, подземные убежища, враг повсюду, каждую минуту надо быть начеку. Бессонные ночи в лесах, когда пугает шорох любой травинки, всколыхнувшейся от беспорядочного движения людей. И подросток в бревенчатой хижине, который ждал, когда Франсис убьет его. И рана, и эти осколки, шевелящиеся в теле и мешающие спать. Каждую ночь кто-нибудь орал от кошмара, который невозможно отогнать. По утрам они рассказывали друг другу обрывки все тех же страшных снов — о схватках, в которых гасишь свой ужас; о панике, возникающей при малейшем шуме; о ловушках, расставленных повсюду, и об обманчивой тишине. О товарищах, которых убило оружие, стреляющее без людей: от шороха листьев, от камня, скатившегося с тропинки. О незабываемом ощущении рукопашных боев, когда бьешь, бьешь изо всех сил, словно хочешь уничтожить себя самого. О пощечинах, которыми награждает тебя земля или черная грязь рисовых полей, когда бросаешься лицом вниз, от беспощадных солнц рвущихся гранат. Годами Франсис жил в страхе, и теперь этот страх возродился помимо его воли. Вдруг он остановился.

— Ты была дома, когда ранили отца. Скажи, это такой же страх?

— Да, — сказала Лиз.

— Он утихает днем и разгорается ночью...

— Мама баррикадировала дом.

— Я это понимаю...

Лиз смотрела, точно загипнотизированная. Под грубым солдатским одеялом что-то непрерывно двигалось, как ненасытное животное. Длинная рука брата скребла без передышки, точно рыла бесконечный окоп безумия. Тонкие пальцы вздрагивали от толчков. Огромная жалость охватила Лиз, она наклонилась и погладила влажный лоб. Франсис, обессиленный, откинулся на подушку.

— Теперь я знаю, Лиз, я поехал туда из-за отца. Здесь мне было стыдно, и я боялся подумать об этом. Помнишь похороны? Ты шла за катафалком совсем одна, точно первопричастница. Мне следовало понять...

— Ты был таким надменным и презрительным в своей военной форме...

— Скажи мне, Лиз, он причинил тебе горе?

Франсис весь напрягся, задавая этот вопрос, его здоровая рука вздрагивала. Лиз показалось, что она уплывает куда-то. В горле стоял ком, она не могла говорить, не могла посмотреть брату в лицо. Она почувствовала себя опустошенной и готовой упасть.

— Видимо, ты благоразумнее меня, девочка, — устало сказал Франсис. — Но все-таки приходи ко мне еще.

Лиз захотелось прижаться к худому и желтому плечу, видневшемуся из-под грубого полотна рубашки. Еще сильнее сжал ей горло порыв, искавший выхода. Она сидела неподвижная, без кровинки в лице. Это было слишком мучительно. Она поцеловала брата в горячий лоб и выбежала из палаты.

До Малого Люксембурга она бегом бежала, не в силах успокоиться. Перед ее глазами стоял брат. Правая его рука, худая и длинная, движется пугающе медленно, как те линии, что мучали его в кошмарах. Как змеиные гнезда, как сплетения чудовищных пауков. Если бы у нее было мужество, она должна была бы схватить эти пальцы и успокоить их, заставить смягчиться...

Только одна рука жила в ее опустошенной памяти. Злая рука с выпущенными когтями, вращаясь, медленно отбивала похоронный ритм. Ритм страданий брата. Ее ужаса. Страх, который никогда не покидал их обоих.

Франсис во всем обвиняет отца. Забаррикадированный старый дом в Труа и дрожь при каждом дуновении ветра среди сырых рисовых плантаций... Обрывки запечатленной реальности вращались бесконечно, точно кусок киноленты со склеенными концами. Изображения мелькали в вечной, нерушимой последовательности. Почему у нее не хватило смелости рассказать Франсису все? Он, один он мог бы освободить ее от Даниеля.

Одиночество измеряется особой мерой, совсем не так, как принято думать. В определенный момент счетная машина, спрятанная в недрах человеческого мозга, подводит итог и предъявляет его сознанию, не спрашивая, хочет ли оно этого. Люди отворачивались от Даниеля, как только он начинал поносить евреев. Жандарм улыбнулся, увидев бывшего дарнановского милиционера. Сцена в отеле в Кукурд, тысячи несвязных мыслей, подхваченных на лету на улице или перед газетными киосками. Афиши и объявления на стенах, неумелые, иногда малограмотные, извещавшие о сборищах этих подонков... В этом хаосе, в этой огромной свалке невозможно было решить, какому святому молиться. Все смешались в кучу, католики и прочие, и уже недостаточно было кричать, что коммунисты все врут... Какой вопеж поднялся, какой гвалт! И раньше Даниелю приходилось ощущать на себе брызги ярости, летящие с тротуаров. Он даже любил это ощущение, пока ярость была надежно взнуздана и нема. Теперь она лилась мощным потоком и словно искала малейшей трещины, чтобы просочиться и взорвать плотину. Этот поток мог смести все. Как можно доверять шайке мерзавцев, засевших в правительстве? Пусть даже они поумнели, пусть стали отдавать себе отчет в сделанных глупостях, но разве смогут они остановить этот поток?.. На газетных фото можно было видеть Плевена, получившего знаменитую пощечину. Он стоял на четвереньках на асфальте, разыскивая свои очки. Страну окончательно растлили. Для того чтобы привести ее в чувство и наставить на путь истинный, необходимы оккупационные войска. Иностраные войска, иначе толка не будет.

Как могло получиться, что он так одинок? Он совсем один. Вокруг него только женщины, сыщики, мерзавцы и идиоты. Не считая всякой прочей сволочи... Бебе перешел на сторону врага, Джо мертв, и это мешает Даниелю вернуться в то бистро, где они были вместе когда-то, где он встретил своих.

Сомнения Даниеля были сразу рассеяны Лэнгаром. На этот раз они встретились в отдельном кабинете; Лэнгар удвоил меры предосторожности. Он казался помолодевшим на десять лет, шевелюра его свирепо торчала, он хмурил брови, дергал шей и ртом. Даниель невольно вспомнил последнюю встречу с Лиз. Она отшила его, отказалась пойти с ним куда-нибудь, сославшись на какой-то дурацкий экзамен по анатомии. Она зубрила лицевые мышцы, и Даниель через ее плечо увидел анатомические таблицы. Лэнгар был бы отличной морской свинкой для изучения всех этих мышц со странными названиями: зигоматикус, массетер, ризориус Санторини... Не говоря уже о подкожных мышцах шеи или том странном кольце, которое именуется губными мышцами. Полковник Лэнгар знал назубок ту неписаную часть офицерского устава, которая учит, как подготовить свою физиономию для обозрения ее начальством. В тот день он устроил генеральную репетицию, нечто вроде спектакля, который мог бы показаться смешным у другого, но, сыгранный Лэнгаром, внушал тревогу. Лэнгар говорил о пустяках, но Даниель чувствовал себя беспокойно. Наконец Лэнгар замолчал, изобразил на своем лице предельную откровенность и изрек:

— Скоро начнется война, Лавердон.

Лэнгар знал все. Казалось, кабинет министров не имеет от него секретов. Да что говорить о министрах! Кому не известно, что почти все сановники в той или иной степени подкуплены красными? Нет, Лэнгар знал даже то, чего не знали министры. Он говорил об этом с полной уверенностью и, видимо, не для того, чтобы ошеломить Лавердона. У него был скромно-торжествующий вид. Наконец-то Бидо отважился попросить американцев вмешаться в индокитайские дела. Американский воздушный флот, базирующийся на Филиппинах, теперь станет бомбить силы вьетов под Дьен-Бьен-Фу. Потрясающая новость.

— В самом деле? — спросил Даниель.

Столь умеренная реакция не устраивала Лэнгара. Он принял тон лектора военной академии.

— Необходимо предвидеть все осложнения. Я не ожидаю немедленных оперативных результатов; вмешательство может стать эффективным лишь при условии стремительного перемалывания сил противника. Завтра или послезавтра взорвется первая тактическая атомная бомба. Это будет наконец началом третьей мировой войны.

— Правда? — теперь голос Даниеля звучал заинтересованно.

— Да, — сухо сказал Лэнгар. — Начинается настоящая война. Я уезжаю, мне нужно привести в боевую готовность моих русских генералов, они скоро понадобятся. Что будет с Францией, можно предсказать довольно точно. Не знаю, что думает правительство, но мы-то, во всяком случае, захватим инициативу. Коммунисты не успеют и вздохнуть. Дело пойдет полным ходом, как только настанет «час Аш». Тогда мы поглядим на господ Ревельонов, Кадусов и всю эту банду пораженцев!

Даниель встретил жесткий взгляд Лэнгара и понял преподанный урок. А тот развивал свой план, поясняя его движениями челюсти и жестами. Он постепенно входил в азарт и уже начал мерно постукивать рукой по столику, отчего вздрагивали и звенели высокие хрустальные стаканы.

Даниеля охватило лихорадочное волнение. Он был слишком взвинчен, для того чтобы сосредоточиться. Это было особое, холодное воодушевление, которое кружит голову и оставляет сердце неверящим и безучастным. Даниеля не покидало странное чувство, что все это он уже когда-то пережил. Когда и где? Ах да, когда грузовик остановился на рассвете на пустынной улице Клиши... Он тогда выскочил из кузова и крикнул ребятам:

— А ну, побрызгаем в последний раз!..

Город казался вымершим. Через пятьсот метров застава, за ней предместье, а это уже не Париж. Даниель встал на колени и перевел рычажок автомата в положение одиночных выстрелов. Он караулил первую голову, которая покажется в одном из окон маленькой улочки, пересекающей улицу Клиши. Слева, во втором этаже над японским садиком, мелькнуло сморщенное лицо старика, похожего на мелкого рантье. Даниель срезал его. Лувер и Симоне соскочили с машины. Втроем они наделали шуму, длинными очередями отбивая у других охоту высовывать нос. Стекла со звоном сыпались. Когда стрелять стало не в кого, они начали бить по немым стенам домов.

Это происходило 19 августа 1944 года. Они уезжали в Германию, бежали из непокорного, поднимающегося Парижа. Они убеждали себя в том, что так будет легче раздавить мятеж, но холод в сердцах говорил им, что они побеждены и разбиты. Отсюда их ярость, их бессмысленная страсть к разрушению. Они хотели оставить за собой одни развалины.

Почему же теперь он не загорался огнем Лэнгара? Да, все так и было. Когда они, насытив свою злобу, снова влезли в машину, выяснилось, что не хватает Бебе. Он вылез и ушел, прихватив с собой автомат. Они увидели его вдалеке — Бебе уже сворачивал за угол — и бросились за ним, думая, что он завязал перестрелку с повстанцами. Но Бебе шел один. Когда они окликнули его, он бросился на землю и заорал:

— Не подходить, а то всех перестреляю!

Автомат был направлен прямо на них. Они поглядели друг на друга. Мардолен, шофер, который еще не забыл трепки, полученной от Бебе в тот день, когда он назвал его Фифи, сказал:

— Эге, Даниель, он обгадился со страху, твой Бебе... Он сошел с ума...

Они пожалы плечами и повернулись к машине. Никто из них не догадался тогда, что Бебе перебежал в лагерь противника.

Лишь теперь, заново пережив эту сцену, Даниель понял ее смысл и обозлился на себя. В то утро Бебе избрал правильный путь. Даниель угрюмо молчал, может быть жалея, что не последовал примеру Бебе, а может быть, потому, что почти физически ощущал тяжелую ненависть окружающих его человеческих множеств.

Лэнгар, видимо, понял причину его сдержанности. Он опять щелкнул пальцами. Очевидно, этим жестом он хотел смести с лица земли половину человечества. Возможно, впрочем, что он просто отгонял мысли, которые противоречили его мечтаниям. Во всяком случае, он смолчал и повел Даниеля к оружейнику. Он приобрел для него пистолет и обещал в ближайшие дни раздобыть разрешение. Это был психологически правильный шаг: почувствовав в кармане тяжесть оружия, Даниель сразу обрел свободу и уверенность в себе.

Вечером он вовлек Максима в бешеный кутеж. Ему необходимо было доказать себе, что все привилегии ему возвращены. Где-то в глубине в нем всегда дремала потребность доказывать всем и каждому свое молодечество. Теперь Даниелю не хватало простейших гарантий того, что ему все сойдет с рук, что бы он ни натворил. Конечно, со временем такие гарантии будут ему даны. С тех пор как кончилась война, он достаточно страдал и вполне заслужил безнаказанность. Она была бы только справедливой. Он и теперь имел на нее право, поскольку в годы юности безнаказанность всегда была ему обеспечена.

В тайном публичном доме они встретились с компанией пьяных десантников и великолепно провели время.

На следующий день они хором поведали Лиз свои похождения. Даниель не стал обращать внимания на ее насмешки, отнеся их за счет ревности. Лиз заявила, что он достойный представитель установившегося государственного порядка и как две капли воды похож на ее папашу, начальника полиции. Она тут же подумала, что ее слова доставили бы удовольствие Франсису. Даниель и в самом деле походил на отца, хотя не был подвержен страху, Но страх — это отнюдь не главное.

В тот же день Лэнгар сказал Даниелю, что ему надлежит отправиться к Гаво и выпотрошить несгораемый шкаф, в котором Бебе хранит документы.

\* \* \*

Лиз не простила Даниелю дебоша, в который он втравил Максима. Она заметила, что Алекс совершенно исчез с ее горизонта, и решила вернуть его.

Даниель и Максим ждали ее к обеду, но она сначала заехала к Алексу. Он жил в комнате для прислуги на улице Помп, у перекрестка авеню Анри Мартэн. Консьержка сказала, что Алекса нет дома. Лиз в записке назначила ему свидание в кафе возле ворот Сен-Клу. Решение принято — она порвет с Даниелем. Дело не в унижениях, а в том ужасе, который он внушал ей физически. Ей было удобно придерживаться этой версии, и она предпочитала не углубляться в анализ.

Алекс появился в кафе около семи часов, очень взволнованный.

— Я тебе нужен, Лиз? Он тебя обидел?

Ни за что на свете Лиз не призналась бы в этом. Она спросила сердито:

— Почему ты исчез, Алекс?

— Потому что я еврей.

— Ну и что? Я это давно знаю...

— Ты сошла с ума. Этот Лавердон...

— А что ты имеешь против него?

Теперь она готова была когтями и зубами оборонять Даниеля от Алекса. Она имела право презирать Даниеля, но не Алекс. Он пробормотал:

— Но, Лиз, он же убивал евреев...

Теперь удивилась Лиз:

— Это прошло. За это он отсидел в тюрьме.

— Нет, — глухо сказал Алекс. — Это не прошло.

— Ах, я знаю! Ведь вы никогда ничего не прощаете.

— И ты! — в отчаянии закричал Алекс. — И ты тоже! Достаточно было нескольких дней, чтобы он заставил тебя думать по-своему...

Лиз, сбитая с толку, начинала сердиться.

— Я не сказала ничего плохого!

— Нет, сказала. Ты сказала, — Алекс собрал все свое мужество, — «все вы никогда ничего не прощаете». Раньше ты так никогда не говорила. Ты не делила людей на евреев и неевреев.

— Ты сам напоминаешь мне, что ты еврей.

— Неужели ты не понимаешь, что, если Лавердон узнает, что я еврей, он оскорбит или ударит меня? Нет, это не я «не прощаю». Это он не прощает, он все тот же убийца, каким был!..

Лиз молчала, в горле у нее опять стоял ком, как в первый день, когда она была у Франсиса. Даниель отрезал ее со всех сторон, закрыл ей все пути отступления.

Они пообедали вместе, и Лиз вернулась домой очень поздно. Она тянула время, как могла, из страха остаться одной. Зато теперь она точно знала, что ненавидит Даниеля.

Даниель, как только узнал о существовании карточного долга, решил использовать Максима. Мальчишка мог пригодиться для незначительных операций вроде налета на логово папаши Гаво. Даниель заманил мальчишку перспективой безопасного жирного куса, и тот немедленно согласился. Максим находил мрачное удовлетворение в том, что для уплаты долга чести ему приходится прибегать к грабежу. К тому же операция будет проходить под руководством человека, ради которого его покинула Лиз.

Лиз не пришла обедать с ними, и Даниель, казалось, не обратил на это внимания, но на следующий день она получила от него записку с приглашением в бар на улице Севр.

Даниель увидел ее, когда она входила в бар. На ней был новый пурпурный жакет, на котором разметавшаяся грива ее волос выглядела ослепительно черной. На шее поблескивало тоненькое золотое ожерелье. Лиз показалась ему очень соблазнительной. Однако он натолкнулся на нечто новое — на холодную, обдуманную злость. Он увидел, что потерял власть над этой девчонкой, и решил во что бы то ни стало вновь подчинить ее себе. Он стал почти ласковым и тут же, при ничего не понимавшем Максиме, рассказал Лиз длинную и трогательную историю. Один молодой человек как-то заложил у ростовщика несколько ценностей. Старый скряга отказался их вернуть. Если Максим поможет заполучить ценности обратно, ему простят большую часть его долга, а уж тогда договориться с папашей будет нетрудно...

Это было похоже на Максима, и Лиз поверила. Она подумала даже, что он, вероятно, украл и заложил драгоценности своей матери. Она была не виновата в том, что он проигрался в казино, но его вид опечаленного бычка действовал ей на нервы. Она согласилась постоять на стрёме. Лиз и Максима смущала близость полицейского комиссариата на улице Баллю, но Даниель легко их успокоил. Операция была назначена на вечер Первого Мая, который приходился на субботу. В праздничный вечер в этом шумном уголке Монмартра никто не обратит внимания на то, что происходит в соседней квартире...

Внезапно Лиз заметила, что Максим совершенно пьян. Он смотрел на нее в упор, и его опухшее лицо показалось ей отвратительным. Слишком короткий бобр — такой короткий,



что волос почти не осталось, — придавал ему глупый вид. Максим напоминал ребенка, который состарился, так и не став взрослым.

Чтобы сбежать из бара, Лиз притворилась, что плохо себя чувствует. Она села в свою «Дину» и поехала по местам, где рассчитывала встретить прежних товарищей. Ей надо было развлечься и не думать о предстоящем.

Даниель не возражал. Теперь он крепко держал Лиз и вполне мог подождать, ему было не к спеху.

В тот же вечер он сообщил Лэнгару о приготовлениях к операции. Начальство одобрило его действия и обещало прислать в назначенный день специалиста по несгораемым шкафам.

Кроме того, Даниель тут же получил из гаража в свое полное распоряжение машину. Это была еще вполне приличная колымага, но, к сожалению, ее надо было бросить сразу после операции. Целую ночь Даниель наслаждался, на бешеной скорости гоня машину по улицам Парижа и подготавливая маршрут предстоящего бегства.

Все семейство вернулось из виллы Кап-Ферра в Париж. Супруги Кадус и дети с гувернанткой прилетели из Ниццы самолетом. Кристиана и Филипп приехали на «Фрегате», который вели поочередно. Чтобы продлить удовольствие, они сделали крюк и поехали через Альпы.

Узнав, какой оборот принимает следствие по делу об убийстве его шофера Джо Картье, Филипп счел необходимым слетать в Сайгон. Вернувшись в Париж, он думал только об одном — поскорее забрать жену и поехать с ней к детям в Кап-Ферра. Однако после визита Даниеля он понял, что должен заблаговременно подготовиться к защите от возможного нападения со стороны Лэнгара. Он мечтал как о празднике, что в первый раз в жизни сможет провести пасхальные каникулы в семье, но его планы сорвались. Ему удалось приехать лишь в самом конце каникул и только затем, чтобы отвезти Кристиану домой.

Филипп прибыл в Сен-Жан как раз в те дни, когда Бидо предпринимал последние попытки добиться американской интервенции в Индокитае. Когда Филипп оказался рядом с Кристианой и малышами, мысль о предстоящей войне породила в нем новое чувство — опасение за счастье, к которому он уже начал привыкать. Косвенно он становился уязвимым для ударов, которых надо было ожидать со стороны Лэнгара и Лавердона. Он открылся тестю и Кристиане. Семейный совет успокоил Филиппа: мсье Кадус обладал могуществом, о каком его зять и не подозревал. Надежная клиентура, многолетние дружеские отношения — это были связи несколько иной природы, не принятые в джунглях, однако они были действенны и безмолвны, ибо тесно сплетались с механикой управления государством.

Оказалось, он сам, Филипп, был наивен, как мальчик из церковного хора. Замкнувшись в кругу парвеню — мсье Кадус обожал язык классической литературы, — Филипп и не подозревал, что старый порядок незримо существует, что он не только цел и невредим, но даже побеждает. Оказалось, Филипп совсем не знал своей жены; потребовалось совершить это путешествие, чтобы узнать ее глубже и полнее.

В начале их брака Филипп считал Кристиану терпеливой и упрямой. Позднее он заметил, что в ней любопытно сочетаются вспышки возмущения и безразличие. Теперь он понял, почему так противоречивы ее оценки. В детстве Кристиана была разумной, послушной и одинокой. Единственная дочь Кадуса, она рано поняла, что на нее возлагаются большие надежды. Даже играть она могла, лишь освободившись от матери и гувернантки, когда оставалась одна, или в те редкие минуты, когда ею завладевал отец. Остальное время она занималась изучением наук, а также приобретала познания, необходимые для правильного ведения хозяйства. Сюда относились тонкости кухни, найм прислуги и надзор за всеми домашними работами. Существовала старинная семенная аксиома: для того чтобы управлять людьми, следует хорошо знать выполняемую ими работу и помнить, что время нужно тратить так же бережливо, как и деньги.

Лицей — все Кадусы были свободомыслящими и противниками католического воспитания — дал Кристиане возможность играть в обычные детские игры и впервые испытать чувство обретенной свободы. Отец учил ее смотреть в корень вещей и принимать лишь то, что кажется логичным. Он дорожил ее откровенностью и радовался, что она похожа на мальчика. «Понимаешь, Филипп, — говорила она, — он хотел, чтобы я считала свое будущее замужество капиталовложением, экономическим договором, направленным на укрепление фирмы „Кадус“. Я не должна была ожидать от брака слишком многого. Во всяком случае, не больше, чем мог бы ожидать на моем месте его сын, Кадус младший...»

Филипп подумал, что это довольно низменное доктринерство. Ему еще предстояло узнать от Кристианы, что существуют кварталы крупной буржуазии, как раньше существовали кварталы аристократии. Эта буржуазия могла позволить себе быть просвещенной. Он узнал, что можно быть почти ровесниками и обладать примерно равными капиталами и привилегиями, но что это еще далеко не все. Ее детство прошло в парке Монсо и Булонском лесу, а он вырос на заднем дворе дома на авеню д'Орлеан, его отец был сапожником. Он играл в заброшенных развалинах старинных укреплений. Две столь различные жизни могут соприкоснуться, даже соединиться, но они навсегда останутся различными.

Филипп, никогда и никого не уважавший, стал уважать Кадусов. Он был слишком умен, чтобы не видеть, как, несмотря на старомодную внешность, Кадус умело и тонко ведет крупнейшие дела. Филипп, в шестнадцать лет оставшийся сиротой, был приучен к мысли, что удар кулаком по столу и грубость — основные и решающие доводы. Препятствия надо устранять — побеждает всегда тот, кто меньше стесняется. Став постарше, он выучился стрелять первым, пока противник еще не успел вытащить пистолета. На войне — во времена безудержного зверства — такие методы были единственно правильными. Когда Филипп вынырнул на поверхность, план Маршалла начал свое победное шествие. В общей драке за доллары, кинутые «на шарап», его знания очень емугодились.

Кристиана помогла Филиппу разобраться в том, как умело рассчитывает ее отец сложность возникающих препятствий. Кадус никогда не шел напролом, он предпочитал обходные маневры, и не потому, что был рутинером или малодушным: такова была его стратегия. Она диктовалась не тактическими задачами, а жизненным опытом. «Мой отец — старый либерал», — говорила Кристиана. Теперь Филипп научился правильно понимать это определение. Оно подразумевало строгую экономию средств и уверенность в том, что любая договоренность лучше самого верного судебного процесса, что применение силы выгодно лишь в одном случае — если обеспечено полное уничтожение противника.

Филипп понял, насколько безнадежно отчаянной была его юность. Он всегда стремился к немедленному удовлетворению всех желаний, немедленному наслаждению победой. У него не было завтра, ибо завтра, как и в любой другой день, к нему могла прийти смерть.

Когда он предложил папаше Кадусу свои услуги, он считал себя хозяином положения. Мировой скандал с пиастрами дал ему незримую политическую власть, ибо он знал слишком много. Он сговаривался с Кадусом действовать против американцев и создавал собственное поле деятельности. Одновременно он послал Дору вновь завязать отношения с Лавердоном и, кроме того, получил некоторые гарантии со стороны Лэнгара. Он поступал, как игрок, ставящий на всех возможных победителей одновременно. Постепенно Филипп понял допущенные им ошибки в оценках. Кадус никогда не говорил ему: «Мне нужны ваши миллионы, а вам — моя дочь». Кристиана ничуть не нуждалась в нем как в главе семейства, продолжателе династии Кадусов и прочего, что предусматривал Гражданский кодекс Наполеона. Лавердон принимал помощь Бебе лишь как свидетельство его раскаяния. Наконец, Лэнгар ни минуты не собирался честно работать с ним, а только и думал, как его обмануть. Все они смотрели на Филиппа как на бедняка, опьяненного почти невероятным успехом. В их глазах он был паразитом, которому удалось использовать небывалую неразбериху в мировом хозяйстве, но которого любой политический поворот мог стереть с лица земли.

Союз с Кадусом со временем стал для него не просто капиталовложением, но и новой базой деятельности. Авантюрист превратился в капиталиста. Он начал подумывать о том, что рисковать можно не только своей шкурой, и заранее подсчитывал возможные убытки. В нем происходила медленная и трудная работа, а Кристиана была живой связью между ним и его деньгами.

Первое время Филипп подчеркнуто презирал в Кристиане то, в чем судьба отказала ему самому, например то, что она имела степень доктора прав. Теперь он уважал ее за это.

Лишь совсем недавно он понял, в чем заключалось полученное Кристианой воспитание и что она хотела сказать своими словами: «...не больше, чем мог бы ожидать на моем месте сын Кадуса». С десяти лет она подолгу жила за границей, потом много занималась спортом. С восемнадцати — собственная машина и Университет. Ока появлялась в обществе актеров и чемпионов совершенно так же, как наследник Кадусов на ее месте вывозил бы в свет манекенш и кинодевиц. Папаша Кадус говорил, что дела надо делать с ясной головой. Война прекратила путешествия, а вторжение немцев в свободную зону лишило Кристиану машины. Она закончила высшее образование в Эксе в 1943 году и немедленно увлеклась кинематографией. Правда, выступала она лишь как помощник режиссера или администратора. После Освобождения, когда Кадусы вернулись в Париж, Кристиана занялась живописью. У нее было собственное ателье, и для развлечения она скупала и перепродавала картины малоизвестных художников. Совершенно так же юный Кадус держал бы скаковую конюшню.

Но нет, Филипп женился не на тресте, не на энциклопедии и не на примерной хозяйке дома. Он женился на женщине и теперь с радостным изумлением узнавал это. Кроме того, становилось ясно, что тесть имеет на него серьезные виды. Достаточно было понаблюдать, как хлопотал мсье Кадус, организовывая семейный обед на следующий день после их возвращения. Ради него он даже пожертвовал своей обязательной ежедневной прогулкой по Булонскому лесу. Даже мадам Кадус поняла новую значимость, которую обрел Филипп. С заботливым видом наседки она перечислила ему приглашенных к обеду. Очевидно, эти тайные маневры имели определенную цель — ввести Филиппа Ревельона в свет и тем самым обеспечить его будущее. Кристиана волновалась не меньше мужа. Она спрашивала о пустяках и колебалась, решая самые простые вопросы. Платье к обеду они выбирали вместе. Оно было из зеленого атласа с голубоватым отблеском, оттенка японской сосны. Под весенним солнцем кожа Кристианы загорела как раз настолько, чтобы цвет ткани красиво сочетался с цветом ее глаз. Днем Филипп схитрил, как школьник, чтобы забежать к ювелиру за изумрудом, который замечательно дополнил туалет.

Все это было несколько необычно. Оба они, и Филипп, и Кристиана, были приучены рассматривать любовь лишь как контакт двух людей, которые физически устраивают друг друга. Оба они захвачены врасплох; любовь — это занятие, лишенное каких-либо значительных последствий, — внезапно стала определять их светские и социальные обязанности. Их удивление не ускользнуло от мсье Кадуса. Он был несколько шокирован безмерным материализмом эпохи, в которую супружества возникают и распадаются в зависимости от жилищного кризиса. Однако он не был лицемером и сказал себе, что, по-видимому, интересы фирмы «Кадус» способны обеспечить его дочери длительное супружеское счастье. Тем более следовало заняться всерьез всесторонним воспитанием зятя.

Этот обед должен был стать для Филиппа Ревельона выходом в свет, как первый выезд для девицы на выданье.

— Как вы сказали? Ах да! Ревельон... Так... Хорошо, я буду... — Шардэн положил трубку и повернулся к Жанине. Перед ним сидела маленькая парижанка, точно соскочившая с жанровой картинки. Придумать такую невозможно. Яркая, живая мордочка молодой женщины выражала неудовольствие.

О чем, собственно, они говорили? Шардэн это прекрасно помнил. Жанина только что спросила: «Почему же все-таки ты не вступаешь в партию?» — и Шардэн со своей адвокатской логикой пустился перечислять причины. «Во-первых, потому, что есть вещи, в которых так мне свободнее. Во-вторых, потому, что жизнь привела меня к вам, поставила рядом с вами, но не слила нас воедино. В-третьих, потому, что я должен помогать переделывать мир...» Как раз в этот момент их разговор прервал телефонный звонок.

Если бы этот разговор происходил по сценарию, написанному Шардэном, он не смог бы придумать более выразительного ответа. В это утро Первого Мая мсье Кадус приглашал своего главного юрисконсульта на званый обед, который состоится в тот же вечер. Обед дается в честь зятя и дочери мсье Кадуса. Мсье Кадус приносит извинения, что не передал приглашения раньше, и просит мсье Шардэна быть непременно...

Шардэн любил минуты, когда жизнь ставит неожиданные препятствия, когда приходится бороться с людьми или самим собой хотя бы для того, чтобы лучше разобраться в себе. Он улыбнулся Жанине.

— Вот видишь, сегодня вечером я должен быть в гостях у капиталиста, у трестовского воротилы...

И они заговорили о другом. Шардэну было сорок лет, и он не имел ни малейшего желания портить себе редкие свободные часы. Странно, что в это первомайское утро его заставили опять подумать о Кристиане. Столько лет прошло, но она по-прежнему оставалась его великой любовью. «Женщина из далекого прошлого», — говорил он себе, желая утешиться. Забыть ее ему не удавалось.

Если он отдал Кадусу вечер, давно обещанный Жанине, то на это у него были причины. Необходимо было разобраться в себе. Не вполне ясно, почему эта молоденькая женщина-фотограф сидит сейчас здесь, рядом с ним. Они встретились в Вене, на Конгрессе сторонников мира, и понадобилось немало случайностей, чтобы снова встретиться в Париже. В конце концов первомайским утром можно мечтать о чем угодно...

Серенький, тусклый денек прошел незаметно. Женевская конференция кончилась неплохо. Фостер Даллес уехал обратно в Соединенные Штаты. Похоже, что американская интервенция во Вьетнаме не состоится. Возможно, что война вообще отодвигается на неопределенный срок.

Шардэн повел Жанину завтракать в маленький ресторанчик на берегу Марны. Оттуда они поехали в Сент-Антуанское предместье поглядеть на народную демонстрацию, которую правительство не успело запретить. Они увидели «принятые меры» воочию — патрули жандармов и гард-мобилей были повсюду. Спрятавшись в машине, Жанина незаметно щелкала фотоаппаратом.

На лугу Рельи, где происходила демонстрация, они смешались с успокоившейся, освободившейся толпой. Демонстрация прошла благополучно, и настроение у Шардэна поднялось. Наверно, все-таки придет день, когда жизнь станет светлой и ясной, как надежды, о которых кричали эти десятки тысяч женщин и мужчин.

Позднее, прощаясь с Жаниной, он шепнул:

— Насчет твоего сегодняшнего вопроса... Такому человеку, как я, нелегко решиться,

нелегко сказать да или нет... Ты понимаешь, ведь выбор тут окончательный...

По улыбке молодой женщины он догадался, что она ожидала от него и другого выбора. И, очевидно, тоже окончательного.

\* \* \*

Пришло время, когда наш мир должен повернуться вокруг оси. В этом Шардэн был убежден и ждал от этого поворота решения всех личных проблем. В другое время и в других обстоятельствах он ни за что не согласился бы встретиться с Ревельоном. Дело было не в том, что Ревельон был мужем Кристианы; в глазах Шардэна он был символом тех, кто составил свое богатство на войне. За годы работы с Кадусом Шардэну приходилось встречать самых разных людей. Однако сегодняшний обед никак нельзя было назвать служебным.

Шардэн хотел понять намерения Кадуса. Значит ли все это, что Ревельон перебежал в другой лагерь? Или, наоборот, мсье Кадус несколько испуган оборотом дел на Женевской конференции? Шардэн решил не торопиться.

Ма авеню Фридланд он явился последним из всех приглашенных. В гостиной его представили сенатору от независимых, который был как две капли воды похож на Его Превосходительство Жозефа Ланьеля, председателя Совета Министров, однако братом Его Превосходительству не доводился. Супруга сенатора казалась столь же близкой родственницей супруги Президента Республики. Коренастый, с попорченным лицом отставного боксера депутат Ривьер в прошлом представлял в палате Народный Фронт, но почел за благо покинуть его. Он гордо стоял возле молоденькой жены, которая в своем бледно-голубом платье казалась только что выпущенной воспитанницей пансиона «Небесных Ласточек». Если память не изменяла Шардэну, она приходилась кузиной мадам Кадус. Кристиана издали сделала Шардэну приветственный знак, и тут же он заметил Ревельона, стоявшего за спиной мадам Кадус. Шардэн никак не ожидал увидеть его таким киногероем, породистым, крепким, даже с каким-то благородством в манерах... Мсье Кадус не замедлил представить их друг другу.

\* \* \*

Филипп тоже воображал себе Шардэна совсем другим. Он много слышал об адвокате, и тот рисовался ему чем-то вроде мсье Кадуса в молодости. А перед ним стоял очень высокий, худощавый человек с надменной осанкой. На висках у него серебрилась седина, и уже сейчас было видно, что с седыми волосами он будет еще красивее. Кадус, казалось, был занят лишь ими двумя. Во всяком случае, он несколько поспешно освободился от дамы в строгом английском костюме, с коротко подстриженными прямыми черными волосами, которая казалась типичным синим чулком. Когда она отошла, Кадус сказал:

— Вам придется иметь с ней дело, Филипп. Она ведает моими экономическими связями с заграницей.

Кадус умолк. Он дал им время, чтобы они, как боксеры после удара гонга, могли примериться друг к другу. Затем он медленно заговорил:

— Наш Шардэн, дорогой Филипп, — потомок известной династии судейских крючков. Рядом с этой фамилией Кадусы — просто мелкие буржуа. Один Шардэн состоял в Личном Совете короля Франсиска Первого. Знаменитый художник Шардэн — их родственник. В то время когда Кадусы были простыми седельщиками, предок Жоржа был профессиональным

финансистом. Он стал «генеральным фермером» при Людовике XIV, в наши дни это примерно соответствует посту министра сельского хозяйства...

Говоря это, Кадус думал, что из двух мужчин, стоявших перед ним, Шардэн, со своим костистым и гордым лицом, кажется более опасным.

— Признаться, — закончил Кадус, — я никогда не понимал одного: что мешает нашему дорогому Шардэну вступить в коммунистическую партию?

Шардэн громко засмеялся. Решительно, этот вопрос сегодня в моде.

— Позвольте, Кадус, раз я работаю с вами...

У Шардэна был низкий и звучный голос, который он сам слушал с видимым удовольствием.

— Не приписывайте мне власти, которой у меня нет. Разрешите, Шардэн, закончить ваш портрет. Вы великолепно защищаете мои интересы от иностранной конкуренции. Вы хотите, чтобы к тому моменту, когда ваши идеи восторжествуют, наследство, которое я оставлю, было богатым и в полном порядке...

— Кадус, вы передергиваете. Я говорил о Франции!

— Действительно, дорогой Филипп, Шардэн говорил мне, что в его глазах я имею некоторое национальное значение. Я капиталист, но все же являюсь частью общефранцузского имущества. Когда его друзья придут к власти...

Шардэн простер руки, точно держал невидимый сноп. Он был истым адвокатом, и теперь казалось, что адвокатская мантия на мгновение прикрыла его хорошо сшитый костюм.

Глядя на Филиппа, он сказал торжественно:

— Вот уже шестнадцать лет, Кадус, как мы работаем вместе. Наше сотрудничество сумело пережить войну, оккупацию, освобождение, план Маршалла...

Кадус сделал знак метрдотелю, и тот устремился к ним с подносом.

— Тост за вами, Шардэн. У вас это получится лучше, чем у моего зятя, который еще не раскрыл рта. Итак?

— Я пью за мир!

— А вы, Филипп?

— Я тоже пью за мир!

— Плохая игра, — разочарованно сказал Кадус. — Я поднимаю бокал за расширение торговли с Китаем. А мир... В наши дни под этим словом каждый понимает то, что ему нужно. Бидо тоже с ним не расстанется. Моим тостом я хочу также пожелать всяческих успехов Женевской конференции...

Филипп и Шардэн невольно улыбнулись.

— Конечно, — согласился Шардэн. — Но не обманывайте себя: народ отлично понимает, что значит это слово.

— Шардэн, — укоризненно сказал Кадус, — обычно вы ищете то, что соединяет людей, а не то, что их разделяет. Впрочем, я сам могу сказать, что есть общего между Ревельоном и вами.

Он подождал, чтобы сгустить молчание, наслаждаясь неловкостью, которую испытывали собеседники.

— Молчите? А ответ очень прост: за вами обоими с одинаковой бдительностью наблюдает полиция мсье Мартино-Депла. За вами, Шардэн, потому, что вы играете определенную роль в движении за мир; за моим зятем — потому, что он слишком много знает о войне во Вьетнаме...

В особняке на авеню Фридланд небольшая столовая отделана заново. Стены покрыты кремовой пластмассой, которая смягчает звуки, точно материя. Однако на ощупь она твердая, и косо падающий свет отражается на ней сверкающими бликами. По углам стоят огромные фаянсовые вазы работы Пикассо, привезенные Кристианой с юга. Три небольшие картины — образцы абстрактной живописи — висят на стенах, внося в спокойный ансамбль яркую, кричащую ноту.

Кристиана и Филипп сидели на почетных местах, на противоположных концах стола, и это немало удивило приглашенных; в первую очередь был удивлен сам Филипп. По обеим сторонам от него сидели жены парламентариев; их мужья на другом конце стола, справа и слева от Кристианы. Кадус и его жена — рядом с женой сенатора, а напротив разместились Шардэн и стриженная дама, столь кратко представленная Филиппу тестем.

Направление беседе дал мсье Кадус; он принялся расхваливать новое оборудование своей столовой. Замаскированный подъемный механизм соединяет столовую с кухней.

— На интимном завтраке можно обойтись без прислуги. Понимаете, Шардэн? Вы еще в том возрасте, когда такая идея может пригодиться. Дарю ее вам...

Все громко рассмеялись. Кадус подождал, пока уйдет лакей.

— Сегодня мы с женой здесь не хозяева, а приглашенные. Теперь этот особняк принадлежит Кристиане и Филиппу. В наши годы нам следует жить в Кап-Ферра, там мы проживем дольше.

Атмосфера разрядилась. Все поняли, в чем дело и как следует держаться. Кадус оглядывался, как победитель, Шардэн просветлел. Заговорили о Лазурном Береге, который так сильно изменился, о плохой погоде и неудачной весне...

Шардэн с блеском рассказал историю некоего самозванного адвоката, которого недавно арестовали. Кристиана спросила, как прошла первомайская демонстрация.

Мадам Ривьер, маленькая соседка Филиппа, изо всех сил старалась заставить его разговориться о прошлом. Только жена сенатора молчала и, видимо, чувствовала себя неловко.

Вскоре Кадус умело перевел беседу на политические темы. Он говорил о Франции так, точно французского правительства вообще не существовало, но не позволял себе никаких нападок на кабинет министров. По его словам выходило, что правительственный кризис затянулся, что он длится с момента крушения предыдущего кабинета, которое произошло прошлым летом. Кадус скрестил руки, словно отдыхая после напряженного усилия. Затем опустил их, будто хотел продолжать, и замолк, испытывая терпение собеседников. Первым не выдержал депутат Ривьер.

— Прошу вас, мой милый! — Кадус широким жестом председательствующего предоставил ему слово. Тот молчал, собираясь с мыслями перед тем, как броситься в воду. Жена Ривьера с интересом следила за ним. Филипп почувствовал к нему что-то вроде сострадания. Ривьер вызывал у него симпатию, он был крепок и чем-то похож на капитана футбольной команды, осматривающего поле перед решительной атакой. Потом он вспомнил, что в свое время Ривьер представлял Народный Фронт, и мысленно поморщился: еще один тип, порожденный Соппротивлением. И все же Ривьер был ему гораздо ближе, чем Лавердон. И вовсе не потому, что Филипп хотел схватить удачу за хвост. Казалось, тесть прочел его тайные мысли. Он сделал едва заметный жест, ободряя Филиппа. Как он говорил? «Мой дорогой Филипп, когда достигаешь цели, точки отправления уже не существует. А стало быть, нет и прошлого...»

— Мой дорогой Кадус, — начал депутат. — Я ценю ваш неизменный юмор, но последующее правительство не станет приказчиком, оформляющим предыдущее банкротство...

— Милый мой, этого я не говорил.

— Но вы так подумали, и это вполне понятно...



— Значит, Ривьер, вы признаете факт банкротства, но вам не нравится самое слово! — Шардэн не мог отказать себе в удовольствии записать очко в свою пользу.

Ривьер принял еще более гордый вид и решил пока что не замечать этого коммуниста.

— Мы должны перегруппировать силы, укрепить наш боевой порядок. Мы должны прекратить разброд в наших рядах, который, к сожалению, нравится некоторым нашим союзникам. Они были бы непрочь, если бы мы в нем погрязли...

— Вы так и говорите на заседаниях Комиссии национальной обороны? — невинным голосом спросила Кристиана.

— Разумеется, мадам!

— Мне хотелось бы послушать. Неужели это так трудно устроить?

Кадус императорским жестом пресек посторонние разговоры. Избитые истины Ривьера его не интересовали; он хотел знать причины, заставившие Ривьера повторять их сегодня.

— В заключение следует сказать, — продолжал Ривьер, — что в рамках необходимого для нас Атлантического пакта мы все же должны сохранить свободу в той полноте, о которой мечтают лучшие умы.

Сенатора раздражали эти приемы предвыборной кампании. Замогильным голосом он продолжал доклад. Маленькая мадам Ривьер с трудом удерживалась от смеха, но все остальные внимательно слушали отрывистую, прерываемую одышкой речь толстяка. Сенатор не казался слишком умным, но люди понимающие говорили, что у Кадуса есть особые причины приглашать его к себе. Шардэну тоже интересно было узнать точку зрения богатых судовладельцев, закупивших для сенатора голоса в небольшом избирательном округе Юго-Запада.

— По совести говоря, — ворчал сенатор, — мы уже исчерпали одну политическую линию... Ту, что определялась американскими вливаниями... Вливания, мы, ясное дело, сохраним... Но использовать их будем... по-своему. Коммунистическая опасность... очень сильна, американцы это понимают. Клянчить мы не будем, нет... Мы скажем прямо... Платите столько-то... а то мы договоримся с Востоком...

Общая беседа распалась. Кристиана и Шардэн стали возражать парламентариям, оставив Филиппа на растерзание молоденькой соседке.

— С тех пор как мы принимали у себя автора книги «Конец посольств», я убеждаю мужа, что ему никогда не стать министром. Вы читали эту книгу, мсье Ревельон? Все говорят, что мадемуазель Крапот — это мадам Бидо...

Филипп ответил неопределенно. Он не знал, чего добивается от него мадам Ривьер.

— Но вы, конечно, читали романы Угрона? Как вам кажется, он правильно изображает Индокитай?

— Чьи романы? — спросила жена сенатора. Филипп не стал мешать их беседе. Молоденькая мадам Ривьер умела с невинным лицом выпытывать у людей все, что ее интересовало, и Филиппу это не нравилось. Тут папаша Кадус представил гостям своего зятя как большого знатока Дальнего Востока и всех связанных с ним проблем. Стриженная дама мгновенно вдохновилась.

— А читали вы «Множество великолепий»? — приставала мадам Ривьер. — Гонконг и в самом деле так красив?

— По правде сказать, я не читаю современных романов, — отрезал Филипп. — Только классиков.

— Кстати, о классиках, мсье Ревельон, вы, конечно, читали «Молчания полковника Брэмбла»... Не думаете ли вы, что о вашем тесте можно было бы написать «Молчания мсье Кадуса»?

С противоположного конца стола Кристиана нежно улыбнулась мужу. Она убедилась в том, что из всех приглашенных только у Филиппа подлинно аристократические руки.

\* \* \*

Шардэн перехватил улыбку Кристианы. Он ощутил легкую боль... но что поделаешь? Жизнь не складывается из суммы умозаключений. В этой игре приходится быть одновременно и участником, и судьей. Теперь ему было ясно, что никогда он не мог бы сидеть там, в конце стола, на месте зятя господина Кадуса. Нет, Шардэны отвергают золотые цепи, как некогда отвергали капризы королей.

В удивительное время мы живем; достаточно посмотреть на невероятную смесь людей, собравшихся за этим столом. И удивительнее всего то, что у столь различных людей находятся какие-то единые интересы, какие-то общие занятия.

Шардэн понял, что Ревельона ему придется принять. Пока Кадус жив, зять будет послушно проводить семейную политику, за этим присмотрит Кристиана. Да и какое дело Шардэну до прошлого этого господина? Для него имеет значение лишь настоящее. Шардэну казалось, что он разгадал игру Кадуса. Готовится новый кабинет министров, который будет вынужден подчистить кое-какие запутанные дела, оставленные предыдущим кабинетом в скверном состоянии. Начнется борьба за относительную самостоятельность Франции. В этом спектакле Ревельону уготована особая роль — он будет представлять энергичное молодое поколение, которое берется за дело засучив рукава и не боится ни риска, ни нареканий. Ревельон сделает то, что Кадусу неудобно делать самому...

В этот вечер Первого Мая их всех охватило возбуждение, похожее на легкое опьянение, Кадус считал, что конференция в Женеве добилась значительных успехов и что перед лицом американских требований придется говорить более откровенно. Еще несколько лет назад Шардэн думал, что советы таких, как он, смогут повернуть внешнюю политику страны. Теперь он в это не верил. Он уважал Кадуса и даже в некотором смысле восхищался им. Он работал на него с увлечением, убеждая себя, что единодушные усилия, направленные к определенным целям, могут изменить судьбу всей нации. В какой-то мере Кадус помогал этому делу. Кадус хорошо понимал силу общественного мнения и умел с ним считаться. И Шардэн подумал, что будущее прояснит все политические проблемы, как прояснит и его собственную жизнь.

Тем временем разговор перешел на финансовые темы. Кадус считал, что крушение правительства неизбежно, что оно должно наступить, как только начнутся дебаты по индокитайскому вопросу, то есть послезавтра. Кристиана мимоходом высказала мысль о создании общества по изучению возможностей улучшения товарообмена со странами Востока. Кадус заявил, что с этим необходимо поторопиться, чтобы не прибыть к финишу последним. Филипп поддержал их, напомнив, как обхаживали англичане и даже немцы китайскую делегацию в Швейцарии.

Шардэн произнес длинную, точно перед судом, речь. Он не сомневался в своей правоте. И, если, черт возьми, Кадус так добивался его присутствия, он заставит всех приглашенных выслушать слова, к которым они не привыкли.

\* \* \*

Когда Филипп полагал, что партия уже выиграна, опасность появилась с той стороны,

откуда он ее никак не ожидал. В курительной комнате, пока Кристиана занималась расстановкой столов для бриджа, он оказался рядом с Ривьером и Шардэном. Филипп слушал рассказ адвоката о ходе Женевской конференции, несколько удивленный размахом, который приобретало движение сторонников мира.

— Итак, — небрежно бросил Ривьер, — мы опять вместе, как в дни Соппротивления?

Он хвастливо посмотрел на Филиппа.

— В то время, Ривьер, если бы я дрался, то дрался бы против вас. А сегодня я согласен с Шардэном, я против Бидо.

— И я тоже!

— Зачем же тогда вы голосовали за то, чтобы он ехал в Женеву? — грубо спросил Филипп.

Шардэн опять широко развел руками, этот жест Филипп уже заметил.

— Я даже рад, что вы вспомнили о Соппротивлении, Ривьер. Тогда я стал на сторону своего народа. И не теоретически, а на деле. Рабочие научили меня многому, и больше я с ними не расставался...

— В Соппротивлении были не только рабочие, — кисло заметил Ривьер.

— Конечно, но вряд ли вы могли разобраться в этом, Ривьер, с тех заоблачных высей, на которых вы сражались. А для меня сущность Соппротивления — в верности нации!

Спор сразу обострился. Ривьер старался найти в Филиппе союзника, говорил о пражских событиях и коммунистической опасности. Однако Филипп молчал, предоставив Ривьеру выпутываться самому.

Шардэн гремел:

— А понимаете вы, Ривьер, что мы были на волосок от третьей мировой войны? Вы просто ищите способ безопасной игры с огнем!

Внезапно Филипп почувствовал себя уверенно.

— Не думаю, чтобы война разрешила наши насущные вопросы.

Ривьер озадаченно посмотрел на Филиппа, и его изуродованное лицо боксера приняло злое выражение.

— Вас испугала советская водородная бомба?

— Нет. Но я знаю, как мы потеряли Китай и Индокитай.

— И вы хотите, чтобы советский мир стал еще сильнее?

— Я хочу, чтобы сильнее стали мы. Когда я говорю «мы», я имею в виду Францию. И я говорю не о вооружении, а о внутреннем экономическом положении страны. Коммунизм всегда зарождался там, где ослабевал национальный капитализм. Или же там, где его насаждали иностранцы...

Говоря это, Филипп покосился на Шардэна и заметил мелькнувшую на губах адвоката топкую усмешку. Шардэн узнал язык Кадуса. Возможно, впрочем, он и сам когда-то так говорил.

Ривьер проворчал что-то насчет того, что политику труднее делать, нежели болтать о ней, и отошел к сенатору, проходившему мимо.

— А знаете, почему Ривьер позволил себе эту выходку? — покачивая свое длинное тело, спросил адвокат.

— Я вижу его впервые.

— Несколько дней назад мы вместе с ним подписывали протест против организации Европейской Армии. Я знал Ривьера. Он сделал только один шаг вместе с коммунистами и тут же испугался: что скажут его избиратели? А вдруг его соперник — кандидат МРП сыграет на этом?

Шардэн увел Филиппа в ту часть комнаты, где не было мебели. Он ходил взад и вперед

крупными шагами, и в желтом свете торшера его профиль напоминал чеканный профиль на медали. Казалось, его лицо состоит из острых углов и волевых выпуклостей. Филипп слушал, смотрел на него и думал о поколениях юристов и влиятельных советников — предках этого человека.

Теперь Шардэн говорил быстро, и его рубленая речь звучала патетически. Он говорил о том, что Ривьер чувствует давление воли народа. Однако, как только он начинает выполнять эту волю, его охватывает страх и он готов идти на попятную. Народа не следует бояться. Только его могучий подъем может спасти мир.

Филипп вдруг увидел некий моральный смысл в истории с Лавердоном. Тот упрямо держался за свое прошлое профессионального убийцы именно потому, что чувствовал все возрастающее давление со стороны народа. Его не реабилитировали, и поэтому он в ущерб себе отказывался ехать в Корею или Индокитай... Ощувив внезапную потребность в откровенности, Филипп принялся было объяснять это Шардэну, когда к ним подошла Кристиана.

— Вас обоих ждут играть в бридж.

— У вас чудесный изумруд, Крис, — сказал Шардэн.

Она покраснела, и Филипп увидел, что изумрудное кольцо надето поверх обручального, точно свадебный подарок.

— Это подарок Филиппа. Скажите, Жорж, а вы позволите нам чуточку побыть счастливыми? Дадите нам немного времени, прежде чем нас национализировать?

— Вы приписываете мне могущество, которого у меня нет, дорогая. Однако мое внимание сейчас занято другим. Мы работаем для мира, мы обеспечиваем его победу.

Если вы счастливы, это уже немало...

\* \* \*

Вечер мирно подходил к концу. Сенатор с супругой уехали. Они жили в Версале и не любили ложиться поздно. Кадус незаметно скрылся.

Внезапно, очень взволнованный, он вышел из маленькой двери, которая вела в его кабинет, и произнес во всеулышание:

— Есть новости из Женевы. Филипп, вам следует немедленно ехать туда. Господа, мы говорили сегодня об организации общества по изучению возможностей товарообмена с Востоком — боюсь, наш разговор становится беспредметным.

— Как? Конференция сорвана? — взволнованно спросил Шардэн.

— Нет, на это у Бидо не было полномочий. Но представьте себе, что теперь даже сделка с Хо Ши Мином может ускользнуть от нас. Пора, давно пора свергнуть это правительство...

Гости заторопились. Оставшись наедине с дочерью и зятем, Кадус немного успокоился.

— Я хотел напугать Ривьера. И все-таки, Филипп, вам надо туда поехать, надо показать, что вы не перетрусили. Дело в том, что вашего Гаво нашли дома убитым. Несгораемый шкаф разрезан автогеном. Тревогу поднял нижний жилец, к нему с потолка просочилась кровь. Поезжайте в Женеву и возьмите с собой Кристиану. Так вы скорее обратите на себя внимание.

— Родной мой, — медленно сказала Кристиана, — с этого дня я буду душеприказчиком твоего прошлого. Беру на себя наследие Гаво и буду нести его в горе и радости...

Мирейль Рувэйр продолжала жить в Париже. Растерянность чувств не помешала ей перебраться в отель более высокого класса, «Мексико», на бульваре Распай. В тот вечер Даниель явился к ней очень рано. При гостинице не было ресторана, и Даниель, заказав обед у трактирщика, велел принести его в номер Мирейль. Таким образом он привлек к себе внимание служащих гостиницы. Затем, как только стемнело, он вылез на пожарную лестницу, находившуюся рядом с окном, и по ней незамеченным спустился во двор.

Около десяти часов он заехал за специалистом в бар на площади Пигаль. Специалист оказался низеньким сидящим человечком в очках. В руках он держал футляр от скрипки. Человечек, по-видимому, был неудачником; старая оркестровая крыса, разочарованная и молчаливая. Увидев в машине Лиз, он скроил недовольную гримасу.

— Надеюсь, она останется внизу?

Вопрос прозвучал так уверенно, что Даниель не стал отрицать, что его намерение было именно таково. На улице Баллю царило полное спокойствие. Даниель распорядился поставить машину на углу, чтобы они могли скрыться без промедления. Втроем они вошли в подъезд и поднялись по лестнице. Максим, поднявшийся первым, внезапно побледнел и заявил, что слышит за дверью чей-то кашель. Там кто-то есть.

Даниель улыбнулся и позвонил. Раздались шаркающие шаги, и Даниель сделал товарищам знак, чтобы они прижались к стенке. Затем он наклонился к двери и тихо сказал: «Мазарг». Папаша Гаво повозился с засовами, и дверь приоткрылась. В то же мгновение Даниель ударил старика кастетом и подхватил тело, чтобы не было шума.

На лице специалиста мелькнула довольная улыбка, Даниель внес обмякшего Гаво в квартиру. Затем он провел остальных в смежную комнату и с помощью Максима связал старика и заткнул ему рот. Он поручил Максиму присмотреть за Гаво. Отдавая свой пистолет мальчишке, Даниель сказал ворчливо:

— Только попугаешь, понятно?

Комната, в которой находилось тайное бюро Бебе, была не заперта. Специалист внимательно осмотрел несгораемый шкаф и заявил, что десяти минут ему достаточно. Он принялся за работу.

Лишь теперь Даниель услышал тиканье бесчисленных часов. Это тиканье коллекции Гаво в ночной тишине напоминало погребальный стук костей. Даниель пожал плечами и принялся рыться в письменном столе Бебе. Все ящики были выдвинуты и пусты. Шкафчик с картотеками также. Неужели они пришли слишком поздно? Вспотевший специалист распрямился.

— В порядке. Секундочку...

Лязгнул металл, и дверца открылась. Но тут в соседней комнате раздался звук, заставивший их вздрогнуть.

— Черт побери! — буркнул специалист.

Несгораемый шкаф был пуст. Часы продолжали тикать. Даниель направил фонарь на дверь: на пороге стоял бледный Максим и громко стучал зубами. Свет фонаря упал на его руки, выпачканные в крови.

Даниель прыгнул и схватил юношу за горло.

— Что ты сделал?

— Он шевелился. Я его ударил!

— Чем?

— У меня был нож...

Даниель бросился в соседнюю комнату, специалист за ним. Старик лежал теперь на животе, в затылке у него торчала рукоятка кинжала. Это был маленький кинжал с широкой перекладиной, — любимое оружие парижских хулиганов. Даниель схватил валявшуюся на стуле тряпку, свернул ее жгутом, подцепил кинжал и осторожно вытащил лезвие. Он выпрямился и оглянулся, услышав, как кто-то мучительно икает. Максим стоял опустив голову, опершись о стену обеими руками. Его рвало. Даниель и специалист посмотрели друг на друга. Теперь придется ликвидировать этого дурачка, который своими грязными руками расписался на всех стенах.

— Только не здесь, — поспешно сказал Даниель.

— Зачем ты дал ему пистолет?

Даниель пожал плечами.

— Он был на предохранителе, откуда я мог знать...

На крючке висел поношенный плащ Гаво. Они завернули в него Максима и вывели, как пьяного, поддерживая с двух сторон.

Даниель высадил специалиста возле церкви Святой Троицы. Никто не сказал ни слова, кроме Даниеля, который объяснил свое дурное настроение, пробормотав:

— Все выгребли, свиньи...

Лиз такая информация не устраивала, и она обратилась к Максиму. Только теперь она заметила, что Максим дрожит, как лист.

— Что ты с ним сделал, Даниель?

— Ничего. Он сопляк, и сам это знает.

— Ты тоже это знал. Сам мне говорил.

— Оставишь ты нас в покое в конце концов?

Лиз замолкла. Она надеялась, что в этой вылазке будет нечто интересное, возбуждающее, а все оказалось очень скучным и скверным, как утро после невеселой попойки.

Даниель резко затормозил машину.

— Сходи, Лиз.

Лиз огляделась: улица была пустынна, и она впервые ощутила страх.

— Вылезай. Ты не заблудишься, Пале-Рояль в двух шагах. А ты, Максим, садись ко мне.

Лиз открыла дверцу и заколебалась.

— Сходи! Так будет лучше! — жестко повторил Даниель.

Она послушалась. Максим покорно сел впереди, рядом с Даниелем. Оказавшись на тротуаре, Лиз почувствовала угрызение совести и бросилась к машине. Стекла были подняты. Охваченная паническим ужасом, она закричала:

— Даниель, ты не посмеешь...

Машина сорвалась с места и умчалась, как смерч. Лиз медленно шла. Она понимала, что разрыв с Даниелем произошел, но ею все еще владел страх. Лиз решила вернуться в тот кабачок у Сен-Жермен-де-Пре, где она засела после того, как Даниель предложил ей участвовать в операции. Там она сможет дождаться конца ночи.

\* \* \*

Даниель давно уже наметил подходящее местечко. В Булонском лесу, по ту сторону каскада... Он посмотрел на Максима. Мальчишка был еле жив. Поскольку машину все равно было приказано бросить, Даниель решил ее использовать для инсценированного самоубийства. Все подумают, что Максим украл машину. А все, что можно было сделать на ней, естественно,

ляжет на его плечи...

— Ты знаешь, недоносок, что подписал себе смертный приговор?

— Знаю, — простонал Максим. — Я несчастливый, мне всегда не везет.

— Тебя сцапают непременно. И если тебя не укоротят на голову, ты получишь пожизненную каторгу. Всю жизнь просидишь в тюрьме.

Они замолчали, и молчание длилось бесконечно.

— Дайте мне сигарету, мсье Даниель.

Даниель замедлил ход машины и вытащил портсигар, который носил специально для друзей.

— Но спичек у меня нет. Я не курю.

— У меня есть, — пролепетал Максим.

Они выехали на площадь Этуаль, и Даниель свернул на авеню Дю-Буа.

— Вы меня ликвидируете, да?

— Нет, — сказал Даниель.

— Пожалуйста, я хочу покончить со всем.

— Нет, — повторил Даниель.

Он прибавил скорость. Машина мчалась по неосвещенной дороге. Даниель свернул на аллею, потом на другую.

— Пистолет у тебя?

— Да, мсье Даниель. Вернуть вам?

— Не надо!

— Ах, перестаньте фокусничать! Жизнь не стоит того. Только скорее, пожалуйста!

Даниель замедлил ход, соображая, где они находятся. Правильно, они неподалеку от Багатель. Если пойти Лоншанской аллеей, за двадцать минут можно дойти до Порт-Майо.

— Нет, тебе придется сделать это самому. Так будет чище.

— Мне самому? — растерянно сказал Максим.

Даниель остановил машину на площадке среди группы высоких деревьев.

— Подними правое стекло...

Даниель включил лампочку и внимательно осмотрел машину. Убедился, что ничего не оставил. Он пересел на заднее сиденье. Так он и думал, мальчишка не в себе.

— Дай мне пистолет.

Максим повиновался.

— Теперь садись к рулю.

Даниель подождал, пока Максим передвинулся влево.

— Протяни мне правую руку.

Максим дрожал, как лист. Даниель зажал пистолет в его пальцах и поднял на уровень виска. Он не торопился, необходимо все сделать чисто. Он держал кисть мальчишки рукой в перчатке и сквозь ее толстую кожу чувствовал мелкую дрожь этой кисти. Затем он быстро перевел предохранитель и нажал на спуск. Выстрел откинул его назад.

Максим упал лицом на руль и выронил пистолет. Даниель прижался ухом к его спине. Сердце не билось. Он осторожно вышел из машины. Кругом было тихо. Даниель не в первый раз организовывал такие самоубийства, и ни один судебный медик еще никогда ничего не заподозрил. Когда такой идиот чувствует, что приговорен и ничто ему не поможет, он чаще всего не сопротивляется и не мешает работать. Однако Даниелю впервые пришлось устраивать это в одиночку. Надо сказать, парень вел себя очень прилично. У этих бедняг душа отнюдь не приклепана к телу. Таково их поколение.

Было всего двенадцать часов, Даниель мог не торопиться. Из предосторожности возле

Порт-Майо он сел в метро.

Дом позади гостиницы на бульваре Распай уже спал. Даниель без помех пробрался через двор, поднялся по пожарной лестнице и влез в окно, которое Мирейль держала открытым.

Она дожидалась его в темноте, дрожащая, нетерпеливая. После его ухода никто не приходил, никто его не спрашивал. Оставшись одна, она громко говорила сама с собой, а потом очень рано погасила свет. Алиби было обеспечено. Только теперь Даниель подумал о том, что обо всем придется докладывать Лэнгару. Он вспомнил, что Лэнгар сам купил пистолет, из которого застрелился Максим.



Избегая встречаться глазами с Лиз, Алекс погрузился в раздумье. Он не собирался позировать, ему было больно смотреть на ту, что сидела перед ним. Она уже давно владела его мечтами. Теперь она сидела на его нищенском диване, на покрывале, багровые тона которого давно выцвели, приобретя грязно-желтый, охристый оттенок. Блеклость красок подчеркивала яркая широкая юбка Лиз, сшитая из шотландки смелых расцветок, с голубоватым отливом. Алекс столько мечтал о том, как Лиз будет сидеть на этом самом диване... В его мечтах так же спадали по плечам прямые, черные волосы, нежный, сероватый отблеск так же смягчал жесткость карих глаз. Он давно мечтал о ней и знал, что она недоступна. У нее был Максим... Максим и Даниель, как она со спокойным бесстыдством только что сказала ему. Он не понимал, чем вызвана такая откровенность — доверием или презрением?

Лиз пришла к нему прямо из полиции. В воскресенье утром явились шпики и забрали ее, она только что вернулась с какого-то пошлого кутежа. В бумажнике Максима нашли письмо, адресованное ей. Он никогда не послал бы его. Безудержное излияние запутавшегося мальчишки, в котором не было и капли бахвальства. Это была исповедь отчаявшегося. «Из нас двоих — ты лучшая... и я потерял тебя, потому что не сумел этого понять...» И, конечно, романтические фразы: «Я поставлю свою жизнь и сыграю ва-банк. Я попрошу тебя вернуться ко мне лишь тогда, когда смогу обеспечить тебе жизнь, достойную принцессы...»

А идиоты полицейские решили, что «сыграть ва-банк» — это ответ на рекламную викторину, которую проводила фирма, торгующая шампунем. Они со всего сдирали кожу, эти грубые дураки.

— «Еще раз упасть в бездну твоих объятий...» Ты понимаешь, Алекс, какие шуточки они отпускали...

Нет, Алекс ничего не понимал. Он сам чуть не плакал. Он любил Лиз и никогда не заставил бы ее страдать. Почему любовь всегда проходит мимо тех, кто умеет любить?

Воспоминания заставляли Лиз вздрагивать от стыда.

Ее продержали двадцать шесть часов. У нее было ощущение, точно ее выставили голой на площади. Пришлось рассказать, где она была прошлой ночью, а газетные репортеры подслушивали за дверями. Почему ее корили смертью Максима? Не она, а Лавердон был в ней повинен.

— Это ужасно, Алекс. Они хотели сделать из меня вдову Максима, преступную вдову. А меня его смерть не трогает. Мне жаль его, но никаких угрызений совести у меня нет...

— Лиз, маленькая... Ведь против тебя у сыщиков улики нет...

— Если бы не украденная машина, они заставили бы меня отвечать за самоубийство Максима. А так они сказали, что я несу только моральную ответственность.

— И это тебя так мучит...

— Ты можешь считать меня чудовищем, Алекс, но если бы Максим застрелился только из-за меня...

— Ты бы этим гордилась?

— Какой ты еще мальчишка... Я бы не гордилась, но я бы успокоилась. Я сказала ему, что не люблю его, и все... Но понимаешь, тут замешан... — она запнулась и выговорила с усилием: — Лавердон.

Алекс внимательно посмотрел на нее. У нее было такое измученное лицо, что ему безумно захотелось обнять ее. Но нет, он не воспользуется ее несчастьем. Он должен быть достойным того товарищеского доверия, которое она ему оказывает.

— Не потому, что я ушла от него к... Лавердону. И еще дело в том, что Даниель... Ну, словом, Лавердон довел его до самоубийства. Я в этом уверена.

— У тебя есть доказательства? — почти беззвучно спросил Алекс.

— Дан... Лавердон всегда издевался над ним.

— А что ты хотела сказать о Лавердоне?

— Никто не даст показаний против него.

Алекс чуть не сказал ей, что она может не стесняться и называть его Даниелем. Все же его робость оказалась сильнее ревности, и он промолчал. Только спросил ласково:

— Значит, ты хочешь, чтобы об этом узнали?

— Не могла же я продать его полиции. И потом, все равно это ничего бы не изменило. Но его я хочу проучить. Он подлец и негодяй.

— Давай посоветуемся с Дювернуа. Я говорил тебе о нем, это его посадили двадцать восьмого августа, в день демонстрации...

— Советоваться с коммунистом? Ну, нет!

— Он не член партии.

— Тем хуже, такие — самые опасные. Нет. Во-первых, я хочу остаться у тебя. Да, остаться насовсем. Не делай такого глупого лица. Неужели ты думаешь, что я ничего не понимаю? Сядь сюда, ко мне. Я не хочу возвращаться домой, там, наверное, полно репортеров. Вечером я позвоню матери, чтобы она не наделала каких-нибудь глупостей... В конце концов ты вполне заслужил... Ты всегда был со мной таким хорошим...

Она говорила так быстро, что Алекс половины не понял. Ошеломленный, он смотрел на улыбающуюся ему Лиз. Она взяла его за руку, и он вздрогнул, охваченный великим удивлением.

— Слушай, Лиз, этого не должно быть без любви.

— Ты старомоден и глуп. Ты прекрасно знаешь, что я не могу никого любить. Я — случай, которым надо пользоваться немедленно. Когда у тебя будет столько любовниц, сколько любовников было у меня, ты все поймешь. Сейчас мне тоскливо. И мне наплевать, что скажет этот твой духовник, все равно, коммунист он или нет...

— Я же говорю тебе, что он беспартийный.

Лиз невольно расхохоталась и тут же подумала, что рискует испугать Алекса и остаться одной. Она решила, что этот высокий парень, такой тихий и заботливый, станет верным рыцарем ее скорби. В глубине души он ей даже нравился. Конечно, отвязаться от него после будет нелегко, но сейчас он ей нужен.

— Я согласна поговорить с твоим Дювернуа, только ты должен привести его сюда.

Алекс не стал дожидаться повторения приказа. Перед тем как уйти, он остановился перед Лиз. Она сама поцеловала его и со смехом проводила до двери.

\* \* \*

Ему повезло. В тот вечер Дювернуа натаскивал какого-то ученика, и Алекс застал его в лицее. В парадном дворике Генриха IV Дювернуа героически пытался вдолбить важность математических функций пухлому и угреватому мальчонке лет шестнадцати.

Появление Алекса сорвало очередной ораторский эффект. Дювернуа неохотно прекратил объяснение, а двуногая морская свинка немедленно исчезла.

— Можно поговорить с вами, мсье Дювернуа? Насчет самоубийства. Вы, вероятно, читали: близ Багатель застрелился...

— Самоубийство... Вы же знаете, происшествий я не читаю.

— Да, но это Максим...

— А, ваш друг, который хотел разбить мне физиономию в день похорон Элюара... Он покончил с собой? Не может быть! Такой маленький крепыш с кукольным рыльцем...

— Он самый. Позавчера вечером он прострелил себе голову.

— Почему же? По-моему, жизнь дала ему все возможные удовольствия. Он вкусно ел, громко кричал... Любовная драма? Ну, нет, это на него не похоже.

Алекс объяснил, как мог, всю историю.

— А этот Лавердон, — спросил Дювернуа, — это не тот дарнановский милиционер, приговоренный к смерти, о котором вы мне говорили? Тот самый? Да не может быть!

— Может. Это он и есть. А девушка ждет вас... у меня...

— Вы меня проводите?

Алекс, с самого начала стремившийся к такому исходу, вздохнул с облегчением. Дювернуа, который был близорук, поправил очки и внимательно посмотрел на него.

— Значит, в центре дела Лавердон... Да, не может быть...

Он уже не спрашивал. Алекс задумчиво покачал головой. Он больше всего боялся, что Дювернуа передумает. Он решил немедленно взять такси на стоянке улицы Суффло. Однако перед зданием юридического факультета их обогнал старенький таксомотор. Алекс неловко остановил его и без церемоний втолкнул туда Дювернуа, все еще задумчиво повторявшего имя Лавердона.

\* \* \*

Перед роскошным домом на улице Помп Дювернуа не мог сдержаться и восторженно присвистнул. Алекс молча провел его служебным входом и открыл дверцу грузового лифта, пол которого был покрыт мусором. Лифт поднял их на седьмой этаж, и они стали карабкаться по горбатым лесенкам, ведущим в мансарды восьмого. Бетонные стены даже не были оштукатурены, двери закрывались кое-как, одна стена, еще не достроенная, была уже испачкана и ободрана. Все говорило о полнейшем презрении к неимущим жильцам, которые здесь прозябали.

— Комнаты для прислуги, — проворчал Дювернуа.

— Я рад, что разыскал эту скворешню. По крайней мере недорого — всего четыре тысячи в месяц...

Алекс отпер дверь и остановился на пороге, разинув рот. Комната неузнаваемо изменилась. Лиз передвинула всю мебель, закрыла чем-то клетчатый выцветшее покрывало, завесила ярким платком пятна сырости на стене. Все было чисто прибрано. Сама Лиз, укутанная в халат Алекса, читала, сидя в большом кресле, и, видимо, чувствовала себя как дома.

Она встала, неторопливо поцеловала Алекса и важно протянула руку Дювернуа. Алекс не сразу заметил, что она называет его «мой милый», а заметив, густо покраснел.

С той же невозмутимостью Лиз изложила факты. Газеты уже вдоволь покопались в ее связи с покойным Максимом, и Лиз не собиралась ее скрывать. Знакомство с Лавердоном она назвала неудачным, однако, по ее словам, оно носило весьма мимолетный характер.

— Он большой мерзавец, этот Лавердон, — задумчиво сказал Дювернуа, когда Лиз замолчала, — И вы правильно сделали, что не упомянули о нем в полиции. Полиция здесь ничего не сделает. Они выпустили его из тюрьмы не для того, чтобы сажать снова. Если я вас правильно понял, пистолет, из которого застрелился ваш... друг, принадлежал Лавердону. Можете быть уверены, что полиции это отлично известно.

— Я абсолютно ничего не понимаю, — сказал Алекс.

Дювернуа засмеялся, и Лиз, не желая от него отставать, засмеялась тоже.

— Итак, мадемуазель, — сказал Дювернуа, — вы хотите, чтобы доброе имя вашего покойного друга было восстановлено. Пусть думают, что он застрелился из-за несчастной любви...

Лиз горько усмехнулась.

— Ничего не получится! Родители Максима не будут молчать, и они найдут поддержку, можете не сомневаться...

Дювернуа поднял очки на лоб, как всегда, когда сталкивался с чем-то непонятным. Лиз повторила:

— Лавердона надо проучить. Смерть Максима лежит на его совести...

— И не только смерть Максима, раз он был дарнановцем, — поправил ее Дювернуа.

— Что же, по-вашему, следует делать?

— То есть что следовало сделать раньше? Когда он был приговорен к смерти, надо было привести приговор в исполнение. Уж таков мир, в котором мы живем. К восемнадцати-двадцати годам из Лавердона сделали чудовище. Режим, существовавший тогда во Франции и Германии, изготавливал таких чудовищ тысячами, вы это знаете. Вы еще молоды, чтобы понять это, но меня они арестовывали дважды, и я насмотрелся... Тюрьмой их не исправишь, скорее даже наоборот...

— Значит, вы хотите его убить, — сказала Лиз. — Согласна. Я прилично стреляю.

Дювернуа вытаращил глаза, но тут же опять заговорил своим преподавательским тоном:

— Вы хотите убить его? Да не может быть...

— Почему же, мсье? Вы сами предлагаете мне решение, и я с вами согласна. Он это заслужил, Максим был хороший парень. И потом Лавердон мне доверяет и устроить все можно очень просто.

— Нет, мадемуазель. Можете обозвать его мерзавцем или канальей, если это доставит вам удовольствие. Но видите ли — только не смейтесь надо мной, пожалуйста, — это политическое дело.

— Ах да, — поджав губы, протянула Лиз. — Я и забыла, что вы коммунист.

— Коммунисты, которых я знаю, расхохотались бы, если бы услышали вас. Я просто хочу сказать, что судьба Лавердона имеет общественное значение. Как, впрочем, и все это дело.

Наступило тяжелое молчание. Наконец Лиз сказала сквозь зубы:

— Вы думаете, я девчонка из богатой семьи, испорченная и беспутная. Это я знаю без вас. Только я в этом не виновата. Приходится жить такой, какая я есть, Я повторяю свое предложение: я согласна его убить. Если меня поймают, я скажу, что хотела убить из ревности.

Дювернуа невольно рассмеялся. На душе у него было тяжело, он чувствовал себя беспомощным.

— Читали вы Достоевского, мадемуазель?

— Разумеется.

— А «Карамазовых»? Помните вопрос, который Иван Карамазов задает Алеше? «Замучил бы ты ребенка, если бы это было необходимо для счастья человечества?»

— Да, помню, — сказала Лиз. — И помню ответ: «Да, но при условии, что ребенком этим буду я»; но при чем здесь Лавердон?

— Ни при чем. Я подумал о вашем имени. Помните невесту Алеши Карамазова? Ее звали Лизой. Извините меня за такое сопоставление. Я не хочу, чтобы вы замучили себя. Я не хочу, чтобы вы замучили Лавердона. Его-то, конечно, ребенок не смутил бы, а о счастье человечества он бы и не подумал. Нет, я хотел сказать вам другое. Я читал также русскую книгу, написанную

во время последней войны. Там вопрос поставлен по-иному и поставлен правильно: «Если вы называете себя людьми, готовы ли вы пойти на смерть, чтобы спасти ребенка от мучений?»

— Я вас не понимаю, — сказала Лиз.

— Вы ставите вопрос по Достоевскому. А здесь решения нет и быть не может. Алекс рассказывал мне о Лавердоне. Если бы мне довелось судить его после Освобождения, я приговорил бы его к смерти. Многие молодые люди стали чудовищами, и что мы могли сделать, чтобы их перевоспитать? Эти палачи и пыточных дел мастера потеряли человеческий облик. И вот после смехотворной кары он на свободе. Убивать его бесполезно. Бесполезно для вас и бесполезно для других. Будет одним Лавердоном меньше, только и всего. Его дело продолжат другие, и с еще большей свирепостью, еще большей злобой. Сейчас в роли замученного ребенка выступаете вы. Вас арестовали, допрашивали. Да вы и сами мучите себя мыслями о том, что смерть Максима на вашей совести. Ведь вы бросили его ради Лавердона...

— Я и познакомила его с Лавердоном.

— И вы еще не понимаете, почему я говорю о замученном ребенке?

Лиз неподвижно смотрела в пространство, удивленная и подавленная внезапной горячностью Дювернуа. Почему-то она подумала о подростке, которого застрелил Франсис в бревенчатой хижине, во Вьетнаме. Алекс подошел ближе, словно собираясь ее обнять. Алекс знал Дювернуа и знал эти неожиданные вспышки. Он всегда вспыхивал, когда сталкивался с темными сторонами жизни.

Дювернуа взял Лиз за руку.

— Не надо так храбриться!

Он увидел слезы в глазах девушки и поднял очки на лоб, чтобы спокойно подумать. Так он отключал себя от этого сложного и шумного мира. Черт возьми, он был занят собой и не понял главного: и сейчас эта несчастная девочка находится во власти Лавердона. Не то чтобы он непосредственно угрожал, нет. Он терроризировал ее их прошлой связью, самым фактом своего существования. Она никогда не признается в этом, а следовательно, никогда не освободится, не пойдет дальше пустого бахвальства... А может быть, она и в самом деле попытается убить Лавердона? Детки пятидесятых годов способны на любые фокусы. Пожалуй, единственное, что он может, — это проводить ее к Лавердону и направить их объяснение. Возможно, она поймет. Это надо сделать хотя бы ради Алекса, который не создан для подобных приключений...

Дювернуа обдумывал, как бы ему внести свое предложение. Он посмотрел вокруг и увидел на лице Алекса такое страдание, что последние его сомнения рассеялись.

— Я охотно пойду с вами к Лавердону...

Еще не успев договорить, он пожалел о своих словах. Брови девушки поднялись так изумленно, что он сразу почувствовал себя смешным и нелепым. Он был уже не молод. Годы и работа сделали его похожим на мелкого служащего, типичного неудачника, как иногда он мысленно называл себя. Он бедный преподаватель, даже без ученой степени. Сначала ему помешала война, а потом не хватило характера.

Лиз сильно побледнела. Она выпрямилась, и черты ее лица стали еще резче.

— Я не хочу, чтобы вы шли туда!

— Как хотите, мадемуазель!

Взбешенный Дювернуа бросился к дверям, но Алекс удержал его:

— Не уходите, умоляю вас. Лиз считает, что она одна в целом мире, что помощи ей быть не может...

— Молчи, Алекс, ты сам не знаешь, что говоришь!

Дювернуа опустил очки на глаза.

— У вас нет друзей, мадемуазель, потому что вы сами не хотите их иметь.

— А что толку от друзей, которые ничего не понимают?

— Я все время сталкиваюсь с молодежью. Многие недовольны своей жизнью не меньше вашего, но они не мирятся с ней, они пытаются бороться...

— А где мне их взять, таких людей? Вы представляете меня рядом с кем-нибудь из ваших молодых друзей-коммунистов? Они сразу обзовут меня сен-жерменской шлюхой и будут по-своему правы.

— И вы серьезно думаете, что я могу так сказать? — мягко спросил Дювернуа.

— Нет, но ведь вы и не коммунист!

— И, кроме того, не молодой, — невольно улыбнулся Дювернуа, и его улыбка словно передалась девушке. Теперь Лиз боялась только одного: что Лавердон будет хвастать перед Дювернуа их связью. Она подумала об отце. Лиз презирала людей и сторонилась их. Ей казалось, что по ее лицу они смогут догадаться о ее презрении. Понимает ли это Дювернуа?

А в Дювернуа проснулся педагог. Он смотрел теперь на Лиз как на напроказившего школьника, и это придало ему уверенности в себе.

— Вам всего двадцать лет, Лиз. Вы могли бы быть мне дочерью, а говорите так, будто жизнь уже прожита и позади у вас нет ровно ничего, кроме нескольких щенячьих глупостей. Если вы замкнетесь в своем отворачивании к людям, вы действительно станете одинокой и злой. А если будете бороться с собой и с теми, кто внушил вам, что вы безнадежны, — все будет в ваших руках. Разумеется, вам придется нелегко. Но посмотрите внимательно: вам кажется, что вас оскорбляют? А ведь именно вы бросаетесь оскорблениями и попадаете в себя... По-моему, никто вас не обижал, если не считать полиции. Вы сами мучите себя больше, чем смог бы вас измучить какой-нибудь Лавердон, и даже мне вы не доверяете... Кстати, может ли Лавердон взвалить на вас больше того, что вы мне рассказали? Поверьте мне, Лиз, зло не внутри вас, оно разлито во всем прекрасном мире, в котором мы живем. А внутри вас сидит ваш враг, который вас мучит. Он замуровал вас в стенах стыда и отворачивания и хочет, чтобы вы к ним привыкли...

— А если теперь я попрошу вас пойти туда со мной?

— Я подумаю, что вы меня поняли. Это лучше, чем если бы вы согласились сразу. Теперь вам многое ясно и вы чуточку облегчили душу.

— И вы сможете уважать меня?

Дювернуа приподнял очки и сразу же опустил их.

— Вы отлично знаете, что смогу. Важно, чтобы я мог вас уважать и через месяц и через год. Я вам доверяю не меньше...

— Я не думала... Я...

Лиз не знала, как закончить фразу. Волнуясь, она взглянула на Алекса и заставила себя улыбнуться.

— Слушайте, мсье Дювернуа. Вы должны знать, что позавчера вечером Лавердон организовал одну экспедицию, нечто вроде налета...

— Налета? Да не может этого...

Глаза Лиз широко раскрылись, и Дювернуа понял, что повторил свое любимое «не может быть». Он знал, что лицеисты между собой так и зовут его — Папаша не может быть. Неужели он никогда не отделается от этой дурацкой привычки? Он заговорил строго, точно пресекая в зародыше назревающий в классе скандал:

— Налет? Что вы хотите этим сказать? Объясните.

— Именно налет. И это вполне может быть, — насмешливо подчеркнула Лиз, — был налет, и Максим в нем участвовал. Хотели ограбить одного ростовщика... только из этого ничего не вышло.

— Да не может этого...

Лиз не сдержала нервного смеха.

— Лучше уж я сама расскажу вам все по порядку.

Она рассказывала, не щадя себя, не назвала только места, где они действовали. Она описала допрос, которому ее подвергли утром в полиции, и даже ужасную сцену с отцом Максима. Папаша оказался роскошным типом, безукоризненно одетым, похожим на крупного, преуспевающего коммерсанта. По всей вероятности, он — член МРП и на «ты» с министрами. Он обещал Лиз перевернуть все вверх дном, но добиться ее привлечения к ответственности.

— Понимаете, смерть единственного сына его почти не тронула. Мне даже казалось, что он вот-вот потребует с меня возмещения убытков. Тогда я взбесилась и напомнила ему про карточный долг и кое-что еще. К счастью, насчет налета полиция ничего не знала... Бедный Максим, его папаша ничем не лучше моей матери. Теперь его называют «самоубийцей Багатель»,<sup>[7]</sup> издеваются и над мертвым...

— «Пустяки для убийства», — проворчал Дювернуа. — Но, когда имеешь дело с Лавердоном, от одного до другого рукой подать...

— Как вы сказали? — спросила Лиз.

— Да, да, вы еще девочка, — сказал Дювернуа. — Когда вы разговариваете, вы кажетесь десятью годами старше. «Пустяки для убийства» — это мерзкий роман, в котором весь мир рассматривается с точки зрения Лавердонов...

Дювернуа озабоченно нахмурился. Лавердон был враг. Надо было по меньшей мере помешать ему истязать этих двух детей. Он повторил свое предложение.

— Ладно, — сказала Лиз, — только вам придется выйти, пока я оденусь, — она кивнула на юбку, разложенную на диване.

Алекс покраснел и выгасил Дювернуа в коридор.

\* \* \*

Они вышли на улицу под вопли продавцов газет, продававших свежий вечерний выпуск. Дювернуа испугался за Лиз — ее фото мелькало на всех первых страницах. Однако девушка оставалась до странности спокойной. Она шла под руку с Алексом и впервые казалась непорочной. Дювернуа хотел взять такси, но у Лиз уже был готов свой план: купить темные очки, а затем позвонить Лавердону из какого-нибудь кафе и вызвать его на свидание.

Эта программа была выполнена без отклонений. Они уселись на террасе кафе на площади Виктора Гюго, затем Лиз ушла к телефону. Через несколько минут она вернулась, бледнее обычного.

— Знаете, где теперь живет Лавердон? У моей матери!

— Да не может быть!

На этот раз засмеялись все трое.

— Я пойду туда одна.

— С одним условием, Лиз, — если у вас нет оружия.

Она посмотрела в светлые глаза Дювернуа, увеличенные стеклами сильных очков, и сказала:

— По существу, вы оба ничем не можете мне помочь.

Увидев, как заволновался Алекс, она ласково взяла его за руку.

— Милый, я говорю только о прошлом...

— Я пойду с тобой, — сказал Алекс, словно решив трудную задачу.

— Это из-за мамы, — пояснила Лиз, обращаясь к Дювернуа.

— Потому что он живет у нее?

— Он живет с ней.

— Да не может...

Дювернуа подавленно замолчал. Опять он, как дурак, повторил свою поговорку. Эта девчурка просто сбивает его с ног, он чувствует себя балансирующим на краю пропасти. Дювернуа с трудом овладел собой.

— Это невозможно, Лиз, потому что Лавердоны думают, что им все дозволено. Если я вам нужен — располагайте мной.

На Лиз были темно-зеленые очки в тонкой золотой оправе. В них она не выглядела больше озорной девчонкой. Скорбная и бледная, она напоминала теперь тоскующую кинозвезду.

— Я рада, что вы пойдете со мной. Только я вас не понимаю. Вы говорите, что Лавердон совершенно уверен, что ему все дозволено?

— Да, но я не думаю, что так должно быть.

— Почему же вы не хотите, чтобы я его убила?..

— Потому что это ничего не решает.

— Но вы тоже допускаете, что будет война. Водородная бомба всех нас обрекает на гибель, и было бы справедливо, чтобы прежде нам было дозволено многое. Я, например, так и не начала жить.

— Наверно, это так, Лиз, но нельзя, чтобы была война. Это касается и вас тоже.

— А что я должна делать со своей жизнью?

— Жить. Подумайте, Лиз. Вы не захотите предпринять ничего такого, что заставит страдать Алекса. И для вас тоже так лучше. Сделайте еще шаг вперед. Подчините свою жизнь тому, чтобы войны не было.

— Но почему мне нельзя убить Лавердона?

— Не надо. Вы напрасно погубите себя. Ребенок по Достоевскому — это не он. Это вы, и вы сами себя замучите без всякой пользы.

В одной из огромных витрин кафе Лиз удалось увидеть свое отражение, и она перестала спорить с Дювернуа.

На шее у нее все еще было тонкое золотое ожерелье, подаренное Даниелем. Она вскочила, точно пойманная на месте преступления.

— Хорошо, я пойду позвоню туда.

\* \* \*

Дювернуа еще не знал, как он будет выходить из положения. Вращающаяся дверь отеля «Мексико» прижала к нему Лиз. Она опять приняла тот решительный, даже наглый вид, который так охотно на себя напускала.

Темные очки полумаской закрывали всю верхнюю часть лица, но очертания рта стали заметно тверже.

И еще что-то изменилось в ее наружности, как будто бы шея стала длиннее? Да, ведь на Лиз было ожерелье... Дювернуа чуть было не сказал ей об этом, но своевременно удержался, поняв, что потерять его она не могла.

Портье разговаривал с ними весьма сухо:

— Мсье Лавердон вышел и вернется не раньше ночи, если вернется вообще...

Мадам Рувэйр также нет дома. Ох, уж эти журналиста...

Лиз вывела своих спутников на улицу.



— Значит, мама подумала часок-другой и испугалась...

Они бестолково топтались на тротуаре бульвара Распай. В их плане было лишь одно слабое звено, но зато существенное. Лавердон вообще мог исчезнуть... Быть может, сама мадам Рувэйр предупредила его... Лиз думала о другом, но, заметив беспокойство своих спутников, сообщила, что это мало похоже на Лавердона. Вдруг она сделала резкое движение.

— Подождите!

Дювернуа проследил за ее взглядом и увидел, что немного выше по бульвару Распай остановилось такси. Долговязый детина в светлом вылез из машины и стал расплачиваться с шофером.

— Это он! — шепнул Алекс.

Лиз двинулась к Даниелю; Дювернуа почувствовал на спине неприятный холодок. Лавердон подошел к ним.

— Ого, целая делегация... Ты делаешь успехи, детка. Это, я полагаю, оскорбленный отец семейства, — он кивнул на Дювернуа, — а это — верный рыцарь...

— Может быть, мы поднимемся в вашу комнату и поговорим там? — спокойно спросил Дювернуа. Минуту назад он не считал себя способным говорить так хладнокровно.

— Зачем? Я не боюсь гласности!

— Как вам угодно.

— Вы пришли меня шантажировать? Со мной это не пройдет!

— Не забывайте, что я не вашего круга, мсье Лавердон. Погиб молодой человек. У нас есть основания думать, что вы к этому причастны.

— Я не знаюсь с маменькиными сынками.

— Почему же тогда Максим... — Дювернуа напряженно вспоминал его фамилию, но так и не вспомнил, — ...почему Максим застрелился из пистолета, принадлежащего вам?

— Ах, она проболталась, эта стерва! — Лавердон шагнул к Лиз.

— Вы не отвечаете на мой вопрос? — спросил Дювернуа.

— Убирайтесь вон отсюда, да побыстрее, а то я вам помогу!

— Только не пугайте меня. В свое время мне приходилось командовать карательными отрядами, и под расстрелом господя вроде вас вели себя скромнее. Многие умирали совсем некрасиво. Я знаю, о чем говорю, меня самого арестовали ваши коллеги в Лионе, в сорок четвертом...

— Вы прохвост!

— Зря вы так нервничаете, Лавердон. Мне просто интересно узнать, до каких пределов может дойти ваша подлость...

— Вот до каких!..

Даниель вложил в удар правой руки всю тяжесть своего тела. Надо сломать этой очкастой каналье ее плохо выбритую челюсть! Он ожидал чего угодно, но только не того, что произошло: встречный удар ребром ладони по предплечью почти совпал с ударом ногой в правую голень. Даниель рухнул на колени, и Дювернуа отпустил ему на закуску пару оглушительных пощечин. Он был счастлив, что смог применить с таким успехом познания по дзю-до, приобретенные в спортивной школе. Эта школа пользовалась в университете большой популярностью.

Даниель поднялся и бросился на Дювернуа, как взбесившийся бык. Дювернуа упал, но успел выбросить вперед ноги и подбить Лавердона. Они покатались клубком, нанося друг другу удары.

Когда они поднялись, вокруг стояли полицейские и, посмеиваясь, ждали окончания потасовки. Лиз и Алекс исчезли, и Дювернуа облегченно вздохнул: он боялся, что девушка будет замешана в этом скандале.

Через час Дювернуа вышел из полицейского комиссариата. Его переводили в тюрьму предварительного заключения. Он знал, что завтра предстанет перед мировым судьей по обвинению в нарушении общественного порядка, нанесении побоев и ранений. Дювернуа отказался подать жалобу на Лавердона. Зато Лавердон орал во все горло, что его жизнь постоянно подвергается опасности. Комиссар встал на его сторону. Правда, сначала он позвонил в особый отдел Сюрте и получил оттуда справку: обвиняемый Дювернуа и впрямь был весьма подозрительным и опасным субъектом.

Даниель ни слова не сказал Мирейль о потасовке. Служащие отеля также оказались не болтливыми, чем весьма порадовали Даниеля. Все трое — Лиз, очкастый и дылда Алекс — остались в его памяти как выразительный набор интеллигентной сволочи. Вот такие мерзавцы выбрались наверх, они командуют с тех пор, как произошло бедствие, которое эти свиньи нахально называют «освобождением». И этот паршивый преподавательишка, который хвастался тем, что командовал расстреливавшими отрядами! Этакое дерьмо — офицер? Эти мысли навели Даниеля на правильный путь. И он отправился на поиски Лэнгара.

Он смутно надеялся получить новые известия об американской интервенции в Индокитае. Это было ему просто необходимо, может, тогда будет легче думать о неприятностях, омрачавших его жизнь. При последней встрече Лэнгар сулил ему интересные задания, настоящие, крупные дела. По сравнению с ними сведение счетов с Гаво казалось сущей мелочью, не заслуживающей внимания. И все-таки, занимаясь Гаво, Даниель не думал о войне, не думал ни о чем постороннем. Зато теперь, когда он вновь бездействует... К его великому удивлению, Лэнгар начисто забыл их разговор. Он внимательно выслушал отчет Даниеля о проделанной работе и погрузился в размышления. Даниель прервал их вопросом:

— Что нового в Дьен-Бьен-Фу?

— В лучшем случае мы получим там жуткую трепку. Дело идет к концу.

— Вот как, — сказал Даниель.

— Да, трусили все: и Бидо, и американцы... Ладно, не это главное. Мне не нравится твоя история, теперь она может дурно запахнуть. Ты видел газеты? Они очень осторожно пишут о Гаво. Но боюсь, что это ненадолго. Ревельон зашевелится, и тогда...

Лэнгар, как обычно, щелкнул пальцами.

— Тебе надо сейчас же взять жалобу обратно.

— Но он же коммунист!..

— Еще не пришло время стирать это грязное белье публично. Посмотри лучше, как издевательски держится Бебе. На следующий день после несчастья с Гаво он преспокойно отправился в Женеву...

Лэнгар вытащил из бумажника пачку измятых бумажонок и разгладил их перед Лавердоном. Это были газетные вырезки, в большинстве своем несущественные. Впрочем, в «Юманите» была напечатана короткая заметка за подписью «Корреспондент», Лэнгар придавал ей большое значение. В заметке сообщалось, как некий преподаватель и борец за мир подвергся нападению. Нападавший оказался бывшим дарнановским милиционером — некий Даниель Лавердон, после Освобождения приговоренный к смерти, но помилованный. Несмотря на это, полиция арестовала не его, а преподавателя.

— «Этот скандал, — говорилось в заметке, — следует отнести за счет тех, кто сколачивает Европейскую Армию. Им нужны Лавердоны. Инцидент особенно возмутителен еще и потому, что экс-милиционер, по-видимому, серьезно замешан в темном деле, произошедшем в парке Багатель, стоившем жизни юному Максиму С\*\*\*».

Удар исходил от Лиз, это было ясно. Но она, разумеется, будет отпираться, а доказательств у Даниеля не было... Лэнгар с ним согласился. Очкастого судили только за нарушение общественного спокойствия, и он отделался штрафом. Все говорили Даниелю, что очкастый — сукин сын, но на суде он держал себя вполне достойно. Он заявил, что драка возникла исключительно из-за политических разногласий, и стоял на этом до конца.

В пятницу Даниель проснулся очень рано от охватившей его мучительной тревоги. Бебе никак не реагировал на убийство Гаво. Шпики не занялись ни поисками пистолета, ни отпечатками пальцев, оставленными Максимом на стене. Решительно, Лэнгар был слишком доверчив и слушаться его не стоило. Рядом с Даниелем мирно похрапывала Мирейль. Как и всегда по утрам, лицо ее было утомленным и старым. Разве мог Даниель наладить свою жизнь, если его со всех сторон облепила разная пакость? Эта подлая толпа рвачей зубами вцепилась в свои привилегии, но достаточно было ему рассказать хотя бы десятую часть из того, что он пережил, и они набросились бы на него все сразу... Что делать?.. Предать, как Бебе? Или просто послать все к черту? Или, наконец, послушаться Рагесса и идти работать к шпикам? Вот если бы где-нибудь завязалась война. Хорошая, чистая война, вроде той, которую обещал ему Лэнгар. Конечно, жаль, что в свое время он отказался от Кореи. Правда, теперь это уже не имело значения, раз красным удалось добиться прекращения военных действий. Видимо, то же самое произойдет и в Индокитае, если им вовремя не помешать. Нет, нужна чистая, откровенная война. Против русских или этих китайцев. Пока они существуют, разная сволочь не угомонится. Здесь его размышления были прерваны стуком в дверь: «Откройте, полиция!»

На этот раз легавые были с ним чрезвычайно вежливы. «Простая проверка». Они были так любезны, что даже Мирейль держалась более или менее прилично.

Его привезли в то же отделение, в котором он был в прошлый раз. Даниель напряженно пытался уловить хоть какой-нибудь намек на то, откуда исходил удар. С ним были чрезвычайно предупредительны. На столе лежали газеты. Входя, шпики здоровались с ним.

Вскоре все прояснилось. После заметки в «Юманите» полиция решила притвориться, будто только что узнала, что пистолет, убивший Максима, принадлежал Даниелю.

Даниель успел подготовиться к самозащите. Действительно, он был знаком с Максимом, но знал его очень мало. Юноша интересовался огнестрельным оружием и как-то спросил его: «Нет ли у вас пистолета?» У него как раз был пистолет, приобретенный в целях личной безопасности, которая все время находится под угрозой. Он вынул пистолет и показал его Максиму. Примерно неделю назад он перебирал свои вещи, и пистолета среди них не оказалось. Но так как недавно он ездил в деревню, то подумал, что, возможно, забыл пистолет там. Поэтому он и не был обеспокоен пропажей.

Шпики приняли это объяснение без возражений, и Даниель решил, что все в порядке, что он выкрутился и на этот раз. Но его попросили пройти в другую комнату, сказав, что с ним хочет поговорить начальник. Здесь никаких газет не было. У всех дверей стояли легавые, и Даниель почувствовал, что дело оборачивается скверно. «Это были только цветочки, — подумал он, — а ягодки впереди...»

Его заставили проторчать там довольно долго. Внезапно в комнате появился Рагесс и понимающе кивнул Даниелю. Впрочем, вид у него был вполне официальный, у этого добродушного толстяка, полнокровного, способного на сочувствие. «Поймите, мое служебное положение...» — казалось, говорил он.

— Долго меня будут здесь мариновать? — спросил Даниель.

В зеленоватых глазках Рагесса появилось выражение холодной злобы.

— Если бы не весь твой прошлый багаж — два или три месяца. А вот то, что пистолет твой, — неприятная штука. С другой стороны, если у человека столько врагов...

Рагесс замолчал, увидев другого шпика, проходившего к начальнику. Шпик сделал вид, что ищет что-то в столе. Когда Рагесс вышел, он быстро приблизился, и Даниель узнал в нем беззубого Фернанделя.

— Твой арест подстроил Бебе. Будь осторожен с Рагессом.

И он мгновенно исчез.

Открылась дверь, и Даниель оказался перед комиссаром.

— Я так и знал, что снова увижу тебя, сынок.

Даниель не дрогнул. Комиссар спокойно уселся за свой письменный стол. Церемониал повторился. Комиссар по-прежнему объяснялся на блатном языке. Даниель знал теперь, что Лэнгар с ним, а Бебе — против. Роли переменились, вот и все.

— Итак, мой мальчик, из тебя теперь можно веревки вить. Хранение боевого оружия без разрешения. И, видимо, торговля оружием тоже. А следовательно, и сообщничество во всем, что эти балбесы натворили твоим пистолетом. Меньше шести месяцев ты не получишь.

Даниель продолжал держаться с изысканной небрежностью.

— Ты, конечно, думаешь, что шесть месяцев — это сплошное удовольствие. Но поразмысли хорошенько над тем, что ты будешь сидеть, а Матье Фонтвилль Мертвая Голова, предстанет перед судом присяжных. Ты воображаешь, как это им понравится?

Даниель безразлично махнул рукой.

— Мсье, конечно, подумывает о самоубийстве. Для него дело пахнет Печальным подъемом, Бритвой господина Дейблера.<sup>[8]</sup> Ты понимаешь, какой вой поднимут коммунисты? Бывший дарнановский милиционер, приговоренный к смерти, убийца и развратитель молодежи. Тебя почтят специальной передовицей в «Юманите». И, если хоть один присяжный ответит «нет» на вопрос суда, я куплю тебе машину, когда ты выйдешь из Центральной в 1970 году!.. Ну, скажи же что-нибудь, чертов кретин!

— Вы теряете время. Разговоры на меня не действуют.

Комиссар пожал плечами.

— Ну, конечно, ты ведь молодчина. Если тебе нужен патент на это звание, я тебе его даю. Меня тоже, если хочешь знать, вычистили после Освобождения. Но ненадолго, потому что я быстро научился понимать эту музыку. А ты никак не можешь запомнить мотив, который дудят тебе в уши. Тебе не следовало трогать Ревельона. Понимаешь? Он выжал тебя, как лимон, этот твой дружок. Так же как выжали тебя те, кто заправлял во время твоей первой истории. И все-таки ты напрасно брыкался. Вот и все. Что ты сейчас собираешься делать? Ясно, у тебя, как и у каждого, есть свои мечты. Но милиция будет восстановлена не завтра, а до тех пор надо дожить. Когда я в прошлый раз предлагал тебе Индокитай, я совсем забыл о Ревельоне.

Даниель сделал протестующий жест.

— Хватит ерундить. Пойми, что я заинтересован в тебе. Ребят, вроде тебя, мы должны беречь. Мы им не дадим делать глупости и губить себя. Я предлагаю вот что: поскольку совсем замять дело твоих пижонов не удастся, выполни для нас одно поручение. Ты уедешь, и, когда адвокаты Матье вцепятся в твое имя, никто тебя не найдет. Вступление в армию имеет свои преимущества. С героем Дьен-Бьен-Фу ничего не сделаешь...

Зазвонил телефон. Даниель услышал, как комиссар отвечает «да-да» то с удивлением, то с досадой, а затем сказал: «Ну, ладно», — и разговор закончился. Даниель решил не соглашаться на предложение: он верил в Лэнгара.

— Какого черта ты молчал? — ругался комиссар. — Почему ты не сказал сразу, что у тебя есть разрешение на оружие?

Даниель невозмутимо молчал.

— Ты свободен и можешь поступать, как знаешь. У тебя сильные, даже очень сильные дружки. Они сидят высоко. И все-таки — сматывайся! Я думаю, они дадут тебе такой же совет...

Рагесс вывел Даниеля в первую комнату.

Через четверть часа он будет свободен. Даниель опустился на жесткую скамью и стал ждать.

Еще не кончилась короткая апрельская ночь. В камеру к Даниелю вошли два полицейских инспектора, грязный лакей из соседнего кабака принес большую кружку кофе, скорее похожего на помои, и Даниель выпил его одним глотком. Глаза его опухли от сна, он дрожал от холода в своем светлом габардиновом плаще. Его посадили в черную, запотевшую, как оконное стекло, машину, которая быстро выехала из двора префектуры.

Первый луч червонного золота упал на башни собора Нотр-Дам. Легкое облачко тумана висело над Сенной. Париж еще спал. Возле перекрестка Пон-Мари шофер чуть не раздавил хромого. На башне Лионского вокзала заиграло восходящее солнце. Часы на башне показывали половину пятого. Даниель вздрогнул.

— Не бойся, палача тут нет! — грубо засмеялся шпик, сидевший рядом с шофером. Он зажег крученую итальянскую сигару и сразу прокоптил всю машину.

— Ты, говорят, чуть не угодил па Печальный подъем? — спросил шпик, сидевший рядом. Это было простое любопытство. Даниель не понял, что имел в виду легавый, и промолчал.

— Почти десять лет назад, а? Ведь ты погорел в сорок шестом, правильно?

Даниель кивнул.

— Ты не разговорчив, — сказал шпик, сидевший впереди, — а нам предстоит провести вместе немало часов. Давай лучше беседовать по-приятельски, как дружки. В последнее время на нас все плюют.

Они проезжали через предместье. Широкую прямую дорогу с обеих сторон окаймляли серые дома. Кучки людей поспешно шли к станциям метро. Первые автобусы были набиты до отказа озабоченными, торопящимися людьми.

— Работяги стучат подметками, — понимающе хихикнул шофер.

Решительно, в этой машине говорили только на жаргоне.

Они быстро ехали по скверной дороге. Вдруг над прямой чертой горизонта взошло солнце, и лучи его ударили прямо в глаза Даниелю. Он сразу согрелся.

— Хочешь закурить трубочку? — спросил его сосед.

Даниель отрицательно покачал головой. Они ехали теперь по пустынной сельской местности.

— Насколько я понимаю, дружок, ты не скоро вернешься в Париж, — сказал легавый с крученой сигарой. — Но ты не огорчайся. Когда-нибудь все наладится.

— К счастью, существуют американцы, — подхватил второй.

Дорога показалась Даниелю знакомой. У него уже когда-то было чувство, что все связи порваны, все мосты сожжены. Когда же? Так же стояло над ним наглое солнце. Было такое же раннее утро и ощущение быстрой езды.

Тогда они тоже ехали, не оглядываясь назад. Резкий свет озарил его память. По этой же самой дороге с огромной скоростью бежала другая машина. Был август 1944 года. Машину вел Мардолен, в ноябре его убили польские партизаны. В кузове Лувер, обезображенный в Глиере взрывом гранаты, проверяет содержимое своих карманов. Он погиб во время немецкого отступления. Маленькому Симоне всего семнадцать лет, он дрожит от страха. Его взял в денщики эсэсовский оберштурмфюрер. Значит, он, Даниель, — единственный, кто остался в живых...

— Бог мой, а вся эта сволочь...

По удивленным взглядам легавых он понял, что не кончил фразы.

— Это мерзкое гнилье!

— Если ты только сейчас додумался до этого, дружок, значит, у тебя заржавели мозги. Конечно, все сгнило к черту, вся страна. Ты прав, что сматываешься.

Наступило очень долгое молчание.

Дорога углубилась в Брийскую равнину. Она лежала, как узкая лента, небрежно брошенная поперек свежевспаханых полей и светлых всходов пшеницы. Даниель не думал больше ни о чем. Он просто жил, уверенный в том, что рано или поздно встанет на ноги. Он не испытывал ни грусти, ни радости. Он испытывал лишь простейшие животные ощущения, к которым свели его жизнь опасности войны и монотонность тюремных дней. Он не жаловался на это.

— Соображай, — сказал передний, разговорчивый шпик, — бывают времена, когда убийцы не нужны. Больше того, они мешают. К сожалению, консервирование людей еще не освоено. Конечно, есть Индокитай, Марокко, Тунис — словом, колонии. Но во Франции для этого дела подходит только тюрьма.

Даниель ошеломленно поглядел на него. Он долго думал, пока не понял, что слова шпики относятся к нему. Он хотел было заговорить о войне, о прекрасных временах, которые знал когда-то, но сдержался. Разумеется, шпики знали его досье наизусть. Знали они и о мошенничестве, за которое его собирались судить, перед тем как он вступил в дарнановскую милицию. Знали и все остальное. Он ограничился тем, что заметил:

— Иногда мы тоже бываем нужны...

В первый раз он почувствовал себя побежденным.

Они еще долго ехали. Остановились в придорожном бистро неподалеку от Реймса, чтобы перекусить. На столе валялись парижские газеты. Даниель схватил их, вызвав снисходительные улыбки шпики. О нем ничего не писали. На второй странице «Фигаро» была заметка, не значившая ровно ничего: следствие продолжается. Даниель с отвращением швырнул газету и погрузился в молчание.

— Вставай, — сказал полицейский. — Поехали дальше. Тебе полезно проветриться.

Даниель пошел за ними, чувствуя, как поднимается в нем прежняя ненависть, но не понимая, почему.

— Мы бы дали тебе посидеть еще немного, — сказал шпик, который ехал рядом, — но уж очень ты любишь молчать.

— Зачем ты раздражаешь его? — спросил второй. — Разве ты не знаешь, что разговаривать он не умеет, он сразу хватается за нож?.. Слушай, ты: держу пари, что ты не помнишь, какую немецкую бумагу подписал вчера. Так вот, ты признался в убийстве, совершенном у немцев. Поэтому тебя передают в руки этих господ. Ты надолго утихомиришься, и нашим будет спокойнее. Что, тебе наплевать? Может быть, ты и прав. Время идет, все перемелется. С вами, убийцами, всегда так: со временем вы узнаете слишком много и приходится вас заколачивать в ящик или же...

Он подпрыгнул и ухватился за дверцу, которую Даниель попытался открыть.

— Так я и знал. Со мной, дружок, этот номер не пройдет. Сейчас мы тебе наденем браслетки. Так полагается, да ты и привык к ним...

Даниель не ответил. Он мечтал о настоящей войне, о дымных грибах взрывов. В каске и сапогах он стоит со своими людьми и ждет приказа ступить на искалеченную землю. Ступить, чтобы убедиться, что выжженная пустыня в их руках.

— Ты думаешь, мы не знаем остального? — сказал шпик. — Максим оставил отпечатки пальцев на стене у Гаво, а ты их оставил на машине, в которой его нашли. Можешь мне верить. Твои отпечатки опознаны, видимо, ты неосторожно снял перчатку...

Даниель начал отбиваться, и шпику пришлось ударить его по голове. Даниель провалился в огромную черную яму.



Он проснулся на скамейке. Тело затекло, голова трещала. Шпик с лошадиной физиономией тряс его за плечо.

— Проснись, старина! Тебя напрасно оставили здесь одного... Пять минут назад пришли твои бумаги, ты свободен. Не знаю, с кем ты дрался во сне, но рассмешил ты всех...

Даниель с трудом поднялся со скамьи, обалдело огляделся вокруг и потер онемевшие руки.

— Держу пари, что тебе снились наручники, — издевался шпик, — что еще может сниться старому боевому коню. Говорю тебе, ты свободен. Распишись в получении часов и брелоков, проверь деньги в бумажнике... Ты выходишь на свободу в славное время, завтра — день праздника Победы. Конечно, тебе на это наплевать. Но завтра нерабочий день, и тебя могли продержать до понедельника. Вот только помещение может понадобиться для других...

Через комнату в кабинет комиссара прошел Рагесс.

Антропометрическая экспертиза установила, что кровавые отпечатки пальцев на стене у Гаво расшифрованы. Они совпадают с отпечатками пальцев самоубийцы из парка Багатель.

— Во всяком случае, — задумчиво сказал комиссар, — задачу правосудия на этом можно считать выполненной. Ваше мнение, Рагесс?

— Да, теперь мы знаем, отчего покончил с собой бедняга Максим. Именно это я и хотел вам сказать.

— И решительно никому не выгодно уточнять подробности.

— Совершенно согласен с вами, — сказал Рагесс, уходя.

Бебе оказался не так силен, как он думал. Видимо, вопрос придется пересмотреть.

Господин Кадус собирался лететь в Ниццу в полдень. Он провел в Париже напряженную неделю, но зато накануне в «Журналь Офисьель» можно было прочесть о награждении мсье Филиппа Ревельона орденом Почетного Легиона. Награждение производилось по списку министерства торговли и промышленности. По этому торжественному поводу в особняке на авеню Фридланд состоялся небольшой импровизированный прием, а затем Филипп и Кристиана уехали вдвоем на машине в Кап-Ферра. Они недавно вернулись из Женевы. Поездка открыла перед ними богатые перспективы.

Для приведения в порядок всяких второстепенных дел Кадус пригласил к себе Шардэна. Кстати, он просил его быть на большом банкете, который Кадусы давали в Сен-Жан в ознаменование полученной Филиппом ленточки. Шардэн поистине служил ему верой и правдой. Кадусу казалось, что Шардэну будет легче работать, если он выложит перед своим поверенным то, что переполняло его душу. Разговор шел о награждении Филиппа.

В первые дни после убийства Кадус думал лишь о соблюдении приличий, но, по мере того как ускорялся ход событий, направление его мыслей менялось. Наконец он пришел к выводу, что у него имеется новая возможность нажать на околоправительственные круги, то есть на сторонников той пассивной политики, которую едко называли «политикой дохлой собаки, плывущей по течению».

— Так вот, Шардэн, по существу, я спас жизнь своему зятю. Вы читали об убийстве старика, сдававшего напрокат часы? Этот старик служил у Филиппа архивариусом. Успокойтесь, они ничего не нашли. Однако на следующий день, когда Филипп уже был в

Женева, какие-то господа внимательно присматривались к этому особняку. Тогда я решил повидаться с одним человечком. Он верит в наше теперешнее правительство, и правительство отвечает ему взаимностью. Оно иногда даже прислушивается к его мнению.

Кадус убедился, что Шардэн слушает его внимательно.

— Я поехал к его превосходительству — он был когда-то министром — и сообщил, что, поскольку убийцы ничего не нашли на улице Баллю, я имею право на компенсацию. Дело о награде моего зятя было в полном порядке. Не хватало всего одной подписи. Его превосходительство сказал мне, что прошлое Филиппа не таково, чтобы о нем говорить. Тогда я сказал: «Кто бьет стаканы, тот за них платит. Судьба многих господ зависит сейчас от газетной статьи, которая расскажет, что именно разыскивали убийцы в сейфе мсье Гаво». Его превосходительство спросил меня, почему я так заинтересован в разрядке напряжения. Я позволил себе заметить, что напряжение не принесло мне ничего хорошего. Дошло до того, что я был вынужден просить разрешения у американцев на тот или иной вид экспорта. Он предсказал мне, что, как только напряжение спадет, рабочие заберут мои фабрики и выгонят меня вон. Тогда я заметил ему, что режим Петэне (за чьи неограниченные полномочия он голосовал!) привел, в конце концов, к тому, что после Освобождения на заводах появились рабочие комитеты. Потом мы побеседовали о необходимости Атлантического пакта, и я закончил разговор так: «Я должен сам о себе позаботиться, не дожидаясь, пока герцог Брауншвейгский назначит меня управляющим одного из своих имений...» И вот Филипп получил свой орден. Все это я рассказываю вам, Шардэн, потому что я не вечен. Вы должны знать, что скачок, который совершил Филипп, не делается на заднем ходу... В Индокитае мы проиграли, Шардэн. Вы, левые, развернули такую кампанию, что они и трех недель не продержатся у власти, эти холуи, эти лакеи из американского посольства. Ваш отчет мы обсудим завтра, в Кап-Ферра нам будет удобнее. Надеюсь, ваши романы не помешают вам приехать туда?

Кадус немало удивился, когда Шардэн ответил на его слова взрывом откровенного хохота.

— Оставьте в покое мои романы, Кадус. Я как раз собрался остепениться. Одна молодая женщина вообразила, что я смогу хранить ей верность.

— Сколько ей лет? — спросил Кадус.

— Не знаю, лет двадцать пять...

— Тогда это не серьезно. Ваш роман не затянется. Вы и сами еще слишком молоды. Значит, вы будете в Кап-Ферра?

— Разумеется. Но смеялся я не поэтому. Я смеялся над тем, как вы вырвали орден для вашего зятя.

— Ба, вы-то можете смеяться. Я знаю, что вы отказались от ордена. Можно, кстати, узнать, почему?

— Таким же орденом наградили одного господина, отличавшегося при Петэне.

— Неужели вы думаете, Шардэн, что я забыл об этом? Я делаю из Филиппа человека, чтобы он мог постоять за себя в этой свалке. Мы живем в хлеву. Жалкие ничтожества стряпают обед из обглоданных костей, которые бросают нам американцы. Я научу своего зятя правильно обращаться с министрами, черт возьми!

Шардэн был поражен этой внезапной яростью.

— Я призвал его превосходительство смотреть на мир реальнее и чувствую себя так, точно вывалился в грязи. Мне необходимо срочно отмыться в Средиземном море... Но я перебил вас, Шардэн?

Шардэн поднялся и начал большими шагами ходить по комнате.

— Что я хотел вам сказать?.. Ах да, ваш зять говорил нам о некоем Лавердоне. Так вот,

один преподаватель, которого я знаю по Комитету сторонников мира, вчера пришел ко мне, чтобы побеседовать об этом господине. Лавердон замешан в самоубийстве в парке Багатель. Не сомневаюсь, что именно он заставил мальчишку покончить с собой. Этот преподаватель — типичный Дон-Кихот. Рядом с ним даже я становлюсь похожим на Санчо Пансо. Так вот, они серьезно поговорили с Лавердоном и тот подал жалобу — нападение, нанесение телесных повреждений. Моего друга продержали сутки, а затем оштрафовали и выпустили. Как вам нравится эта история?

Теперь Кадус расхохотался во все горло.

— И вы еще утверждаете, что не похожи на Дон-Кихота, мой дорогой Шардэн? Этот самый Лавердон и прикончил старичка, занимавшегося делами Филиппа. Мне сообщили, что сегодня утром его привели в полицию и отпустили, извинившись за беспокойство. Я же говорю вам — мы живем в хлеву. В мое время — когда я был примерно в вашем возрасте — это был бордель, но не без утонченности. Люди надевали перчатки перед тем, как засунуть руки в... вы сами понимаете, во что... Я пожелаю вам удачи, когда вы начнете чистить эти авгиевы конюшни. Но подавать вам метлу я не стану. Разве, если меня уж очень допекут... Хотя нет. Впрочем, вы и не будете спрашивать у меня разрешения, не так ли, Шардэн?

Кадус так разошелся, что вскочил со своего кресла. Они стояли совсем рядом и выглядели довольно забавно. Длинный, как голодный день, адвокат и цветущий, кругленький старик могли бы вызвать в памяти образы Дон-Кихота и Санчо Пансо. Именно так подумал бы пришелец, судящий обо всем лишь по внешности.

Двери палаты закрылись, точно створки раковины. Лиз наклонилась вперед, и ее прямые черные волосы упали по обеим сторонам лица. Франсис приподнялся на мятой и влажной постели, и его здоровая рука протянулась к Лиз. Взгляды их скрестились, проникли друг в друга — и все преграды, разделявшие их, упали. Горе и гордость слились и поменялись местами. Под сдвинутыми бровями Франсиса жесткие, лихорадочно горевшие глаза сузились, точно от слишком яркого солнца; в глазах Лиз они встретили нежность. И сейчас же она почувствовала себя взволнованной и очень глупой. Она выпрямилась и быстро собрала волосы на затылке — торопливо и неловко, не в силах понять свое волнение.

— Странно, — глухо сказал Франсис, — никогда не думал, что у меня есть сестра.

Лиз опять наклонилась и погладила впалые желтые щеки раненого. Нежность возникла между ними неожиданно. Лиз торопливо рассказала ему о своем одиноком детстве, о чужом и далеком отце, который не любил детей. Мирейль, наоборот, была слишком близко и подавляла ее. И оба они, и мать и отец, были такими неинтересными, такими оскорбительно будничными, что отгородиться от них можно было только мечтами. Так она и делала... Сначала Лиз говорила просто так, чтобы заполнить молчание. Постепенно они нашли друг друга. В детстве оба были замкнуты и одиноки, болезненно чувствительны ко всему, что напоминало им о распаде семьи.

Франсис взял Лиз за руки.

— Ты, — сказал Франсис, — ты по крайней мере не стыдишься и не жалеешь меня...

К ним приближалась санитарка, и Лиз промолчала. Однако санитарка направилась не к Франсису, она прошла мимо, даже не поглядев на них. Они опять остались одни, но Лиз продолжала молчать. Она слишком много думала о том, что ей надо было рассказать брату, и теперь не знала, с чего начать. Шлюзы сдержанности не вмещали потока ее чувств, в памяти теснилось столько воспоминаний, что она растерялась. Всю жизнь ей приходилось хранить их в себе, и вот нашелся человек, который выслушает ее и поймет. Он поймет, потому что знает все по себе: он сам прошел по этой дороге, сам бродил по ее изгибам, канавам и грязным лужам. Это брат, старший брат...

Она решила начать. Но Франсис коротким жестом заставил ее умолкнуть. В другом конце палаты колыхалось тело мадам Рувэйр. Она шла грузной походкой, неуклюже лавируя между койками. Франсис и Лиз придвинулись друг к другу, чтобы вместе встретить нагрянувшую опасность.

Слишком тепло одетая, надушенная сверх всякой меры, свекольно-красная, потная и запыхавшаяся мадам Рувэйр неумолимо приближалась. На ее толстом лице, на котором пятнами лежала розовая пудра, играла натянутая извиняющаяся улыбка. Лиз эта улыбка показалась неуместной, и ей стало стыдно. Франсис увидел, что она отвернулась, точно избегая насильственных поцелуев. Он насмешливо выслушал банальные вопросы о его здоровье. Было ясно, что мадам Рувэйр трепещет от радости, и потому она раздражала Франсиса еще больше, чем всегда. Мысленно он выругал себя идиотом за то, что дал адрес мадам Рувэйр на случай, если умрет. Впрочем, нет: ведь только благодаря этому он узнал Лиз.

— Чем вы так обрадованы, дорогая мачеха? — спросил он. — Быть может, наши освободили Дьен-Бьен-Фу?

— Нет, — отдуваясь, ответила мадам Рувэйр. — Нет. Освободили Даниеля.

Она сказала это с обезоруживающей простотой.

— Вот как, — презрительно протянул Франсис.

— Как? Опять? — подхватила Лиз, не зная об аресте Даниеля.

Радость мадам Рувэйр была безмерна, как радость потерявшейся собаки, которая вновь нашла хозяина.

— Я так рада за него, бедняжку. Полицейские все время надоедают ему.

— Знаешь, мамочка, я побуду с Франсисом, а ты, если хочешь, иди к... Лавердону. — Она чуть не сказала «к твоему Лавердону», но постеснялась Франсиса. Подумав, она решила, что поступила правильно: осложнений следовало избегать.

Может быть, Лавердона допрашивали о смерти Максима, а может, только о налете на квартиру Гаво. Разговаривать на эту тему с мамашей ей не хотелось. Та, конечно, была в курсе дела — ее проинформировали журналисты, если этого не сделали ни шпики, ни газеты, — но она и слова не сказала дочери. Она даже сделала вид, будто не заметила, что Лиз переехала к Алексу, Провоцировать ее не стоило. Странная сдержанность матери объяснялась, разумеется, новым арестом Даниеля. Внезапно Лиз стало страшно. Она забыла обо всем, что собиралась сказать Франсису. Только бы мать не вмешалась, только бы не заговорила о Максиме... Лиз чувствовала, что любыми средствами должна избегать этой темы, она стала уязвимой. К счастью, мадам Рувэйр уже начинала посматривать по сторонам, явно выискивая предлог, чтобы улигнуть. Ее взгляд без всякого интереса остановился на дочери, затем скользнул по раненому, и на лицо ее будто надели маску сострадания. Такие маски в большом ходу на благотворительных базарах, где их принято считать хорошим тоном. Затем лицо ее осветилось каким-то подобием мысли, и мадам Рувэйр со вздохом облегчения подвела итог:

— Конечно, ведь вы оба молоды, и я вам только мешаю!

Лиз тут же сообразила, что Лавердон и Франсис ровесники, но промолчала и улыбнулась ласково и чуть-чуть принужденно. Мать приняла ее улыбку за чистую монету и настойчиво повторила, хотя никто не собирался ей возражать:

— Я очень рада, дети мои, что вы так понимаете друг друга. Меня утомляет Париж, я не привыкла к этой суете.

Лиз несколько поторопилась высказать радость по случаю ее ухода. Поцеловав Франсиса, мадам Рувэйр отплатила ей, метнув парфянскую стрелу:

— Да, Лиз, я совсем забыла: сегодня похороны твоего Максима. Тебе не мешало бы пойти!

Тяжело вздохнув, мадам Рувэйр устремилась в проход между койками и исчезла в коридоре.

— Она еще повернется у этого Лавердона! — усмехнулся Франсис, когда Мирейль отошла от них.

Лиз еле сдерживала слезы. Он притянул ее голову на грудь и запустил пальцы в темные волосы. Перебирая горстями длинные пряди, он словно хотел успокоить Лиз, вздрагивавшую от наконец-то прорвавшихся рыданий.

Лиз лепетала что-то о Даниеле. Франсис начал спрашивать. Сдавленным, почти неслышным шепотом она постепенно рассказала ему все. Из газет она узнала, что Гаво вовсе не был ростовщиком, — писали о политическом убийстве. Тогда ей стало ясно, что Лавердон втянул Максима в какое-то грязное сведение счетов, что он цинично воспользовался ими обоими. Ее удивило, что в газетах почти не упоминалось о Максиме. Вообще говоря, история не наделала большого шума. Полиция продолжала разыскивать убийцу. Лиз пожалела, что в деле был замешан специалист по несгораемым шкапам: его присутствие мешало ей прямо обвинить Лавердона в убийстве.

Франсис наклонил к ней свое орлиное лицо. Лиз почувствовала себя в безопасности. Ей ничего не надо было забывать, и она следила за огоньком, который зажегся в темных глазах брата после ее рассказа. Костлявая рука опять начала скрести одеяло.

— Понимаешь, Максим, конечно, был жалок. Он мечтал быть «проклятым поэтом», певцом

мировой скорби, но для этого был слишком хорошо упитан. Он был неудачником, вроде меня. Мы не пригодны к жизни. Но я не сомневаюсь, что Лавердон как-то использовал его, перед тем как толкнуть на самоубийство...

Рука заскребла еще ожесточеннее, и Лиз поняла, что причинила Франсису боль. Она стала рассказывать о Дювернуа и о потасовке на бульваре перед отелем «Мексико». Она испуганно провела рукой по шее: а вдруг золотая цепочка опять на ней, как сегодня утром?

— Значит, Дювернуа посадили в тюрьму, — глухо сказал Франсис.

— Да. И отпустили после суда, оштрафовав. Алекс был в ярости.

— Вероятно, газеты полны тобой. Я их больше не читаю, чтобы не мучить себя.

— Они не очень полны мной. Мне еще нет двадцати одного года, я не достигла гражданского совершеннолетия. Но они пишут так, будто ведут меня голую по улицам...

Франсис почувствовал, что его гнев обретает форму. До сих пор он подсознательно сердился на Мирейль и гораздо сильнее на покойного отца. Теперь его ярость отыскала виновного, она выкристаллизовалась против Лавердона. Этот мерзавец дарнанодец заставил страдать его сестру, его сестренку, которую он только что нашел. Он еще боялся посмотреть фактам в лицо. Он давно отвык от размышлений, но теперь нельзя было ни бездействовать, ни ждать приказов. Поневоле приходилось думать самому о настоящем и о будущем. Лиз опять заплакала, она всхлипывала все громче. Франсис не знал, что она плачет первый раз в жизни, но почувал в ее слезах нечто от своих ночных кошмаров, когда он просыпался от страха и отворачивания к себе. С соседних коек, вероятно, начали смотреть на них. Он сразу понял все, что мучительно старалась объяснить ему Лиз, и крепко прижал к себе хрупкое, юное тело.

— Не плачь, сестренка. Человека пачкает не связь и не ошибка. Хуже, если ты согласишься, что любой подлец оставляет на тебе несмываемый след...

От соседа справа уходила мать. Прощаясь, она уловила последнюю фразу Франсиса и испуганно обернулась. Франсис ласково улыбнулся, он вовсе не хотел пугать ее. Старая женщина страдала сильнее Лиз. Возможно, она уже знала, что ее сын никогда не выйдет из госпиталя, никогда не вернется к ней. Такие абсцессы в легких обычно неизлечимы...

— Лиз, маленькая, расскажи-ка мне лучше о занятиях в университете...

\* \* \*

Перейдя Сену, Даниель зашел в первое попавшееся бистро и позвонил оттуда Лэнгару. Празднества по случаю Дня Победы вынудили Лэнгара перенести встречу с Даниелем на послезавтра. От нечего делать, а также из страха перед одиночеством Даниель позвонил Мирейль и позвал ее к себе. Никогда прежде не думал он о дне 8 мая 1945 года. Вся сволочь, очевидно, выйдет на улицу, чтобы отметить еще и Освобождение Парижа... Эти свиньи держатся за свой праздник! Даниелю казалось, что весь мир издевается над ним, все — и официантка, которая понимающе улыбнулась ему, думая, очевидно, что он вызвал по телефону свою подружку, и толстяк хозяин, астматический подагрик, который коротко и хрипло дышал, навалившись животом на кассу. Несмотря на то что допрос в Сюрте прошел гладко, Даниель чувствовал себя усталым и опустошенным. Надо иметь мужество и называть вещи своими именами: полиция держала его крепко, кольцо вокруг него смыкалось все теснее.

Теперь он должен стать совсем маленьким, еле заметным. Его отпустили, и он должен быть доволен тем, что его оставили на свободе, то есть предоставили возможность выпутаться из этой истории, и желательно не здесь, а за границей. Его отпустили, но крепко держат на привязи. В любой день ему могут припомнить его прошлое, в любой час шпики могут возобновить

следствие по делу об убийстве Джо Картье. Он опутан цепями враждебности окружающих и оскорбительной снисходительности Рагесса. Лавердону недостаточно было того, что он вновь на свободе благодаря чьей-то протекции. Он хотел, чтобы его ценили по истинной стоимости. Он много пережил и требовал к себе уважения. А они хотят, чтобы он опять начинал грязную работу с самого низу. Ему предлагали роль подручного. Вот тебе деньги — и будь доволен, сиди в своем углу и жди, пока тебя не позовут. Ожидай приказаний. По существу, и Лэнгару было на него десять раз наплевать. Полковник Лэнгар добросовестно работал ради коммюнике и сводок верховного командования и думал только о новых звездочках на своих погонах...

Даниель бросил на стол сто франков и передернулся, когда официантка сказала, что за два разговора по телефону с него следует еще десять. Он вышел на улицу. Собор Нотр-Дам был словно выпачкан солнечным светом. Казалось, его выкрасил плохой маляр: полосы света лежали неровно, будто проведенные неумелой рукой, Весна... Позвольте, сколько же весен провел он в тюрьме? Даже если не считать этой, получается восемь. Восемь весен в тюрьме. Перед ним вдоль узенького сквера ковылял старый нищий. Грязный, заросший, он с кряхтением сгибался пополам каждый раз, как замечал на тротуаре окурки. Может быть, придет день, когда и он, Даниель Лавердон, станет таким же отбросом, сгорбленным собирателем окурков? Всю жизнь он был отбросом какой-то иной, высшей среды. Он, как дурак, делал чужую работу, был прислугой за все, и от него избавлялись, как только дело было сделано. Пожалуй, и правда: надо считать за счастье, что удалось остаться в живых... Любимый припев Бебе, которым он умело держал его в повиновении. Подлец. В августе сорок четвертого он, как крыса, перебежал на другой корабль. Но крысиные повадки сказываются и сейчас, когда он покидает второй корабль, перебегая на третий. Разве это хорошо? А Лиз, которая сначала выставила его, а затем продала полиции? У него осталась только Мирейль, никого, кроме Мирейль, Конечно, с ней всегда можно будет открыть оптовую торговлю пряностями или заделаться биржевым маклером... Но, черт возьми, разве это освободит его? Все равно его всегда будут держать в руках. Сначала мошенничество, выдача необеспеченных чеков. Потом — убийство Джо, потом — пистолет Максима... Он увяз по уши. Хозяева не так уж глупы. У них повсюду установлены антенны, они всегда знают, как не замочиться чересчур и когда самое время подсушиться... Но разве он может подняться до них, если должен быть тише воды, ниже травы...

Он машинально направился к Центральному рынку. По-видимому, здесь сволочь была в силе. Коммунистические листовки наклеены на всех стенах. Они еще смеют писать «Мир Вьетнаму!», эти свиньи!.. Страна прогнила насквозь, это ясно. Недаром от него все отшатнулись, как от зачумленного. В Женеве они ползали на брюхе перед русскими и китайцами. А кричали-то, а грозились!.. Мы то, мы се, мы ломаем все на свете!.. Дерьмо!.. Опять мир. Каждый раз, как заключается мир, расплачиваться приходится Даниелю...

За замком Шатле, на улице Риволи, он попал в толпу женщин, вышедших за покупками. Он ненавидел этот прилив, наводнивший тротуары, это половодье, несущее пестрый мусор. Он вздрагивал всякий раз, когда кто-нибудь прикасался к нему. Как уродливы эти люди. И потом, что это за занятие ротозейничать перед витринами? Нет, город поражен гангреной. Даниель был на голову, выше всех, он смотрел на них сверху и повторял любимую фельдфебельскую фразу Лэнгара: неважное пополнение! Он бессознательно ускорил шаг. Вдоль Лувра, под аркадами, народу было меньше. Как о постыдной болезни, вспомнил Даниель о своем сне в Сюрте, на скамейке. Откуда только берется такое? Неужели он настолько боится Лэнгара? Нет, не Лэнгар его враг. Его враги — это Лиз, и этот очкастый, командовавший при расстреле полувзводом, и Матье Мертвая Голова, который может заговорить, и, разумеется, Бебе. Обескураженный, он остановился. Чем дальше он шел, тем больше встречалось этих мерзавцев. Он задыхался в своем аквариуме, бил по воде изо всей силы, но высвободиться не мог. Он не мог смотреть на мир

снаружи, как в тот вечер у Мирейль, когда вылил чернила в аквариум и вуалехвосты один за другим начали переворачиваться брюхом вверх.

Даниель быстро пересек площадь Пале-Рояль и двинулся по улице Фобур-Сент-Оноре. Тротуары здесь были узенькими, но Даниель по тысяче признаков чувствовал, что вступил в богатый район. Он перешел улицу Кастильон, чтобы скорее попасть в более тихие кварталы. Огромная американская машина затормозила перед ним. Шофер поспешно выскочил и открыл дверцу, загородив ему дорогу. Из машины вышла элегантная дама, за ней вторая. Роскошные девки, увешанные ослепительными драгоценностями. Даниель склонился, почтительно улыбаясь. Он не прочь был заговорить с ними, пойти за ними куда угодно. Это сразу, вылечило бы его от всех горестей, заставило бы забыть испытанные унижения. Дама пошикарнее, вышедшая последней, обернулась к шоферу:

— Поезжайте к Дюрану, узнайте, есть ли места на советский балет. И возьмите билеты на все спектакли...

Потом она обратилась к подруге:

— Мне страшно подумать, Джин, что ты вдруг не увидишь Уланову...

Они вошли в обувной магазин, а Даниель остолбенел. Он был потрясен и ошеломлен. Как? Такие женщины вне себя от восторга, что смогут аплодировать большевикам? Все сгнило насквозь. Он свернул в маленькую улочку и долго шагал, ни о чем не думая. В прежние времена он, чтобы разогнать черные мысли, треснул бы кого-нибудь. Теперь он знал, что только расшибет себе кулаки. Он вышел на Большие Бульвары возле церкви Мадлен и опять попал в толпу. Почти бессознательно Даниель остановился у витрины. Какая-то женщина, проходя мимо, задела его. Он не шелохнулся и тут же пожалел о своем безразличии. Случайно она его толкнула или нарочно? Он оглянулся. Высокая шатенка в облегающем серо-синем английском костюме словно в нерешительности стояла неподалеку спиной к нему. К ней быстро приближался элегантный пожилой господин в черном. Когда он поравнялся с ней, она сделала легкое движение бедрами и, видимо, задела его, как задела Даниеля. Такое скромное приставание пленило его. В конце концов он мог заплатить, мог позволить себе такое удовольствие! Ему казалось, что только так он отомстит тем роскошным сучкам, которые только что оскорбили его. Она тоже классная женщина, и он возьмет ее. Он опять почувствовал себя повелителем вселенной.

Девушка пошла быстрее. Толпа отделила ее от Даниеля. Чем больше он смотрел на нее, тем больше она ему нравилась. У нее были узкие бедра и породистая фигура, волосы цвета красного дерева оттеняли элегантный костюм. Она была ничем не хуже тех двух шлюх с автомобилем. Во всяком случае, честнее работать так, чем быть на содержании. Те две, конечно, поганые девки, они пленили миллионеров, и это ударило им в голову. Только такие дряни могут восхищаться русскими...

Она переходила улицу, но тут дали зеленый свет и лавина тронувшихся машин задержала Даниеля. Он воспользовался начинавшимся затором и бегом пересек улицу. Женщина исчезла. Даниель огляделся и увидел элегантного старичка. Даниель крупными шагами пустился за ним. Женщина сама подошла к старичку, и Даниель догнал их у самого входа в гостиницу. Проститутка обернулась, и Даниель узнал Дору, побледневшую и накрашенную сильнее обычного. Он отступил в тень. Это, безусловно, была Дора, хотя она остригла волосы и переменяла прическу. Голова ее теперь была похожа на кошачью, пряди спускались на лоб редкой челкой, а брови были нарисованы очень высоко и подчеркивали разрез глаз.

Даниель почувствовал себя мальчишкой, у которого вырвали из рук игрушку. У него украли его желание. Нет, его желание высмеяли. Он собирался потратиться ради потаскушки, выполнявшей когда-то все его прихоти. Этот костюм он сам купил ей на Елисейских полях! А



теперь она в нем работает на другого мужчину, какого-нибудь нового мсье Джо... Ну, что ж, она тут на своем месте, эта работяга...

Узнала она его? Вряд ли. Иначе она не стала бы к нему приставать. Он все еще стоял перед подъездом отеля. Это был приличный отель, и традиционная дощечка «Комнаты поденно» была, видимо, из настоящего мрамора. Он вздрогнул, почувствовав чье-то приближение:

— Не надо так пугаться...

Перед ним стояла совсем крохотная женщина, еле доходившая ему до груди. Он увидел светлые, водянистые глаза, обесцвеченную прядь среди темных волос. Она казалась очень молодой. Он не слышал ее шагов, видимо, она вышла из отеля. Молча он двинулся за ней, в те самые двери, за которыми двумя минутами раньше исчезла Дора.

Франсис вырвался из оцепенения, как вырывается из моря обессилевший пловец. Его измучил гипс, голова гудела, лоб был словно налит свинцом. Точно припомнить свой сон он не мог, но у него осталось ощущение, будто по дороге он потерял что-то важное. И тут он вспомнил — он обещал Лиз встретиться с ней сегодня вечером. Реальность ставила его в тупик. Еще утром он не думал об этом. Парни болтали о том, как будет отпразднован День Победы, а он никогда не говорил Лиз, как много значит для него этот праздник. Быть может, не хотел вызывать призрак отца? О том, как Франсис дрался в маки, Лиз знала, он сам рассказал ей. Он не боялся, что тень отца станет между ними, и поэтому рассказывал так же свободно и естественно, как Лиз о своем детстве. Это была победа, его победа. Такого праздника начинаешь ждать накануне, хотя он отмечается лишь на следующий день. Давно не приходилось ему возвращаться к хорошим воспоминаниям, всегда их заслоняли другие, более поздние и в корне их отрицающие. В сорок пятом он был победителем, а в пятьдесят четвертом вернулся искалеченным и разбитым. Но он не перебежал в другой лагерь! Подумать только, в сорок пятом они вместе с вьетами праздновали победу над гитлеризмом!.. Так о чем он думал?.. Ах, да. Как ее звали, ту девчурку из Тонкина, которая плакала у него на груди после того, как ее изнасиловал Людо? В памяти Франсиса опять воскресла эта чужая страна с ее рисовыми полями, плотинами и разливами неподвижной воды...

Теперь история этой девочки неразрывно связывалась у него с историей Лиз. Почему же он не вспомнил о ней, когда Лиз рассказывала ему о своих бедах? Ведь даже внешне та девчурка была похожа на Лиз, несмотря на различие рас, на то, что их разделяла половина земного шара. Обе одинаково трясли головой, точно пытаясь сбросить непосильный груз, обе были изящны и хрупки и одинаково всхлипывали, прерывая себя рыданиями. Франсис знал, что Людо мерзавец. Однако они шли дальше и задерживаться в той деревне не собирались. Конечно, можно было заявить о Людо начальству, но это означало бы почти наверняка, что в первом же бою Франсис получит шальную пулю в затылок. Людо пользовался в полку большим авторитетом. Это был профессиональный убийца, отличная боевая машина, исправно работавшая еще в предыдущую войну. Как-то раз Людо грубо окликнул его: «Что там у вас не получается, лейтенант?» — Франсис смолчал. Впрочем, Людо тоже убит. Его застрелили в Ханое, прямо в центре города, когда он был в отпуске. Франсис вспомнил имя девушки, он никак не мог отделаться от образа растрепанной, рыдающей Ву. Когда это случилось, в пятидесятом? Или в пятьдесят первом? За три года он ни разу не вспомнил о маленькой Ву. А сколько лет он не вспоминал об августовском вечере сорок четвертого года, когда взорвал гранатами два набитых дарнановцами грузовика, которые заехали в тыл их лагеря в зарослях?

Упорнее всего держался в памяти подросток, ожидавший смерти в бревенчатой хижине. Бедняжка Лиз! Все удары по ней отзывались в душе Франсиса. Немыслимо соединить его страшное прошлое с его настоящим. Чтобы стать еще ближе к Лиз, надо рассказать ей слишком много ужасного. Да и поймет ли она?

Совість раскрыла перед ним новую, чистую страницу, и его угрызения обострились. Он открыл глаза, чтобы разогнать черный туман, в котором тонул. Хорошо хоть, что следующую ночь он сможет провести вне этого ада. Впрочем, он унесет его в себе...

Он услышал, что вокруг него кричали, и поднялся. Обращались к нему:

— Слыхал, Рувэйр? Дьен-Бьен-Фу пал!

Он подскочил, но боли не ощутил. Как при местной анестезии, когда видишь, как в твое тело входит ланцет. Чувствуешь толчок, а боли нет. Он только проворчал: «Мерзавцы...»

Но вряд ли он смог бы ответить, кто именно мерзавцы. Во всяком случае, не вьеты. Быть может, Плевен, которому на площади Этуаль набили морду ребята из экспедиционного корпуса. А быть может, Бао-Дай и разные Лавердоны, все те, кто состряпали эту мясорубку и засунули его туда... Он сейчас же улегся. Еще вчера он спорил бы до хрипоты. Сегодня он хотел покоя, чтобы подумать и разобраться. Уже давно, читая ежедневные сводки, он чувствовал, что ребятам в Дьен-Бьен-Фу — крышка. Теперь он должен понять, почему так получилось, почему их позволили захлопнуть в этой ловушке. Он быстро утомился и мысленно махнул рукой: он давно жил по приказам и уставам, давно стал машиной, выполняющей, что ей положено. Все держалось только на дисциплине. Он хотел лишь знать, почему это известие причинило ему такую боль. Не потому ли, что и сам он не знал, как спастись, как выбраться?

В тот день, когда он подорвался на mine, он еле проснулся в госпитале после операции. Сосед поздравил его с «удачным ранением». Будь Франсис в силах подняться, он тут же сломал бы ему челюсть. А тот настаивал: «Да ты послушай меня, чего ты бесишься? Дурак, тебя же репатрируют!» Бывают слова, которые слышишь постоянно. И сам повторяешь их бездумно, механически. Но вот приходит день, когда такое слово начинает звучать непривычно, как новое, ранее неизвестное. В нем открывается смысл, который прежде скрывался за рутинной и не доходил до сознания, и тогда это слово бьет вас, как камнем по голове. Оно или восхищает, или ранит: середины нет. Слово «репатриация» глубоко вонзилось в душу Франсиса как мрачный символ его поражения. Репатриировать — то есть отправить, вернуть на родину. Значит, он расстался с родиной, покинул ее, дезертировал. Эта сумасшедшая мысль заставила его потребовать у сиделки энциклопедический словарь. Вечером ему принесли старое издание Ларусса, измятое, с недостающими страницами. Он потихоньку раскрыл книгу, и если бы вы его спросили, что он ищет, то услышали бы заранее готовый ответ, придуманный, чтобы не выдать истинной цели. Он листал словарь здоровой рукой, слишком нервничал, чтобы аккуратно переворачивать страницы. Слова «репатрируемый» в словаре не было, сердце его сильно забило: казалось, наваждение кончается. Он дочитал столбец до конца и в самом низу увидел: «Репатриирование, *разговорн.* репатриация — возвращение на родину через посредство консульств моряков, солдат или путешественников, задержавшихся в чужой стране...»

**ЗАДЕРЖАВШИХСЯ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ...** Это было страшнее, чем он думал. Все говорили о репатриации, но никто не понимал, что означает это слово, и никто не задумывался над ним.

Он завербовался специально для того, чтобы покинуть метрополию. Нет, покинуть Родину. Довольно играть словами. Только теперь он перестал злиться на себя и обратил свой гнев против покойного отца. Сколько раз в осажденных враждебной ночью зарослях или проходя патрулем по улицам непокорного города, он чувствовал в себе этот гнев. Но, если одна мысль о репатриации вызвала такой сумбур в его голове, значит, не один он и не только его отец повинны во всем. Причина была в чем-то несравненно большем, всеобъемлющем. Это оно изломало и загадило его жизнь, а теперь, когда он вышел из строя, когда он беззащитен, оно взялось за его сестренку... Долго, механически, как фонограф, он повторял: «Мерзавцы! Мерзавцы!» Наконец принялся считать минуты, отделявшие его от счастливого мгновения: сегодня он сбежит из госпиталя и освободится от своих кошмаров.

\* \* \*

Ночь пришла не сразу. Она сгущалась и темнела в тех местах, где дома стояли плотнее, а улицы были уже. Это часто бывает в мае, когда зеленоватый отблеск сумеречного неба

встречается с теньями, распростертыми на земле. Мертвецки пьяный Даниель вытолкнул из такси Дору и маленькую женщину. Они остановились на площади Этуаль, потому что Даниель решил, что здесь он будет чувствовать себя вольготнее; у него были полные карманы денег, и он с упорством пьяного держался за свою идею: на Елисейских полях не придется тереться о всякую сволочь.

— Ну а уж насчет веселья... — пропела женщина. Она сказала, что ее зовут Ритой, хотя от знаменитой кинозвезды в ней не было решительно ничего. Даниель с высоты своего роста рассматривал людей еще презрительнее, чем обычно. Рядом с ним женщина казалась упрощенным вариантом Вероники Лэйк. Почувствовав, что ее замечание повисло в воздухе, она подождала немного, а затем упрямо повторила:

— Ну а уж насчет веселья... Придется зайти в другой раз...

Дора поддержала ее громким и глупым хохотом. Даниель хотел было ответить, но в этот момент они огибали станцию метро Ваграм. В зеленоватом, зловещем полумраке казалось, что на лицах толпы написаны отвращение и гнев. В них словно отражалась подавленность мужчин, идущих за гробом ребенка, и ярость женщин, не знающих, кого обвинить в его смерти. Люди выходили огромными гроздьями, цеплявшимися одна за другую. Они бежали, шушукались, гудели — живой поток унес с собой всех троих. В пьяном тумане, окутавшем голову Даниеля, ему померещилось, что он шагает с батальоном, который движется неизвестно куда. Они маршировали под опостылевшую песню из трех нот — две глухие, низкие и одна звонкая, высокая. Труба, труба, рожок, труба, труба, рожок — и барабан, барабан... Как колокольный перезвон, как музыкальный салют над могилой, который непрерывно начинают и не кончают никогда. Уши Даниеля полны этим треском, он готов взвыть. Совсем как в чужой стране или в чужом городе, когда вокруг говорят, а вы не понимаете ни слова. И они видят это. А вам начинает казаться, что говорят о вас. Замелькали обрывки воспоминаний... Германия, Польша...

Даниель тащил на обеих руках по женщине, его бешенство нарастало. Этот сброд, сволочь на сволочи, и он угодил в самую середку. По улицам двигался поток задержавшихся на работе служащих или первых зрителей, устремившихся в кино и театры на авеню Ваграм, а Даниелю казалось, что он увяз в людской толпе, что он убегает от нее и чувствует, как она смыкается все плотнее. Он почти бежал, подхлестываемый проклятым мотивом. Это было наваждение, в котором он улавливал какой-то смысл, но никак не мог его понять. Рита оступилась, она не могла быстро идти на своих каблуках. Даниель схватил ее за плечо так грубо, что она застонала и заторопилась пуще прежнего. Главное, бить нельзя. Среди этой сволочи, этих подонков приходилось молчать и вести себя тихо. Ему казалось, что толпа строго и осуждающе смотрит на него, и это общее порицание было еще страшнее, потому что оставалось невысказанным. Почему они так ненавидели его? Он не сделал ничего плохого всем им, тем, кто уцелел. Может быть, где-то здесь тащится на своих костылях старуха Метивье? Но нет, он бы увидел ее... Конечно, он кое-кого потряс в свое время, но это были изменники, плохие французы. Скоро за них возьмутся вторично, хотя, кажется, уже поздно. Зато теперь ясно, что он был прав, и ему воздадут должное... Он увидел огромную черную дыру и устремился туда. Это был вход в метро. Даниель резко остановился. Дора ударилась о кого-то плечом и пронзительно завопила:

— Осторожнее, болван! Вы толкнули женщину!

Она заржала своим грубым смехом, и все посмотрели на нее с выражением осуждающего высокомерия. Обруганный тип призывал прохожих в свидетели. Даниель понял, что подонки берут верх, и, струсив, повернул обратно. Женщины покорно пошли за ним. Даниелю показалось, что гнев толпы устремился за ним вдогонку. Он прорвался сквозь вереницу людей, стоявших в очереди, и увидел газету, припиленную к стулу, ту самую газету, которую держали

перед глазами почти все вокруг. Прямо какие-то читающие автоматы, что ему за дело до них. Но его внимание привлек заголовок, набранный большими буквами. В полумраке Даниель не мог его разобрать, а тут еще старуха газетчица нагнулась над лотком и заслонила все на свете.

— Ну вот! — сказала Рита. — Чего же мы так торопились?

— Замолчи! — крикнул Даниель и в то же мгновение прочел заголовок, увидел его четкие огромные буквы и жирную типографскую краску: ДЬЕН-БЬЕН-ФУ ПАЛ, «Специальный выпуск! Требуйте специальный выпуск!»

Сразу он понял, что принимал за трехнотный припев: Дьен-Бьен-Фу! Дьен-Бьен-Фу! Вот что они говорили. А эта старая крыса продает последний выпуск, хочет на нем заработать. Почему-то эта мысль принесла ему странное облегчение. Он не поехал туда, несмотря на все старания Бебе! Нет, его отъезда хотел не Бебе, а сыщик, но это все равно: все они заодно. Он обрадовался; теперь он понял, о чем говорил Лэнгар. На таких, как он, Даниель, будет большой спрос. Разгром, само собой, отменит полумеры, он снесет к черту этот режим. И Даниель вернется обратно, вернется через парадный вход, как он всегда обещал себе. К нему придут и скажут: «Мы очень сожалеем, мсье Лавердон, что послушались этих каналов. Но теперь мы осознали. Каковы будут ваши условия?» Вот тогда он им покажет! Он выдвинет твердые условия, без всякой торговли. Во-первых, немедленно освободить всех ребят, еще сидящих по тюрьмам! И реабилитировать их, как в Германии, без дураков!.. Если бы все эти тупицы поняли, что происходит!.. Даниель шел теперь совсем медленно, он решил погулять. Над их головами плыла та удивительная вечерняя тишина, когда небо словно опрокидывается в ночь, а люди невольно углубляются в себя. Но зажглись фонари, и волшебство рассеялось.

— Надо выпить! — заплетающимся языком сказал Даниель.

Он все еще был полон мыслей о грядущем триумфе.

— Наконец-то, — вздохнула Рита. — Я совсем без ног!

Навстречу им прошел плотный господин, направляясь к даме, солидной, как манекен провинциальной витрины.

— Они все попали в плен? — спросила дама.

— По газетам — все, — устало ответил мужчина.

— И ты уверен, что Клод...

— Последнее письмо было из Хайфона. Потом поезд...

Он не договорил. Чувствовалось, что спокойный тон давался ему с трудом.

— У меня предчувствие, что наш сын в опасности, — надтреснутым голосом сказала женщина. Она посмотрела на Даниеля, который бесцеремонно остановился, чтобы послушать разговор.

Она пробормотала что-то, кажется: «Сегодня вечером мы не пойдем в кино», — взяла мужа под руку и кивком указала ему на Даниеля и двух девиц.

— Давно пора заключить мир! — очень громко сказал мужчина.

Даниель воспринял эти слова как пощечину. Он хотел броситься на неизвестного, но Дора и Рита, которым было наплевать на все окружающее, сдержали его порыв. Солидная чета затерялась в толпе, запрудившей тротуары авеню Ваграм.

Наверное, это был жид или коммунист — словом, каналья.

— Каналья! — загремел Даниель.

— Успокойся, бэби! — привычно сказала Рита.

— Бебе! Она назвала тебя Бебе! — заржала Дора. Она хохотала, как безумная, и никак не могла остановиться.

Рита потребовала, чтобы ей объяснили, в чем дело, и Даниель сразу вспомнил об особняке Бебе на авеню Фридланд. До него было каких-нибудь сто метров. В день падения Дьен-Бьен-Фу

неплохо было бы спросить у Бебе: зачем он посылал туда Даниеля? Интересно, что он ответит? Он или полицейский комиссар, что совершенно одно и то же. Кажется, время сводить счеты. Режим обречен, это ясно. И опять Даниель подумал, что разгром окончательно установит его правоту. Он потащил девок к тому месту, где когда-то поджидал его Джо за рулем «Фрегата». Бебе придется заплатить за Джо, как и за прочие свинства.

Окна особняка были темны. Даниель приказал девицам подождать его и отправился звонить в тяжеленную входную дверь. Он звонил долго. Наконец швейцар в стильной ливрее появился в полураскрытых дверях.

— Мне нужен мсье Ревельон, — сказал Даниель, стараясь придать своему голосу как можно больше высокомерия.

— Мсье Ревельон уехал на все праздники. Если вам угодно оставить вашу визитную карточку, я не премину передать ее мсье.

— Уехал? — глухо переспросил Даниель.

— Все знакомые мсье знают, что мсье собирался уезжать. Это было официально объявлено на приеме, устроенном тестем мсье в честь награждения мсье орденом Почетного Легиона.

Даниель понял, что швейцар издевается над ним. Орден Почетного Легиона? Ну и мерзавец этот Бебе! Больше ничего не спросив, он вернулся к девицам. В свое время они за это заплатят. Несмотря ни на что, Даниель чувствовал себя прекрасно. Он решил позвонить Мирейль, чтобы она присоединилась к ним. Это будет справедливо. Если она делила с ним горе, пусть разделит и удовольствия.

Атекс повзрослел. И причиной тому было не только чудесное завоевание Лиз. Смерть Максима, арест Дювернуа, то страшное, что он угадывал в Лавердоне, — все это, вместе взятое, определило его зрелость. Алекса не очень занимало, откуда у него появились эта вера в себя и чувство ответственности. Если бы у него спросили: «Откуда у тебя это?» — он ответил бы «От Лиз!» — и, вероятно, покраснел бы. Он сам не переставал удивляться своей новоявленной уверенности. Вернувшись в маленькую комнатку на улице Помп, Лиз рассказала ему во всех подробностях, с обычным для нее бесстыдством о своем визите в госпиталь Валь-де-Грас. Однако теперь ее слова не причиняли боли Алексу: он знал, что Лиз рассказывает не для того, чтобы сделать ему больно.

— Ты хочешь вечером побыть одна, дорогая?

— Да, — обрадованно сказала Лиз.

— Пусть так. Как-нибудь в другой раз ты познакомишь меня с Франсисом, хорошо?

— Конечно, мой родной. В конце концов он твой шурин.

— Ты знаешь, что Дьен-Бьен-Фу пал? Нет? Сообщение есть в вечерних газетах. Пять часов они колебались, перед тем как признаться. Знаешь, Лиз, стыдно говорить такое в день нашего поражения, но... я не хочу идти на эту войну...

— При чем здесь ты? Разве там не только добровольцы?

— Нет. Ходят слухи о новом призыве...

В памяти Лиз мелькнула скрюченная рука Франсиса — длинные пальцы, скребущие одеяло. Она изо всех сил стиснула шею Алекса и прижала его к себе.

— Я не хочу, чтобы ты уходил!

— Ничего, это будет не так скоро. Сегодня вечером я съезжу к Дювернуа. Хочу его поблагодарить и извинюсь за тебя. Подумай только, из-за нас человека целые сутки продержали в тюрьме, а ты его больше так и не видела... Кроме того, я спрошу у него, что мне делать.

— А ты думаешь, что-нибудь можно сделать?

— Конечно, — сказал Алекс.

Лиз еще крепче прижалась к нему. Почему раньше она не понимала, что любит его?

\* \* \*

Все было решено. В понедельник после праздников она перетащит к Алексу свои вещи. Они приготовят нужные бумаги и поженятся. Понадобится ли ей разрешение матери? По всей вероятности, да. Ведь, выйдя замуж, она приобретет право на свою долю в отцовском наследстве. Лиз никогда не забывала о денежных вопросах. Это была семейная черта, которая иногда самой Лиз казалась отвратительной...

Лиз сидела за рулем своей «Дины», аккуратно поставленной вплотную к тротуару напротив громады госпиталя Валь-де-Грас. Перед ней была небольшая, полукруглая площадь, от которой начинается улица Сен-Жак. Солнце скрылось, но последние отблески заката вели танец крови и света на гигантском куполе. Лиз не знала, откуда появится Франсис. Она вспомнила, как они обсуждали побег из госпиталя в последние минуты свидания, когда пора было расставаться, а они никак не могли отважиться сказать это друг другу. Франсис уже был не в силах переносить ночные истерики и свои кошмары, которые были еще ужаснее от воплей соседей. Он назвал свою палату «спальной проклятых», точно хотел заранее оправдать сегодняшнее бегство. Вот о

чем размышляла Лиз бледным весенним вечером.

Но после их встречи пал Дьен-Бьен-Фу. Лиз спрашивала себя: не изменит ли это событие решения Франсиса? Нет, он сказал «спальня проклятых». Он придет... И она покорно ожидала его, хотя от мрачных мыслей голова шла кругом.

Ей казалось, что огромная масса военного госпиталя все тяжелее давит на нее.

Отчаяние сблизило ее с Франсисом, теперь она была не одна. Впервые в окружении семьи ей дышалось легко. Франсис — вернее даже, сам факт появления полуродного брата — изменил отношение Лиз к родителям. Раньше она их просто ненавидела, теперь старалась судить о них по справедливости. Раньше она возмущалась, сама не зная чем и против чего. За несколько дней, что прошли после смерти Максима, самолюбивый бунт единственной дочери, избалованной, но предоставленной самой себе, утих перед неожиданной помощью. Ей казалось, что в ее жизни произошел переворот. Уход к Алексу Франсис одобрял. Он сказал ей:

— Те, прежние, были у тебя просто так, из глупого любопытства. А он — другое дело. Он тебе нравится, и это хорошо — это начало... — И потом еще: — В любви нужна привычка и, главное, мягкость. По крайней мере я так думаю...

Она подскочила, точно он прочел ее мысли, и внимательно посмотрела на брата: его желтое, постаревшее лицо светилось грустью.

— Не обращай внимания, сестренка, я просто завидую тебе. Ты красива и молода, и, по моему, твой Алекс сможет дать тебе счастье. А только счастья тебе и не хватает...

Теперь она знает, что так оно и есть. И самое удивительное, что ей хорошо именно с тем, кто меньше всего собирался потворствовать ее фокусам. Раньше Алекс казался ей тихим и малоинтересным домоседом. Да, Максим вселил в нее прочное отвращение к мальчишкам, и ей понадобился взрослый мужчина. Лавердон был ошибкой — кусочек прошлого семьи Рувэйр, который новизна окрасила в яркий цвет. Может быть, жизнь не так уж плоха, может быть, все же стоит жить? Она еще не знала, какими путями придет к ней счастье, но скука уже прошла.

«Твой Алекс сможет дать тебе счастье...» Теперь она понимала, что означали слова Франсиса. У нее не будет одинокой и тоскливой старости, которая постигла ее мать. Лиз звонила ей сегодня и предупредила, чтобы завтра утром она не ходила к Франсису; мадам Рувэйр застонала в телефонную трубку. Даниель не был у нее накануне, как обещал. Он позвонил ей на следующий день, пригласил на вечер в какой-то кабак «Шлюпка» и тут же дал отбой, а она не знает даже, где находится эта «Шлюпка», и теперь в отчаянии... Лиз хладнокровно посоветовала ей посмотреть в справочнике Парижа. Такова жизнь ее матери, если это можно назвать жизнью. Вероятно, такой же идиотской жизнью жили все женщины семейства Рувэйр, и мать отца, и, наверное, его бабушка... А как же Максим?.. Ну, уж нет! Спать с мужчиной — вовсе не значит отвечать за те глупости, которые он натворит!

С тех пор как смертью Максима занялись сыщики и репортеры, Лиз казалось, что рухнула прочная стена ее существования. Прежняя Лиз была совсем другой — нервным маленьким зверьком, запуганным, одиноким, растерянным. Ее подавляло знакомство со смертью. Теперешняя Лиз преспокойно отправилась бы на похороны Максима. Ей было наплевать на репортеров, она рассказала бы им кучу всяких небылиц и обязательно отпустила бы пару оплеух этой толстой свинье, этому папаше, который обнаружил, что у него есть сын, лишь тогда, когда сына убили. Бедный Максим умер, так и не узнав жизни. Он не мог угнаться за ней, он отстал от нее, как пешеход отстает от поезда. А Гаво? По совести говоря, от смерти этих людей ей было ни холодно, ни жарко.

Ее сверстники стоили друг друга, все их поколение. Неспособное любить, усталое с колыбели, ни во что не верящее, воспитанное газетами, разочарованное в жизни книгами... Только мысль о грядущем конце мира могла их взволновать и вдохновить на мечтания. Лиз



вспомнила о Труа, о первом разговоре с Лавердоном. Она издевалась над ним, над этим горе-воякой. А в Индокитае шла настоящая война, сделавшая Франсиса калекой... Впрочем, все они искалечены, если не физически, то духовно. Искалечена она сама, и Максим, и Лавердон, и мать, и другие. Все, кроме Алекса. «Знаешь, Лиз, еще в январе можно было заключить перемирие, Хо Ши Мин соглашался. Тогда не было бы Дьен-Бьен-Фу...» Лиз спросила: «А если бы это перемирие заключили, Франсиса тогда не ранили бы?» Алекс ответил, что да. Дювернуа говорил ему, что долгое время французы были нападающей стороной. Они атаковали еще при Блюме, в конце 1946 года. Французская авиация бомбила Хайфон и убила свыше шести тысяч жителей. Вьетнам был готов заключить мир в любое время, мира не хотели французы. В 1946 году? В то время Франсис еще верил в войну. Лиз больше ничего не понимала. Совсем недавно Алекс сказал ей: «Моя отсрочка кончается в пятьдесят шестом году. Через два года меня призовут, значит, я пробуду на военной службе восемнадцать месяцев, а может быть, и год, если заключат перемирие, и два года, если не заключат. Будешь ты ждать меня?» Она ответила «буду», ответила чистосердечно, без малейшего колебания. Она верила, что Алекс — это надолго, что она любит его настолько, чтобы ждать. Только теперь Лиз поняла, как она изменилась, и это открытие ошеломило ее.

Франсиса все не было. Неужели с ним что-нибудь случилось? Нет, нет сейчас он появится из этой печальной темноты. Он не попадет. Он так радовался предстоящему побегу, так мечтал о первом вечере на свободе...

Лиз зажгла свет и посмотрелась в зеркальце над рулем. Она собрала свои длинные волосы в тугую узел, стянувший кожу на висках. Лицо стало тоньше и показалось ей «таинственным». Сначала это ей понравилось, затем она стала издеваться над собой. Подкрашена Лиз сегодня была очень тщательно и выглядела настоящей дамой. Она казалась себе очень взрослой и на одну секунду представила, что уже осуществила все свои благие намерения: кончила институт, вышла замуж за Алекса, у нее дети... И ей стало больно от собственных насмешек.

Фигура в солдатской шинели нагнулась к радиатору машины, рассматривая номер. Франсис! Лиз открыла дверцу.

Франсис с трудом переводил дух и был бледнее обычного.

— Никогда не думал, что этот свинский гипс так мешает!

Он держал левую руку на отлете, и вид у него был совсем измученный и несчастный. Лиз улыбнулась, он поцеловал ее в лоб. Они были братом и сестрой и вели себя, как брат и сестра.

— Подумай, Лиз, я еле-еле раздобыл одежду. Мы с тобой совсем о ней не подумали. Но, так или иначе, я выпутался. Вот только шинель не мог найти попримичнее.

«Дина» бежала по темным улицам. Лиз вела машину так осторожно, точно Франсис был стеклянный. Рядом с ней он казался таким огромным в шинели, которая топорщилась от гипса. Ей стало не по себе. Чудесная простота их утреннего разговора почему-то не возвращалась. Теперь малейшая оплошность может испортить вечер. Им было трудно признаться в этом. К тому же Франсис касался Лиз искалеченным плечом.

Они нашли друг друга, хоть и не сразу. Они не хотели говорить о падении Дьен-Бьен-Фу. Наконец Франсис спросил Лиз, почему она не взяла с собой Алекса. Он очень хотел бы с ним познакомиться. «Понимаешь, Лиз, когда воюешь, знаешь только, что у людей в брюхе, но не в голове. Теперь я, кажется, начал понемногу разбираться в людях...»

Лиз еще ни разу не приходило в голову, что Алекс может погибнуть на войне или вернуться калекой. Внезапно тысячи убитых и раненных под Дьен-Бьен-Фу предстали перед ней облеченные в плоть и кровь, как живые, реальные люди. Алекс, Максим, Франсис, Дювернуа? А при чем тут Дювернуа? Ведь она его почти не знает.

Франсис опять заговорил, как заведенный, точно пулемет, выплевывая торопливые,

обгоняющие друг друга слова. Он говорил о раненых и калеках, о ребятах, которые погибли у него на глазах, с тех пор как он сражался в маки. Он говорил о втором облике погубленного войнами поколения. Они долго ездили по берегам Сены, не решаясь зайти в ресторан.

Лиз захотелось музыки, которая немножко оглушила бы ее и заполнила паузы в их разговоре. Она чуточку побаивалась этой первой встречи с братом на свободе. Она не думала, что он такой высокий и уже немолодой, и теперь оробела. А Франсис искал тишины. На углу какой-то узенькой улочки они увидели мягкий свет. Он заливал вереницу комнат, задрапированных нежно-розовой материей оттенка штокрозы. Они вошли туда. Заведение состояло из множества ниш, затянутых тканью, и называлось «У Мефистофеля». Название им понравилось, и они сели к столу.

Они хохотали, как безумные, над усилиями официантки, решившей обслуживать их, как влюбленную пару. Подавали здесь очень медленно, но кормили изысканно. В маленькой комнате, затянутой фулярами и пестрой тканью, они были одни. Говорила Лиз, Франсис слушал и много пил. Тихо звучала музыка, точно такая, о которой мечтала Лиз, приглушенная и вкрадчивая. Лиз высказалась за что-нибудь полегче, а Франсис настаивал на бифштексе с жареной картошкой. Они долго спорили и остановились на филе ломтями. Спор забавлял их. Впервые Лиз заботилась не только о своих вкусах. Да, первый раз в жизни. Об Алексе она еще не заботилась, пока она лишь повиновалась ему. Завтра же, если магазины будут открыты, она сделает Алексу подарок. Лиз сказала об этом Франсису, тот улыбнулся и сразу помолодел.

— Если бы ты знала, Лиз, как хорошо мне сейчас. Здесь так спокойно. Нет, ты не можешь понять, о чем я говорю... Жизнь — глупейшая штука. До сегодняшнего дня я знал только стыд за своего отца. А теперь, когда я могу об этом не думать, я стыжусь самого себя. Мне тридцать два года, меня демобилизуют. Дело не в том, что я инвалид, а в том, что я сам хочу этого. Я ровно ничего не знаю и не умею. Мне дадут маленькую пенсию.

— У тебя есть доля в отцовском наследстве, — сказала Лиз.

— Я скорее подохну! — крикнул Франсис, и Лиз опять увидела жестокую усмешку, которую впервые заметила, когда Франсис назвал отца канальей.

«Все из-за него, все из-за него, все из-за него...» — звучало у них в ушах, как утром в госпитале...

— Но ведь можно просто жить, — жалобно сказала Лиз.

Франсис сразу успокоился и ласково взял ее за руку.

— Да, сестренка, можно. И я хотел бы помочь тебе в этом. Не слушай меня. Я найду себе женщину. Тихую женщину, она поймет меня. А эту чепуху ты забудь...

Лиз заметила, что Франсис начал пьянеть. Она положила руку поверх его руки, не давая ему больше пить. Они были совсем одни. В пустынном баре гарсон в смокинге терпеливо ждал, когда они его отпустят. Но в этих стенах цвета штокрозы было так хорошо. В открытое окно дул ветерок, мягко шелестел цветными платками.

На улице было совсем тепло и пахло безумием майских ночей. Пале-Рояль был совсем рядом, и из его сада несся круживший голову запах цветов и молодой травы. Франсис слегка покачивался, но непременно хотел пройтись пешком. Лиз не спорила. Почему-то она заговорила о матери. Возможно, из желания убедить себя в своей независимости, а может быть, чтобы снять с брата хотя бы часть тяготившего их бремени. Сначала Франсис не слушал, а затем резко повернулся к ней.

— А где она сейчас? Где-нибудь с Лавердоном?

— Да, — коротко ответила Лиз. — Они в кабаке.

— Ты знаешь, в каком?

— Да. Не все ли тебе равно?

— Нет. Из-за этого мерзавца она сегодня не пришла ко мне!

Лицо Лиз вытянулось, но Франсис не понял почему. Он подошел к ней ближе. Она спросила очень тихо:

— Разве тебе не лучше без нее?

Франсис сразу отрезвел и улыбнулся.

— Лучше, сестренка. Конечно, лучше. Но я должен свести кое с кем счеты, прежде чем вернуться к себе, в спальню проклятых. Если мне все время будет так хорошо, как сейчас, меня и палкой туда не загонишь.

Я должен увидеть этих сволочей, понимаешь? Иначе сегодняшнего вечера мне не пережить.

Лиз еще не видела его таким усталым, таким мрачным и опустошенным. Они пересекали площадь Французского Театра, и в ярком свете фонарей Лиз показалось, что Франсис ссутулился.

— У тебя болит рана?

— Нет, сестренка. Не рана, а голова. Я думаю о ребятах, они вертятся на койках и орут во сне. Трудно заснуть в день падения Дьен-Бьен-Фу. Ясно, они ничего не понимают. Мы сильнее всех — и вдруг нас разбили. А как же те рассказы, которыми нам забивали голову, когда отправляли на бойню? Все иллюзии кончились. Я не могу быть счастлив, Лиз. — Он отпустил ее руку и вытер лоб. — Они нас продали на корню, эти мерзавцы! Подумаешь, Дьен-Бьен-Фу! Еще десять или пятнадцать тысяч солдат, не все ли равно? Какое это имеет значение?.. Я хочу сегодня напиться, Лиз, напиться, как свинья. И пусть платит твоя мамаша. Пусть платит, стерва! Она выбрала вечерок, чтобы повеселиться со своим прохвостом! Так пусть платит!

Франсис разъярился, он точно вдыхал злобу вместе с воздухом. Лиз повела его к машине. В конце концов он заслужил право поступать по своему усмотрению.

\* \* \*

За Оперой Франсис увидел старый, довоенный Париж. Он почти забыл эти потоки света, мерцающие неоновые рекламы, от которых ночь казалась полосатой, как зебра. У св. Августина он опять захотел пройтись. Они попали в поток женщин в вечерних платьях. Над улицей плыл веселый шум голосов, из подходивших машин вылезли нарядные офицеры. Франсис вспомнил о своем нелегальном положении и отошел в тень. Рядом какие-то зеваки обменивались впечатлениями о проходивших мимо.

— Они не скучают, эти голубчики!

— Еще бы! Они приехали из своих клубов и неплохо там выпили!

— Ты с ума сошел! Сегодня пал Дьен-Бьен-Фу...

— А им-то что? Видишь, все они пьяны! Посмотри лучше, куда они входят!..

Франсис схватил Лиз за руку, и они повернули обратно. В машине Лиз, чтобы успокоиться, закурила. Франсис тоже взял сигарету и выкурил ее долгими затяжками.

— Свези меня еще куда-нибудь, а потом поедem в кабаk.

Лиз свернула на улицу Бюэти.

— Подумать только, и я мог спокойно отойти в сторону в сорок шестом... Идиот, я вообразил, что нашивки получают там, где дерутся. Посмотри на этих, они все в орденах, они не ломают голову над разной чепухой. Они потеряли стыд и даже сегодня не хотят держаться в тени.

— Не преувеличивай, Франсис. Слава богу, что не вся французская армия погибла под Дьен-Бьен-Фу.

— Французской армии больше нет. Только дурак, только безмозглый дурак может в ней оставаться.

Он не это хотел сказать. Все его надежды на успех были связаны с армией. Но сейчас он был подавлен и никак не мог прийти в себя. Страшное разочарование заставило его возненавидеть весь мир. Оно испортило ему даже этот вечер, первый вечер на свободе. Ведь в любую минуту они могут понять, что он в самовольной отлучке...

Они выехали на Елисейские поля, и Франсис вновь обрадовался огням города. Но тут же помрачнел. Он вспомнил о демонстрации в честь Победы, о пьянящей радости, охватившей его тогда. Что ж, он избрал неправильный путь, но шел по нему без колебаний. Он исполнял свой долг, не бегал от опасности. Никто не мог упрекнуть его. Почему же этот путь оказался тупиком? Тупиком, из которого не выбраться?..

— Поедем дальше, Лиз.

Лиз послушно вела машину. Она возила его по своим любимым местам. Показала Террасу Шайо. Потом Сену, Эйфелеву башню. Теперь она бранила себя за то, что не взяла с собой Алекса. Как он пригодился бы ей в этом метании по городу, в этих отчаянных поисках радости!.. Бедняга Франсис, как он страдает! Неужели они и Алекса погубят так же, как погубили Франсиса...

И кто это придумал — бесцельно убивать молодых мужчин?..

— Лиз, я потерял восемь лет, восемь лет! Нет, хуже чем потерял: я сам погубил себя. Восемь лет!

Она понимала, что Франсис ищет помощи, но не знала, что делать. Она вспомнила о словах Дювернуа в день их первой встречи и попыталась дать брату его лекарство. Почему Франсис никогда не расскажет о своих старых друзьях, о товарищах по Сопrotивлению? Задавая этот вопрос, она оробела, но заставила себя кончить фразу. Она старалась говорить как можно мягче и ласковее.

— Почему ты не видишься с ними? Если бы они навещали тебя в госпитале...

— Ты ничего не понимаешь, Лиз. Рядом с ними я чувствовал бы себя еще грязнее.

— И ты боишься, что они дадут тебе понять это? Да?

Теперь она допрашивала Франсиса примерно так же, как он выпрашивал ее о страхе, царившем в доме, когда отец был жив.

— Именно боюсь.

Она мучительно вспоминала, что еще говорил Дювернуа, в чем упрекал ее. Что-то насчет врага, который таится внутри нас, насчет борьбы с самим собой... Она еще не доросла до всего этого. Тогда ей казалось, что слова Дювернуа не так уж важны. Гораздо больше она боялась, что ее попрекнут любовниками, ее беспутной жизнью. Но Франсису нужно говорить о долге солдата, об офицерской чести. Она опять пожалела, что нет Алекса. Алекс сумел бы все понять и найти нужные слова. Из тюрьмы нельзя бежать в одиночку. Надо набраться храбрости и позвать, громко позвать на помощь. Не беда, что освободители потом будут с вами строги. Нет, не Алекс нужен сейчас Франсису, а Дювернуа, Дювернуа помог бы ему, объяснил бы, что сначала надо было остановить эту проклятую войну...

— Посмотри-ка! — сказала Лиз, затормозив «Дину» на площади Трокадеро. Между крыльями дворца был словно вырезан прямоугольник великолепного ночного неба. Эйфелева башня высилась в нем. Огни на ней были погашены, кроме нескольких маленьких огоньков на самой верхушке. Вокруг черной громады тела башни пылал, точно сделанный по заказу, звездный дождь.

— Ты права, Лиз. По совести говоря, я просто боюсь нормальной жизни, которой живут все люди. Боюсь оказаться ни к чему не пригодным неудачником.

Лиз вывела его на террасу, и взгляд Франсиса невдруг упал на наскоро сколоченные бараки, стоявшие в соседнем сквере.

— А это еще что такое?

— Какая-то американская чепуха, — сказала Лиз.

— Поехали в кабак! — проворчал Франсис. — Поехали в эту самую «Шлюпку». И напрямиком!

После свежего вечернего воздуха на лестнице было нечем дышать. Они погрузились в пряную духоту вспотевших, сильно надушенных тел. В спертom воздухе носились и смешивались десятки острых, одурманивающих запахов. Толпились фраки, смокинги, вечерние платья. Широкие вырезы открывали плечи, чаще немолодые и поблекшие. Юноши были одеты с подчеркнутой экстравагантностью — в длинные пиджаки зеленых, лиловатых, бежевых тонов или в замшевые разноцветные куртки. Они делали вид, что не замечают потертой формы Франсиса, а иные гримасами или короткими жестами выражали свое неудовольствие. Толстый, красноречивый субъект метнулся в сторону от Франсиса. Возможно, он просто хотел дать ему дорогу, но лицо его было испуганным. Франсис двинулся вперед, увлекая за собой Лиз, и сказал громко:

— У меня нет вшей.

Лиз робко улыбнулась. В пестрой толпе она чувствовала себя смущенно, так как считала, что ее простое черное платье должно здесь казаться очень провинциальным.

— Я для них слишком грязный! — грубо сказал Франсис. — Но деньги они возьмут и у грязного, это их не тревожит...

Люди вокруг них замолкли. Никто ничего не сказал, но и без слов было ясно, что они думают. Внезапно Лиз почувствовала, как мало трогает ее мнение этого сборища.

Толстый тип рядом с ней встал на цыпочки, чтобы увидеть, что произошло, почему образовалась толкучка. Сзади пронзительный женский голос говорил:

— К счастью, день национального траура объявлен не на сегодня, а на завтра... Завтра приезжает Леон...

Понятно. Верная супруга планировала свои маленькие развлечения до возвращения Леона. Завтра день национального траура. Хорошо хоть, Франсис не слышал. Толстяк вздрагивал всем телом от тщетных усилий стать выше ростом. Лиз скользнула вправо и ухватилась за здоровую руку брата. Им удалось продвинуться вперед, и глаза Лиз широко раскрылись. Она привыкла к ночным кабакам Сен-Жермен-де-Пре, а здесь все было иначе. Какая-то выставка раскормленных буржуа. Ей даже почудился трупный запах. В неоновом свете лицо Франсиса казалось бескровным, оно дергалось от нетерпения. Толстый сосед весь налился кровью. «Пляска смерти», — подумала Лиз.

— Зачем пришли сюда эти люди? — тихо спросила она у Франсиса. — Пожалуй, скелеты — и те выглядели бы опрятнее...

Франсис пожал плечами. Оркестр умолк, и вереница пришедших двинулась вперед. Перед Лиз открылась площадка для танцев. Она увидела Даниеля. Грубо обнимая высокую женщину в сером узком костюме, он подталкивал ее к столику. Женщина была вульгарна, с коротко подстриженными, как у Одри Хепбэрн, каштановыми волосами. Она вызывающе вертела бедрами. На мгновение Лиз обрадовалась: такую можно презирать с полным основанием. Но тут же устыдилась своей мысли и украдкой указала Франсису на Даниеля. Франсис посмотрел на него долгим взглядом и ничего не сказал. В ту же минуту Лиз увидела мать. Мирейль одиноко сидела за столиком, не отрывая глаз от Даниеля и его партнерши. Лиз чуть не фыркнула: на матери было темно-синее платье из матовой, легкой материи, напоминающей крепдешин. На оголенные плечи наброшен маленький белый песец. Это была новая униформа всех почтенных дам. Лиз вспомнила картинку в модном журнале: такой туалет был на супруге нового президента Республики. Мать очевидно решила, что скопировать этот туалет — верх шика. Лиз даже не возмутилась: слишком смешной показалась ей мать.

Вокруг них стало просторнее. Площадка для танцев пустела, все возвращались к столикам. Лиз вдруг захотелось убежать отсюда: еще ничего не произошло, еще все можно предотвратить. Однако припадки ярости Франсиса пугали ее, она старалась продлить минуты, когда он забывался. Чтобы удержать и ободрить брата, она бросала на него робкий взгляд через плечо — и только. Так получилось и сейчас. Франсиса раздражала ее нерешительность, и Лиз заметила, что лицо его стало жестким. Она пошла за ним, готовая повиноваться.

Они подошли к столику мадам Рувэйр одновременно с Даниелем и его партнершей. Увидев дочь и пасынка, мадам Рувэйр икнула от удивления. Франсис застыл, точно по команде «смирно». Он молча переводил взгляд с мачехи на Лавердона. Лиз, запинаясь, представила их и придвинула Франсису, кресло. Теперь она понимала, каким безумием было привезти сюда Франсиса. Достаточно посмотреть, как свирепо вспыхнули глаза Даниеля. Наверно, никогда не удастся ей забыть это проклятое имя. Левое плечо Франсиса двигалось, словно он надевал щит из собственной плоти. Лицо его было неподвижно, как лицо статуи. Он сел, окруженный тяжелым молчанием. Мадам Рувэйр дышала коротко и прерывисто. Губы ее шевелились, пока она подбирала подходящие к случаю слова:

— Ты... ты не думаешь, что с твоей стороны это неосторожно?

Франсис посмотрел на нее так, что она сразу повернулась к Даниелю.

— У моего пасынка раздроблено плечо, его машина подорвалась на mine. Это было в... в... я не могу запомнить эти индокитайские названия.

— Надеюсь, не в Дьен-Бьен-Фу?

— Ну, разумеется, — не слушая вопроса, продолжала мадам Рувэйр. — Он в гипсе почти до пояса. Я была у него в госпитале. Он лежал на простынях, точно каменное изваяние, и, вы знаете, я вспомнила фото в газетах. Недавно в Париже поставили пьесу, где играет каменный человек. Франсис был точно такой, как он на этих снимках.

Мирейль выложила это своим обычным самоуверенным тоном, но по тому, как она растягивала концы слов, можно было догадаться, что она боится выдать свой страх.

— Это же «Дон-Жуан», мама, — еле сдерживаясь, сказала Лиз. — Я говорила тебе, Франсис. «Дон-Жуана» поставили в театре Шайо. — И, не давая матери вставить и слова, она добавила: — Позови лучше гарсона, по-моему, Франсис хочет пить.

Даниель вскочил, чтобы заказать напитки, но Франсис остановил его движением здоровой руки:

— Только не вы!

Мужчины в упор посмотрели друг на друга. Первым опустил глаза Даниель. Перед этим калекой, который его презирал, он чувствовал себя неловко. Ясно: бедный инвалид мучительно завидует каждому здоровому, а потому ненавидит весь мир. Спорить с ним явно не стоило. Сам Даниель, когда воевал, относился к штатским именно так; ему было совершенно безразлично, что они делали до войны. А, когда парень только что вылез из мясорубки, с него не следует спрашивать слишком много. Даниель перехватил тревожный взгляд Лиз, направленный на Франсиса, и задал себе вопрос: что она успела наговорить о нем своему братцу? Пока что ему испортили вечер. Мирейль всегда посещают гениальные идеи... К счастью, подошел гарсон с двумя бутылками шампанского. Франсис взял стакан и протянул его Лиз. Затем он взял стакан себе и поднялся:

— Пью за трепку, которой заслуживают все мерзавцы!

Пока Даниель обдумывал тост, Франсис увел Лиз на танцевальную площадку. Ничего не понявшая Дора глупо захихикала. Мирейль бросила на Даниеля умоляющий взгляд, и он решил не танцевать. Прелестный вечерок! Он собирался повеселиться и теперь жалел, что не ушел вместе с Ритой. У Риты были важные дела, ей нужно было отчитаться перед своим котом. Нет,

лучше ни о чем не думать. Даниель сел поглубже в кресло, чтобы не видеть этих рож, и принялся пить. Но мимо него пронеслось платье Лиз и забыть о ней так и не удалось. Тогда Даниель набросился на Мирейль. Очень ей нужно было приглашать сюда дочь и пасынка! Могла бы обойтись и без них!

— Но, радость моя, я здесь ни при чем, уверяю тебя!

— Вот так так! — протянула Дора, поглядывая то на Мирейль, то на Даниеля. Даниель пожал плечами. С Мирейль всегда одно и то же. Чуть что — и она начинает ныть и называть его «радость моя», а ему остается лишь молча пережевывать свою ярость.

\* \* \*

Лиз надеялась забыться в музыке, но непонятная суровость Франсиса сковывала и обижала ее. Кончиками пальцев она ощущала гипс, как будто и впрямь танцевала со статуей. Они танцевали в стороне от толпы, точно подчиняясь своему, особому ритму. Франсис наклонился к ней.

— В Ханое нам давали отпуска и мне случалось бывать в тамошних кабаках. Там тоже не слишком чисто, но у тех ребят было оправдание — они ежедневно рисковали своей шкурой. У здешней сволочи этого оправдания нет, но воняет она ничуть не меньше...

Франсис вел сестру мимо танцующих пар. Лиз смотрела на них и удивлялась. Здесь были и молодые и старые. Одни танцевали хорошо, другие нескладно топтались на месте, но все они казались ей гримасничающими паяцами, куклами, жестикулирующими неуклюже и бесстыдно. Сама она изменилась или этот кабак не походил на другие?

Франсис проворчал у нее над ухом:

— Ты видишь, они молчат. Им нечего сказать друг другу. Они боятся говорить.

Франсис кружил ее все быстрее и быстрее, точно хотел стереть в ее глазах образы этих людей, навалившихся на столы, и тех, что кривлялись на площадке. Он сказал, что неплохо бы заснять всех их на кинолентку и показать пленным, оставшимся в живых после падения Дьен-Бьен-Фу.

— Фильм надо назвать «Вечер поражения». У многих из них лежат в бумажниках индокитайские акции и портят им пищеварение. Эти господа не так глупы, чтобы лезть в мясорубку. Но слыхала бы ты, как трогательно дрожат их голоса, когда они приносят в госпиталь подарки бедным солдатикам. Я имел счастье слышать их в Ханое и здесь, в Париже...

Они чуть не налетели на толстяка, с которым столкнулись при входе. Он топтался с худощавой женщиной, чуточку слишком изнеженной, похожей скорее на старинную приятельницу, чем на веселую девицу. Франсис и Лиз успели разобрать, что парочка говорила о повышении мировых цен на кофе.

Они переглянулись и улыбнулись друг другу впервые с тех пор, как вошли в кабак. Они были одиноки и измучены, но их мир был все-таки лучше мира этих людей. Мир этих людей весь — от этого толстяка до Даниеля — состоял из подлецов, дергавших за веревочки более или менее опасных паяцев. Опять Лиз подумала об Алексее и Дювернуа. Она не должна была слушать брата. Франсис и так по горло сыт отвращением, ему нужно стать сильнее, вновь обрести веру в себя. Но отступить было поздно. Лиз чувствовала, что им придется выпить чашу до дна.

Танец принял нечеловеческий ритм. Несмотря на усталость и опьянение, Франсис старался удержаться в бешено вертящемся кругу танцующих. Он тяжело повторял движения, как испортившийся автомат. Лиз целиком отдавалась танцу, словно это могло помочь Франсису;



когда она от него отстранялась, он грубо хватал ее за руку, будто она могла убежать. Он говорил, что должен хорошенько выпачкаться, что только тогда он сможет вернуться в госпиталь. Казалось, он начисто забыл о существовании Лавердона, и Лиз уже начала успокаиваться. Ей хотелось оставаться на площадке как можно дольше, чтобы отдалить встречу Даниеля и Франсиса. Один танец без перерыва сменялся другим, и Лиз спрашивала себя, откуда Франсис берет силы. Она подняла глаза и увидела зеленоватое от усталости, сведенное судорогой лицо. Не лицо, а костяную маску. Она невольно подумала: «Вдруг он умрет?»

Она очень испугалась, хотя и не могла до конца измерить глубину мужского страдания. Когда-то она думала, что познала все страдания, все виды отвращения... А теперь почувствовала себя глупой девчонкой, набитой претензиями, и это подсказало ей простой и ласковый жест.

Она потихоньку освободила пальцы из тисков здоровой руки брата и отерла крупные капли пота с его лба. Он улыбнулся, и для Лиз его улыбка была наградой.

— Лиз, я хочу заставить твою мать как следует потратиться. Наш папаша зарабатывал свои деньги ничем не хуже всей этой публики...

Стиснув зубы, Лиз опять судорожно запрыгала.

Франсис с трудом поспевал за мчащимся танцем.

\* \* \*

Даниель по-прежнему сидел, точно пригвожденный к своему креслу. Он был одинаково безразличен к вздохам Мирейль и к вызывающему покачиванию Доры. Презрение Франсиса все больше кололо его, и Даниель вдруг подумал, что, наверно, именно в эту секунду Лиз смеется над ним. Каждый раз, когда он казался себе победителем, все тут же оборачивалось против него... Нигде ему не было хорошо. А здесь, среди этой сволочи, которая пьет и веселится в такой вечер, и подавно. И этот Франсис, он словно отпихнул его ногой. А тип на площади Этуаль, у которого сын в Индокитае и который кричал о мире? А остальные каналы? Как они его ненавидят... Черт побери, во всем виновата дура Мирейль! Но зачем он звонил ей?.. Да просто потому, что все бросили, все покинули его. И Лэнгар ничем не лучше других, и довольно с него этого Лэнгара. Джо! Максим! Их приписывают ему, а он-то при чем? Он ничего не имел против них. Вот так и с его прошлым: он делал свое дело, и все были довольны. А сегодня те самые люди, которые науськивали его, которые собирались начать все сначала, вдруг делают постные лица и укоризненно качают головами. Поэтому ничего и не выходило. Ему тридцать лет, из них восемь он провел в тюрьме; больше четверти жизни! В одной и той же последовательности к Даниелю приходили все те же мысли, и он продолжал пить. Вино не помогало ему, от него оскорбленное самолюбие становилось еще болезненнее, острее ощущались несправедливость и нестерпимое одиночество. Его отпустили на волю, но чернь взяла верх. Он увидел, что Франсис и Лиз возвращаются к столу. Франсис держался еще прямее, чем раньше, и Даниель приготовился к скандалу.

— Ради бога, Даниель! — взмолилась Мирейль, перехватившая его взгляд.

Он грубо передернул плечами, залпом выпил стакан и не сдержал отрыжки. Дора вышла из оцепенения и, как всегда глупо, захохотала:

— Хи-хи-хи, а вот и каменный человек!

Чтобы заставить Дору замолчать, Даниель под столом ударил ее ногой. Она заплакала еще громче, чем смеялась. Лиз и Франсис усаживались с торжественным видом. Лиз думала о каменном человеке и о своей мамаше, принимавшей виларовского «Дон-Жуана» за новенькую пьеску. Мадам Рувэйр сидела с покрасневшими глазами. Атмосфера над столиком сгущалась и

принимала зловещий характер. Впрочем, Лиз, осмотрев зал, повсюду увидела одни надутые физиономии. Наверное, здесь все скучали. Лиз собралась было поделиться своими наблюдениями с Франсисом, но тяжелое молчание остановило ее. Чтобы не вызвать бури, она промолчала. Свиные взгляды Даниеля были достаточно красноречивы... Гарсон принес еще бутылку шампанского, и Франсис снова увел Лиз танцевать. Время тянулось бесконечно, никто не знал, как выбраться из захлопнувшейся мышеловки.

\* \* \*

Чтобы ничего не видеть, Даниель опустил голову на руки. Ему хотелось ударить Лиз. Она проходила в танце мимо столика и улыбалась. Даже интересно, как быстро вздорная девчонка становится законченной шлюхой. Хорошо бы поиздеваться над ней, но он был не в силах. Унижения этого вечера последовали сразу после мечтаний о реванше. Они прибавились к прежним унижениям, но видит бог, их у него было и так достаточно.

Даниель думал, что эти унижения похоронены и забыты, а они вылезают поодиночке и осаждают его... Несчастный дурак, он вообразил, что когда-нибудь все это пошатнется. Оно действительно пошатнулось, но совсем в другую сторону. Он и такие, как он, всегда были загонщиками. Они находили дичь, приканчивали ее, сдирали шкуру — и тогда появлялись хозяева и отпихивали их в сторону одним движением плеча... Но, черт возьми, сегодня, в этот вечер поражения, он, бесспорно, с теми, на чьей стороне выгода! Да, это так, но, к сожалению, люди мало испытали на себе эту войну. И почему это он, Даниель Лавердон, неизменно оказывается в одном лагере с презренным гнильем? Значит, гнилье лучше, чем сволочь, чем эта левая падаль... С гнильем еще можно жить, надо только не подчиняться ему, а командовать, заставлять его ходить по струнке. Дурацкая штука — жизнь! Все перепуталось, все дороги переплелись, разобраться невозможно. Ладно, в следующий раз мы будем умнее, мы уничтожим все на своем пути. Человеческая поросль отрастает не так уж скоро. По крайней мере наступит спокойствие. Само собой, понадобятся трудовые и каторжные лагеря. Да, но пока что получается полная ерунда. Вот Дора. Она опять на панели, а все потому, что Бебе толкнул ее туда. Мирейль покорна и глупа, как овца, она способна на все, только бы услышать от него хоть одно ласковое слово. Она еще послушнее Доры. А вот Лиз, наглая Лиз, оскорбляющая его, точно он виноват, что эти женщины такие... Он надоел им всем, как вон те обезьяны, что кривляются перед оркестром...

Интересно, сколько в этом кабаке евреев? Сколько крупных и мелких подлецов? Стоит ли думать об этом! А все-таки он соскучился по хорошей газетке, которая называет вещи своими именами и свиней называет свиньями. В свое время такое удовольствие вы могли получать каждое утро... Даниель вспомнил листки серой бумаги, которые кричали о жидомасонах, жидоплутократах, жидомарксистах... Хорошее было время. Конечно, Ривароль<sup>[9]</sup> был лишь слабой заменой, эрзацем, как говорили в те времена. Но зато тогда не было никаких проблем, не над чем было ломать себе голову. Жизнь шла по прямой линии, легко и гладко, без изгибов. Было ясно, кого следует убивать...

Взгляд Даниеля остановился на лестнице, которая вела в погребок. По бокам железные решетки с любопытными узорами. Они напоминали решетки в тюремных залах свиданий, но кое-где, точно языки пламени, торчали зубцы. Решетки, как наваждение, преследовали его повсюду. За ними спокойно живет. Он был старостой участка, и мирно бежали однообразные дни. Маленький Деде, взломщик Боб... Она утомительна, эта свобода. Да разве он на свободе? Это только так говорится. Свобода была раньше, когда они сметали препятствия, когда очищали

землю от вредоносных рас. Довольно басен! Свободы нет, каждый наслаждается жизнью, как может и где может...

Он опять посмотрел на решетки. Кривые, изогнутые, стояли они у входа, и лишь теперь Даниель понял их символический смысл. Эти люди пришли сюда, чтобы спрятаться за решетками. Всем им сверху, с улиц, угрожало нападение черни. Она бушевала там, словно прибой, она хотела отравить веселье. Он мог кричать о своей тревоге, но его не слушают, ему не поверят. Скажут, что всему причиной его прошлое. А угроза приближалась, она читалась на этих помятых лицах, и дело было не в глупостях жалкого голодранца Франсиса и не в том, что Даниель слишком много пил... Нет, не потому Даниель думал о торжестве красных. И ни при чем здесь это странное молчание, в котором все вокруг кружится, точно в танце... И тупой взгляд Доры, погруженной в какие-то воспоминания, и медленное, блаженное пищеварение Мирейль, этой дуры, которая хочет вернуть его своей томностью и вздохами...

Даниель заметил, что на Лиз нет его подарков. Ни часов, ни золотой цепочки. Напрасно, золото очень пошло бы к ее черному платью. Значит, она стыдится его подарков, эта стерва? Он поймал взгляд Доры и удивился: почему он решил, что у нее голубые глаза? Волосы Доры свалялись, настоящая мегера, потасканная и ошипанная. Ее вид раздражал его, мешал думать. И что за глупость — красить ресницы сине-зеленой краской? Нарисованные брови помефистофельски приподняты к вискам... Сейчас ее глаза полузакрыты и усталое, накрашенное лицо кажется маской изнемогающего клоуна. А ведь у Доры были голубые глаза... Он вспоминал... Магазин на Елисейских полях, Дора примеряла костюмы... Тут он не мог пожаловаться, Дора носила его подарок, она не расставалась со своим серо-голубым костюмом. Он вспомнил и того еврейчика, секретаря какой-то редакции.

Мирейль, Дора, Лиз. Он спал со всеми тремя, а сейчас они все здесь, вместе с этим болваном, который его ненавидит. И за что только, бог мой? За беды своей мачехи или горькие минуты сестры? Каменный человек. Придумают же такую чепуху...

Теперь чугунные спирали лестницы вращались вместе с танцующими. Даниель выпил еще. Нужно выключить память. Чугунные спирали смыкались вокруг него, он чувствовал себя мишенью, висящей в тире. Ударить кого-нибудь?.. Утро, когда он выходил из тюрьмы, возникло перед ним ярко и грубо, как плохо снятый цветной фильм. Напрасно он так торопился тогда, напрасно не рассмотрел получше тот лес, и маленькую деревушку, и лицо аббата. Он был неплохой мальчик, этот аббат. Глуповат, конечно, но по крайней мере не мерзавец. А солнце светило на антикоммунистические листовки, расклеенные по городу...

Надо переждать, убедить себя, что между весной сорок четвертого года и этой весной ничего особенного не произошло. Нет, был Бебе. Этот подлец обошел, обманул его, выжал, как лимон, и выбросил на асфальт. И ради него он убил Джо! Конечно, Джо стоил недорого, но все же... Джо, Бебе, Мун, Дора, Лэнгар. И эти глупые щенки, Максим и Лиз. Лиз причинила ему боль. Это она привела ту очкастую сволочь. Жаль, что он не смог расправиться с ней как следует. Все сложилось крайне неудачно — статья в «Юманите», арест. А теперь он должен сидеть тихо, ждать, чтобы о нем забыли. Но так было раньше, до падения Дьен-Бьен-Фу! Теперь — другое дело. Не следует обращать внимание на этого Франсиса. Он ранен, еле жив, что с него взять...

Надо пересидеть, дожидаться своего часа. Он придет, этот час, о котором он так мечтал, прежде чем очутиться в этом поганом кабаке. Только бы переждать. Конечно, хорошо бы разбить морду этому болвану, чтобы научить его вежливости. Нет, нельзя, надо терпеть.

Даниель опять посмотрел на изогнутые прутья решетки. Он встал и пошатнулся. Лиз с торжествующим видом шла вместе с Франсисом к столу. Даниелю хотелось пить. Он наклонился, чтобы поймать бутылку за горлышко, но все предметы закружились в вальсе.

Мирейль тоже качалась с тяжеловесной грацией коровы.

И все остальные, вместо того чтобы смиренно усестыся по местам, издевательски гарцевали вокруг него. Нет, надо показать им, что так его не возьмешь. Почему Рита сказала, что ей необходимо лечь спать пораньше? Она сказала: «Я должна догнать эскадру...» Какую, к черту, эскадру, спросил он и вообще что за дурацкий разговор? Он никак не мог вспомнить, болела голова. Впрочем, да, американцы в Каннах. А почему американцы оказались в Каннах? Не надо было отпускать Риту. Она американская шлюха, но при чем тут эскадра? Канны — не порт. И войны сейчас нет. Давным-давно война кончилась. Пускай они празднуют День Победы, эти дураки. Но как они смеют? Неужели они не понимают, что проиграли войну? Проиграли в ту минуту, когда американцы перешли на сторону противника? Что ж тут праздновать? Он хотел крикнуть: «Еще бутылку!» — потому что горло совсем пересохло, но голос его словно ударился о стену, обитую ватой.

— Гарсон, еще бутылку!

Теперь он услышал себя. К их столику поворачивались любопытные лица. Мирейль испуганно таращила глаза. Ха-ха-ха, она боится, что придется раскошелиться. Скряга! Она всегда была скрягой. Он ненавидел ее. Грим потек от жары, краски смешались, погибло произведение искусства, созданное, чтобы пленить Даниеля! Темно-синее платье в темных пятнах пота, она вся мокрая. Здесь хозяин он, Даниель! Надо бы надавать ей пощечин, а потом отлупить эту маленькую стерву Лиз... Отделать ее на совесть, как старуху Метивье. Она тоже вела себя нахально, эта тетка с головой злого попугая. Теперь она ходит на костылях. Она тоже будет праздновать Победу, эта Метивье? Ее повезут на тележке через площадь Согласия. Вот когда она будет неплохо выглядеть! Да, все они должны ползать у него в ногах.

Лиз собралась было опять увести Франсиса на танцевальную площадку. Состояние Даниеля ей не нравилось. Но она опоздала: на эстраде появилась девица, объявили номер «стриптиза».

— Совсем как у нас в Ханое! — проворчал Франсис.

— Лиз, ты бы вышла пока! — резко сказала мадам Рувэйр. — Ведь у тебя траур.

— По ком, мама? По Максиму, или по Дьен-Бьен-Фу?

— Перестаньте сейчас же говорить о трауре! — загремел Франсис.

Вокруг них дарило молчание разгоряченной, жадно дышащей толпы. Девица постепенно разоблачалась.

— Для них это и есть Франция! — крикнул Франсис.

Девица подбросила кверху лифчик, и зал наполнился восторженным шепотом.

— Давайте выпьем! — заорал Даниель. — Плачу за всех!

Франсис поднял голову, он побледнел еще больше. Вокруг раздалось возмущенное шиканье.

— Сегодня мой праздник! — еще громче орал Даниель. — Я пью за похороны вашей победы!

Он поднялся с пустым стаканом в руке, желая продолжить тост, но споткнулся и тяжело упал в кресло.

— За похороны! Что? Вы, наверно, и не подумали об этом!..

Он, хохоча, обернулся к Лиз и Франсису.

— В Дьен-Бьен-Фу всех каналов! Вырезать жидов и коммунистов!

На мгновение Даниель потерял нить мысли. Девица на эстраде закончила номер блестящим трюком: когда последний покров готов был упасть, она вдруг оказалась даже более одетой, чем раньше. Публика бешено зааплодировала, все были немного разочарованы, хотя и отдавали должное мастерству певицы. Дора открыла рот, но говорить не решилась. Стало невыносимо

душно, толпа вперилась в эстраду, трудно дыша, как загипнотизированная. В наступившей тишине как будто даже было слышно, как падают на пол тяжелые капли пота. Даниель взмахнул рукой, точно лова надоедливого комара, наконец-то ему удалось поймать отрывок мысли.

— И все Сопро-тив-ление тоже в Дьен-Бьен-Фу!..

Лиз вскочила, белая, как простыня. Даниель наклонился к ней.

— Жаль, дорогая, что в тот вечер я не прихватил тебя с собой. Прогулка по Булонскому лесу пошла бы тебе на пользу, ты не была бы такой нахальной, — пальцы его сжались, словно вокруг ее горла. — Ты вполне этого заслужила. В прежние времена мы отправляли таких девчонок прямо в бордели для солдат...

— Но ваше время прошло, — спокойно сказал Франсис. — И навсегда.

Лиз стояла, как вкопанная, вцепившись в стол. Даниель только что признался, что убил Максима. Ужас овладел ею, она чувствовала дрожь во всем теле.

— Вы же видите, он пьян! — жалобно сказала мадам Рувэйр. Она была совсем больна от нескрываемого любопытства окружающих.

Девица на эстраде знала свое ремесло. На ней осталась только нижняя юбка, которую она сложила наподобие передничка, зал в восторге рукоплескал, налитая кровью, побагровевшая толпа, казалось, источала грубое желание. Дышать становилось все трудней. Надо было уходить, но теперь Лиз захотелось отплатить за пережитый страх, вызвать наконец вспышку и освободиться от томительного ожидания. Даниель наливал в стакан шампанское и пил большими глотками. И только Франсис хранил ледяное спокойствие. Презрительно, как посторонний, он рассматривал Даниеля, точно перед ним было редкое животное. Наконец Франсис поднялся и встал рядом с сестрой.

— Я просто хотел убедиться, действительно ли существует подобная нечисть. Мне говорили, что она вылезла из своих помоек. Идем, сестренка, не бойся: она кричит, она пузырится — и только...

— Назад! — заорал Даниель. — Я заставлю вас выпить за похороны!..

Франсис пригнулся, и Лиз увидела, что его здоровый кулак направлен в челюсть Даниелю. Но тут же рука медленно опустилась, кулак разжался.

Опять они в упор смотрели друг на друга. Бледный, одутловатый Даниель и темнолицый худой Франсис. Огромный гипсовый горб, выпиравший из-под мундира, описал полукруг. Франсису казалось, что мертвый груз искалеченной руки тянет его к этому верзиле, откормленному и чересчур хорошо одетому, который заставил страдать Лиз. Его всегда учили, что с врагом надо кончать, но впервые перед ним стоял настоящий враг. Долгие годы Франсиса учили убивать, и он убивал, чтобы не думать. Мысли об отце точили его всю жизнь, как прожорливые насекомые. Мир закупорен наглухо, он задыхался в нем, как задыхались люди в этом кабаке. Франсис опять примерился к челюсти Даниеля, но тот и глазом не моргнул. Возможно, он не заметил, а возможно, был смел. Молчание затянулось. Лиз дрожала, и Франсис, не глядя, чувствовал, что она дрожит. Он опять сжал здоровую руку. Даниель тоже пошевелился. Стало больно, ногти врезались в ладонь. Растерявшаяся Мирейль глазами умоляла обоих.

— Тебе не нравится Дьен-Бьен-Фу?

Франсис не кричал. Он говорил совсем тихо, но ему казалось, что стены повторяют его слова. Зачем он сказал это? И он быстро прибавил:

— Тебе не нравится Сопротивление? Может, я тоже тебе не нравлюсь?

Певичка наконец кончила номер. Загремела истерическая овация, почти заглушившая голос Франсиса.

Даниель уставился на Франсиса, лицо его было неподвижно, как восковая маска. Франсис

медленно отошел от него. Конечно, лучше было ударить. Рассчитаться сразу за все — за воспоминание об отце, за свинство Даниеля, за свою изгаженную жизнь. За погибших под Дьен-Бьен-Фу, Ему было больно, словно он отрекся от них. Зал приглушенно гудел. Певичка исчезла, и теперь толпа следила за ссорой. Нарушитель спокойствия уходит, и все обрадовались: можно будет веселиться без помех. Солидный господин с поклоном приближался к Франсису. Видимо, это был директор, он пришел, чтобы выставить Франсиса к всеобщему удовольствию. У лестницы Франсис обернулся и увидел, что люди за столиками искоса поглядывают в сторону Даниеля. Франсис громко засмеялся и ступил на лестницу. Лиз пошла за ним, но почти тут же отчаянно вскрикнула:

— Он идет за нами!

Франсису сразу стало легко. Кованые языки пламени свисали с решеток лестницы. Они еле держались на слабеньких винтиках, и Франсис только сейчас понял их смысл. «Шлюпка» — утлое суденышко, плывущее по волнам...

— Что вы делаете, мсье! — крикнул сзади чей-то голос.

Лиз прижалась к решетке. Даниель догонял их быстрее, чем ожидал Франсис. Он повернулся, и искалеченная половина его тела вплотную прижалась к перекладинам. Франсис хотел ударить Лавердона ногой, но тот увернулся и схватил его за полу мундира, Франсис пошатнулся. Гипс с легким треском ударился о железо решетки, и нестерпимая боль пронзила Франсиса.

— Подлец! Бить раненого! — выла Лиз.

Даниель сорвался с цепи, ему было уже все равно. Он ударил Франсиса в лицо и замахнулся для второго удара, но Франсис пригнулся. Удар прошел выше, и Даниель на секунду потерял равновесие. Он опять приготовился к броску, чтобы сбить Франсиса с ног, но тут его настиг страшный удар в поясницу. Франсис сорвал украшение с решетки и бил им, как кинжалом. Он наносил удары здоровой рукой, вкладывая в них всю силу, точно в рукопашном бою. Наконец-то он схватился с настоящим врагом, и враг этот заплатит ему за все. Второй удар пришелся Даниелю в затылок. Он упал, скатился со ступенек и потерял сознание. Франсис мгновение постоял, слушая вопли ужаса, и тоже рухнул с победной улыбкой на осунувшемся лице.

\* \* \*

Когда Даниель вынырнул из небытия, он не помнил, куда угодил тупой кинжал. Болела спина, но не позвоночник, а где-то правее. Он успел подумать: «Наверное, печень», — и тут же его захлестнула волна тошноты, стремительная и горькая, как морская вода. Его несли куда-то, причиняя мучительную боль. Он крикнул: «Я же не вьет, черт вас возьми!» Но почувствовал, что губы его безмолвны. Откуда эта ужасная качка, вызывающая тошноту? Франсис ударил его предательски, он тоже предатель. Франсис его оскорбил. Ему было наплевать на всех, кроме Франсиса. И еще ребят из Дьен-Бьен-Фу. У них у всех был общий враг. Впрочем, нет, его враг — это Франсис. Он не сделал Франсису ничего плохого. И, если Франсис считает его врагом, значит, кто-то предал их обоих... Он начал икать. Его подняли, отнесли куда-то и подняли опять. Быть может, он, Даниель, предатель? Они травили его на суде.

И сейчас он был совсем один. Лиз — с Франсисом. Мирейль? Нет, нет не надо. Дора принадлежит всем. Она предательница. Бебе предал его, его предали все. Лэнгар, Рагесс. Все предатели, и сам он — тоже предатель...

От земли потянуло холодом. Он хотел поднять руку, чтобы найти хотя бы каплю тепла. Но

рука не поднялась, а проклятая волна тащила его вниз. Он попробовал еще раз. Чего они так кричат, эти люди? Вот так же кричали они на суде, все сразу, так что ничего нельзя было разобрать. Ярость толпы гудела, как река, а он сидел один на скамье подсудимых, и затекшая от долгого сидения спина болела почти так же, как болит сейчас... Он хотел встать, но к нему приближались люди. Он знал, что ответить председателю трибунала. Надо рассказать ему о трюке Бадэра, когда тот был старостой. Обыкновенная смиренная рубашка. Завязка проходит по горлу и стягивается на затылке. Но зачем они надевают эту рубашку на него? Они хотят его задушить, эти свиньи! Но так нельзя, это не по правилам! Почему они не хотят его слушать?..

Из тьмы появился гримасничающий аббат: *Quis tulerit Gracchos...* Кто потерпит, чтобы Гракхи жаловались... А при чем здесь он?.. Кто потерпит, чтобы Даниель Лавердон жаловался... Надо было прикончить его в машине, этого аббата... Враги надвигались со всех сторон. Их свора сметала преграды, подступала к нему. *Quis tulerit Gracchos de seditione quaerentes?* Они перелезали через деревянные плотины и кричали, кричали... Надо встать, оставаться здесь нельзя. Франсис — на той стороне, с этой воющей чернью. Кто может защитить Даниеля? Никто. Его товарищи давно мертвы. Надо было все сжечь, все уничтожить... Его опять подняли и понесли. Надо встать, нельзя валяться здесь, точно падаль. Ах, да, Рита. Американская эскадра. Уничтожить всех до одного. А сейчас — встать!.. Снова внутри него поднялась волна. Он хотел ухватиться за нее, подтянуться, чтобы встать, вздохнуть... Но волна закрутила его, как смерч, и окунула в глубину огромного, черного взрыва.

Рагесс еще раз перечитал сводку ночных донесений. Для начинающего это было бы золотым делом. Показания очевидцев совпадали, убийца был арестован, а жертва — хорошо известна полиции. Похоже, что Рувэйр действовал в рамках законной самозащиты. Опрошенные свидетели единодушно утверждали, что Лавердон бросился вдогонку за Рувэйром и настиг его на нижних ступеньках лестницы.

Сообщение для печати у начинающего выглядело бы примерно так: герой индокитайской войны подвергся предательскому нападению в день поражения под Дьен-Бьен-Фу и, защищаясь, убил нападавшего. Нападавшим оказался бывший эсэсовец, приговоренный в свое время к смертной казни, но помилованный.

Рагесс написал это на бумажке и посмотрел на нее искоса: ему нужно было убедиться, что такое решение совершенно исключено. Однако о привлечении Рувэйра к ответственности за убийство нечего было и думать. Это понял бы любой начинающий.

Прежде чем передать сообщение в печать, всегда следует увериться в том, что виновата именно та сторона, которой надлежит быть виноватой, то есть «плохая сторона». Трудность заключалась в том, что здесь как раз не было плохой стороны. Лавердон пользовался высоким, даже очень высоким покровительством, а Рувэйр был одним из героев дня. Положение было настолько сложным, что Рагесс даже обратился к своей совести, но и там не получил ответа. Следствие надо было провести так, чтобы и честь Рувэйра осталась незапятнанной, и прошлое Лавердона не всплыло на поверхность. Между тем всякое убийство привлекает внимание газет, даже если и без того им есть о чем писать. У коммунистов и так достаточно тем, чтобы пробудить в массах дух патриотического негодования. Не следует лить воду на их мельницу, снабжая их материалом из отдела происшествий.

Нет, смерть Лавердона никак не уместилась в этой рубрике.

Рагесс посмотрел на большие часы, висевшие в кабинете. Они показывали девять часов тридцать минут. Он только что поочередно допросил метрдотеля «Шлюпки», человека весьма осторожного, владельца заведения, слезно молившего замять дело, так как кабак открылся совсем недавно, и, наконец, Дору, проститутку, приятельницу Лавердона и Ревельона. Дора помнила и говорила только одно: Лавердон был любовником мачехи своего убийцы.

Выслушивать сетования этой дамы у Рагесса не было ни малейшего желания. Ночью, когда она узнала, что Лавердон скончался, она закатила такую истерику, что ее уложили в постель. Пусть там и остается. Теперь очередь за маленькой Лиз Рувэйр, сводной сестрой убийцы. Рагесс протянул было руку к делу Лиз, лежавшему у него на столе, но тут же отдернул ее, словно обжегся. Лиз Рувэйр была замешана в темном самоубийстве в парке Багатель, а там тоже сильно пахло Лавердоном.

Девять сорок. Время еле ползло. Патрон, конечно, отправился на военный парад в честь Дня Победы. Рагессу приходилось выпутываться одному. И как накануне он не догадался попроситься на демонстрацию?

Конечно, министр опасался осложнений. У господ военных хватало нахальства, они преспокойно маршировали через сутки после капитуляции Дьен-Бьен-Фу. Однако воспоминание о Ланьеле и Плевене, которых взяли в работу головорезы из экспедиционного корпуса, еще было слишком свежо. Многочисленные меры предосторожности были приняты, но Рагесс чувствовал себя неважно. Разве можно быть строгим к людям, выступающим против правительства, если оно сознательно допустило разгром под Дьен-Бьен-Фу? А тут еще на его голову свалился труп Лавердона... Рагесс схватился за эту мысль! С трупа он и начнет. Кто им



заинтересуется в первую очередь? Конечно, его хозяин, то есть Лэнгар.

Рагесс набрал номер телефона парижской квартиры полковника, но никто не подошел. Черт возьми, он тоже на параде. Забавно, что Лэнгар тоже празднует День Победы. В мае сорок пятого года он в немецкой форме отсиживался где-нибудь...

Рагесс приказал привести маленькую Рувэйр.

Он представлял ее совсем иной. В кабинет вошла благонравная девица в черном платье, красивая, с длинными ногами и маленькой грудью. Рагесс раздевал ее взглядом, пока она не смутилась. Тогда он придвинул ей стул, попросил сесть и еще бесцеремоннее продолжал осмотр. Затем он сказал неожиданно и ласково:

— Вот и второе убийство, в котором вы замешаны. Для девушки ваших лет это многовато.

— Я замешана и в войне, на которой погибло тридцать миллионов человек. И еще в других войнах поменьше.

— Не стоит так нервничать. Я свой вопрос обдумал и задал его совершенно серьезно.

— И я отвечала так же.

— Не похоже. Оба убийства касаются вас непосредственно.

— А войны?

— Это не одно и то же...

— Моего мнения никто не спрашивал ни в первом, ни во втором случае...

Рагесс почувствовал, что начинает злиться. Он хотел было сдержаться и сохранить учтивость, но решил, что, пожалуй, лучше хорошенько припугнуть эту языкатую девицу, сбить с нее спесь.

— Когда вы познакомились с Лавердоном?

— Я встретила его в доме моей матери вскоре после того, как его выпустили из тюрьмы.

— Какие отношения были между вами?

Лиз колебалась какую-то долю секунды.

— Ровно никаких.

— А у вашего любовника Максима С\*\*\*?

Лиз так обрадовалась, что допрос пошел в этом направлении, что даже немножко растерялась:

— Я... я не знаю.

Рагесс заключил, что добыча поймана. Он сказал победоносно:

— Вы лжете.

— Вы не имеете права...

— Вы даже не моргнули, когда я напомнил вам об убийствах!

Лиз взяла себя в руки.

— Максима убило общество.

— Поздравляю вас, мадемуазель. А где вы прогуливались в тот вечер, когда ваш друг покончил с собой?

— В Пале-Рояле.

Действительно, в Пале-Рояле Лавердон высадил ее из машины, когда они вышли от Гаво. Потом он увез Максима в Булонский лес.

— А вы уверены, что в вечер убийства вы не видели Лавердона?

— Уверена, — несколько поспешно сказала Лиз. Она боялась, что он опять начнет копаться в подробностях той ночи.

Рагесс улыбнулся. Теперь он не сомневался, что маленькая Рувэйр так или иначе участвовала в убийстве Гаво. Он снова заговорил своим излюбленным тоном добродушного отца семейства:

— Я задержу, вас ненадолго, всего на несколько минут. Конечно, было бы лучше, если бы вы согласились помочь нам... Посидите немного в коридоре...

В десять тридцать Рагесс получил сведения от хозяина отеля, в котором жила Лиз, и в его голове зародился неясный план возможного выхода — любовная драма. Лиз хотела отомстить Лавердону, который ее бросил. Тем временем ему принесли дело Дювернуа, и он прикинул: нельзя ли пришить Лиз связь с коммунистами? Большого успеха такой вариант не сулил, но мог при случае запутать следы и оказаться полезным. У барышни рыльце было явно в пушку, недаром она так тщательно замалчивала все, что знала о деятельности Лавердона. Патрон будет доволен, он не хотел чтобы кто-нибудь копался в причинах, почему покончил с собой юный Максим С\*\*\*. Настроение Рагесса начало улучшаться, когда он вспомнил, что Лавердон был немецким агентом и что его смертью неизбежно заинтересуется одно высокое учреждение. Он решил немедленно поговорить с Ревельоном, чтобы заранее защитить себя от Лэнгара.

\* \* \*

Филипп Ревельон шел по тропинке к площадке, находившейся в нескольких метрах от моря. Он собирался побеседовать с тестем. Чуть подалее, у лодочного сарая, где волны тихо шипели на мелком песке бухты, дети, как всегда в это время, занимались плаванием. Ветерок доносил до Филиппа резкий голос преподавательницы:

— Брассом... Лягушкой... Брассом... Лягушкой...

Он сделал еще несколько шагов и увидел Кристиану, растянувшуюся на песке. Солнце окрасило ее кожу в цвет золотистой пшеницы. Линии тела Кристианы были так совершенны, что Филипп почувствовал волнение. Сейчас он спустится к жене и детям и будет счастлив... Никогда его жизнь не была такой спокойной и тихой. По-видимому, это и называется миром.

Странное дерево заслонило Филиппу вид на бухточку. У него не было ни ствола, ни листьев — одни мясистые, светло-зеленые трубки с зубцами более темного оттенка. Кристиана рассказывала ему, что это растение — одно из старейших на земле, что оно появилось сотни миллионов лет назад. На повороте тропинки, посыпанной гравием кораллового цвета, Филипп увидел знакомый силуэт тестя. Кадус устроился под пестрым зонтом в кресле из полотна, натянутого на сверкающие стальные трубки. Весь в белом, он напоминал министра, совершающего служебную поездку по стране дикарей. В руках он держал пачку написанных на машинке листков. Он поправил темные очки, давая этим понять, что появление Филиппа им замечено.

— Здравствуйте, зять. Из Парижа приехал Шардэн, мы уточним доклад, который я буду делать пятнадцатого мая на заседании Генеральной Ассамблеи. Ага, легок на помине.

Шардэн спускался по дорожке следом за Филиппом. Он был в шортах, но подтянут, как всегда. Даже в этом более чем легком костюме, несмотря на свой рост и худобу, он не выглядел смешным.

— Вас, вероятно, обрадовало падение Дьен-Бьен-Фу, — вместо приветствия бросил ему Филипп.

— Нет. Я огорчен, что дело дошло до этого.

— Я давно говорил вам...

Филипп перехватил сердитый взгляд тестя и понял, что совершил серьезную ошибку.

— Не слушайте его, — сказал адвокату Кадус. — Когда мой зять говорит об Индокитае, он теряет способность рассуждать здраво. Гоните природу в дверь... — Он взмахнул пачкой листков. — Я использовал ваши соображения, Шардэн, но не все. Когда вы их излагали, вы

слишком много думали о господине председателе суда. Но я-то ведь — не адвокат обвиняемого, я сам председатель. Я могу позволить себе более смело разговаривать с этими господами. Оставим в стороне банальные истины и всякие предисловия. Главное, что в этом году мы выплатим чистого дивиденда на акцию не девяносто франков, как в прошлом году, а триста...

Кадус замолчал, увидев слугу в белой куртке, сбегавшего к ним по тропинке.

— Мсье Филиппа просят к телефону. Междугородняя, из Парижа.

— Пройдите в лодочный сарай, Филипп. Там тоже есть аппарат...

\* \* \*

Вскоре Филипп возвратился. Кадус порылся в листках, нашел нужное место и начал читать монотонно, однако вид у него был таинственный.

— Мы еще шире развернули ту область нашей деятельности, которая ведает промышленным оборудованием, которая упрочила наше положение в прошлом и обеспечила нам неопределимую автономию в настоящем. Как уже отмечалось в первой части доклада, общая для Франции стабильность цен на товары и сырье находится в некотором противоречии с упавшими ценами на оборудование, необходимое для промышленного производства. Нормальное снабжение производящих предприятий удалось обеспечить лишь за счет значительных уступок коммерческого характера... Так. Дальше идут рассуждения о «весьма остром характере иностранной конкуренции на мировом рынке», о тех преимуществах, которыми она располагает, о необходимости поддержки со стороны государства и прочее... Все это важно, потому что подводит вас к следующему: если мы можем рассматривать свой портфель заказов как вполне удовлетворительный, то лишь благодаря тому, что были приложены значительные усилия в области снижения продажных цен... Вы понимаете этот переход, Шардэн? Я делаю им первое вливание вакцины беспокойства...

Кадус продолжал, даже не смотря в свои листки:

— На наш взгляд, основная причина этих затруднений кроется в том, что внутри страны мы часто вынуждены продавать промышленное оборудование себе в убыток. Если такое положение сохранится, оно может повлечь за собой весьма важные последствия. Мы можем скатиться до уровня страны несамостоятельной, неспособной в короткий срок удовлетворить возрастающие требования технического прогресса и выдержать обострившуюся иностранную конкуренцию...

Папаша Кадус остановился, чтобы перевести дух... Глазки его блеснули. Затем он опять начал читать, смакуя текст, как автор, самолюбие которого удовлетворено.

— С этой точки зрения, если мы решили сосредоточиться на экономической стороне рассмотренных проблем, мы будем вынуждены признать, что проект европейской обороны может привести лишь к дальнейшему нарушению равновесия. Оно повлечет за собой еще больший разрыв цен и поставит французские предприятия в невыгодное положение по сравнению с предприятиями экономически более мощных стран. А нам останется только выбирать: либо мы утратим свой технический суверенитет, либо... Тут я еще не сформулировал свое предложение. Я хотел бы объяснить, что второй вариант состоит в том, чтобы значительно урезать дивиденды. Обратимся к фактам...

Шардэн стоял, рассеянно глядя на море, и, казалось, улыбался своим мыслям. Он чуть насмешливо посмотрел на Кадуса и склонился к нему.

— Это форменное объявление войны правительству!

— Нет, — мягко ответил старик. — Нет, это программа будущего правительства.

Он живо обернулся к зятю и кивнул своей лысой головой, показывая этим, что желает

услышать о телефонном разговоре. Филипп начал с несколько нарочитой развязностью:

— Звонил Рагесс. Он сообщил мне, что сегодня ночью Лавердон погиб в пьяной драке. Его убил военный, репатриированный из Индокитая.

Повинуясь взгляду тестя, Филипп подошел к Шардэну, чтобы загладить допущенную бестактность.

— Этот Лавердон мой ровесник, я говорил вам о нем в тот вечер, когда мы познакомились. Лавердон был эсэсовцем когда-то и ни за что не хотел быть никем другим...

— А чего хотел мсье Рагесс? — быстро сказал Кадус, торопясь опередить Шардэна, который, судя по всему, намеревался задать вопрос.

— Посоветоваться со мной. Он в большом затруднении и никак не решит, что ему делать с трупом Лавердона. Он был бы не прочь замять дело, но боится. Насколько я его понял, сестра убийцы не то коммунистка, не то имеет отношение к коммунистам. Во всяком случае, она знакома с каким-то преподавателем-коммунистом. Видимо, он чем-то напоминает вас, Шардэн. Рагесс с удовольствием запутал бы ее в это дело. Он весьма заботится о своем продвижении по службе.

— И вам кажется, что это подходящая тема для шуток? — спросил Шардэн, почувствовав приступ ораторского вдохновения.

— Простите, я, кажется, коснулся чувствительных струн адвокатской души, — насмешливо сказал Филипп. Они стояли рядом и в сравнении с красавцем атлетом, одетым во все белое, самоуверенным и молодым, Шардэн казался очень зрелым и умудренным жизнью.

— Адвокатская душа здесь ни при чем, — серьезно проговорил Шардэн. — Я случайно знаю этих людей, которых теперь начнут обливать грязью и «пришивать к делу». Надо замаскировать убитого мерзавца и обвинить подлинных патриотов, которые сами стали жертвами этого мерзавца, этой зловещей личности...

Шардэн все больше воодушевлялся, вспоминая о разговоре с Дювернуа. В словах Филиппа ему послышались новые угрозы.

— Шардэн, — перебил его Кадус, — Филипп еще не сказал нам, что он ответил Рагессу.

— Я просто спросил его... — Филипп повернулся к Шардэну, конец фразы он произнес подчеркнуто внятно, — я спросил, зачем он звонит мне. Чтобы сообщить о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого? Правосудие разыскивало убийцу Джо Картье, моего шофера, и Гаво, моего бухгалтера. А их обоих, как первого, так и второго, убил Лавердон. Вот и все.

— А куда вы денете девушку? — загремел Шардэн. — Ей двадцать лет, ее отец был начальником полиции при Петэне. На него было организовано покушение, и он умер от ран. Брат девушки вернулся из Индокитая искалеченным. Вам кажется, что этого мало?

— Как ее зовут? — с внезапной тревогой спросил Филипп.

— Где-то у меня было записано. — Шардэн проверил карманы своих шортов и просторной клетчатой рубашки, которую он носил навывпуск. — Хотя подождите. Кажется, ее фамилия Рувэйр. Правильно, ее зовут Лиз Рувэйр.

— Вам нечего расстраиваться, дорогой Шардэн, — назидательно сказал Кадус. — Дело все равно будет прекращено.

— Вы хотите сказать, что полиция попросту избавилась от чересчур ревностного помощника? — съязвил адвокат.

— Ничего подобного я не хотел сказать. Преступление, о котором говорил сейчас Филипп, само по себе достаточно нашумело, и если еще делать событие из смерти Лавердона...

— Позвольте, дорогой тесть, — живо сказал Филипп. — Мне кажется, я могу разом рассеять все опасения Шардэна. Ведь Рагесс никоим образом не захочет погубить эту девушку. Она — дочь его старого приятеля Рувэйра, бывшего начальника полиции в Труа. Сейчас я

позвоню своему секретарю и поручу ему освежить память Рагесса.

Филипп не без опаски ожидал результатов своего вмешательства: погорячившись, он нарушил молчание тестя, а это было еще большей дерзостью, чем перебить его речь.

Однако Кадус несколько не рассердился. Напротив, он просветлел и зашевелил короткими жирными пальчиками. По всей видимости, он был очень доволен.

— Таков наш мир, дорогой Шардэн. Наш мир, а не тот, о котором мечтаете вы. И если в этом мире, — заворчал старик, — вы обладаете определенной силой, то власть пока еще в наших руках. Вы можете разрушить этот хлеб, но ничего не добьетесь, копаясь в его грязи. Сейчас вы довольны, что наши точки зрения совпали. Что ж, интересы Филиппа и некоторые моменты его прошлого сработали в пользу невинной девушки... Но хватит философствовать, друзья мои. Я вижу отсюда, что наш затянувшийся разговор раздражает Кристиану. Если вода кажется вам чересчур холодной, оставайтесь на берегу. Я, во всяком случае, должен поплавать свои четверть часа...

\* \* \*

После большой дозы снотворного Мирейль окутал клейкий, сладковатый туман. Где-то очень далеко отчаянно заливался звонок. Она с трудом перевела дух, попыталась подняться и снова упала на подушки. Отчаянным усилием Мирейль вырвалась из сна, сознание безжалостно и грубо вернулось к ней. Даниеля не было с ней потому, что он умер. Телефон с невозмутимой яростью упрямой машины не переставал звонить, Мирейль сняла трубку.

— В холле ждет мсье Лэнгар. Он спрашивает мсье Лавердона.

Мирейль испустила звериный вопль. Дежурный дал отбой. Мирейль хотелось свернуться в клубок, ей казалось, что так ей будет легче. Она была старой женщиной, потерявшей все на свете. Когда Франсис встал из-за стола во время «стрип-тиза», она решила, что сражение выиграно. Даниель уедет с ней в ее старый дом в Труа. С Лиз она порвет. Конечно, при дележе наследства Рувэйра не обойдется без процесса, но Лиз будет нуждаться и станет сговорчивее... А теперь Даниель умер, они убили его.

В дверь постучали. Она крикнула: «Войдите!» — совершенно забыв, что ночью, вернувшись из больницы, заперла дверь на все замки. Она с трудом поднялась, чувствуя, как каждый шаг болезненно отдавался в мозгу. Мозг словно ударялся о лоб. Она отперла дверь и столкнулась с чистеньким, аккуратным господином неопределенного возраста, которого она уже где-то видела. У нее подкосились ноги.

— Господин комиссар?

Кажется, ночью этот господин уговаривал ее не подавать жалобы. Зачем он это делал? Может быть, заботился о ее спокойствии и хотел выгородить ее пасынка?

К ее удивлению, господин сказал:

— Не волнуйтесь, мадам Рувэйр, я не комиссар, и вы это прекрасно знаете. Мы разыщем Даниеля, можете не сомневаться. — Он добавил, как будто встревоженно: — Надеюсь, вы не впутали в эту историю полицию?

Мирейль открыла глаза так широко, как только ей позволяла мигрень. Он не комиссар? Господин несколько раздраженно и в то же время безразлично осматривал комнату.

— Разумеется, Даниель не сказал вам, куда пошел? Очень жаль. Он нужен мне сейчас же, немедленно. Есть поручение, которое наверняка придется ему по вкусу. Передайте ему это и скажите, что с падением Дьен-Бьен-Фу настало время, о котором он мечтал. Прибавьте еще, что ночью мы взорвали коммунистический книжный магазин в Ницце...

По обыкновению Лэнгар излагал свои мысли, не глядя на собеседника. Он старался быть любезным и говорил медленно, чтобы его слова лучше дошли до пожилой любовницы Лавердона. Она молчала. Лэнгар повторил.

— Не беспокойтесь, он просто отлучился ненадолго.

Лэнгар тихонько потрепал ее по плечу, словно желая сказать, что в будущем ей придется увидеть еще и не такое.

— Я Лэнгар, начальник Даниеля. Не сердитесь на него, к нему надо быть снисходительным, он восемь лет просидел в тюрьме...

— Он умер! Умер! Умер! — рыдая, закричала Мирейль. — Он умер! Его убили сегодня ночью, при мне! Он убит! Его убил репатриированный из Индокитая, мсье! Мой пасынок!..

— Вот как, — сказал Лэнгар и посмотрел на часы.

Он удивился, что ничего не прочел об этом в газетах, затем подумал, что убийство, видимо, произошло после полуночи и не попало в утренние газеты. Эта безумная ничем не сможет ему помочь. Надо немедленно заняться поисками замены Лавердону. И Лэнгар удалился походкой фельдфебеля, принесшего дурные вести. Обидно, Лавердон был именно тем человеком, который нужен в данной ситуации.

Было чудесное утро, ярко-синее небо сияло над городом. Квартал, где разместились министерства, был пустынен. По мере того как Лэнгар приближался к Дворцу Инвалидов, все отчетливее слышались далекие звуки, нарушавшие утреннюю тишину. Затем эти звуки обрели некий ритм, заставивший Лэнгара поднять плечи и распрямиться. Тут только он понял, что музыка доносится с другого берега Сены, где идет военный парад. Победа, которую они праздновали, была когда-то его поражением. Подумать только, что теперь из-за Дьен-Бьен-Фу этот день для многих станет траурным! А может быть, судьба опять готовит ему сюрприз, как в сороковом году? Когда победа немцев стала его победой? Нет, на это пока не похоже. Мысли о войне во Вьетнаме напомнили ему слова той сумасшедшей старухи. Значит, Лавердон убит ее пасынком, вернувшимся из Индокитая? А не приложила ли к убийству свою руку полиция? Он поклялся себе выяснить это и начал искать быстро с телефоном. В полиции у него были верные люди.

\* \* \*

Лиз испугалась. Этот толстый, прыщавый шпик, видимо, твердо решил сделать из нее обвиняемую. Раньше Лиз смеялась над разными баснями о невинно пострадавших, но сегодня, пока инспектор ухмылялся неторопливо и благодушно, она почувствовала, что под ее ногами раскрылась бездна. Шпик считал ее способной на любую мерзость. Он так и говорил ей то ласковым, то угрожающим тоном, и его толстые, обвислые щеки принимали то детски розовый, то лилово-апоплексический оттенок. Когда Лиз глядела в жесткие, зеленоватые глаза под тяжелым лбом, она казалась себе мышью, попавшей в лапы старого матерого кота. Уже было поздно. Лиз хотела вспомнить, что говорил ей Дювернуа, чего она не слышала, чему не поверила. Надо было верить в другую, лучшую жизнь. Но шпик не давал ей времени подумать. Он опять стал толстым добряком, покладистым лакомкой.

— Давайте говорить серьезно, мадемуазель. Вы прекрасно знаете, почему убит Лавердон.

У этого инспектора была такая манера. Он перескакивал с одного вопроса на другой, от Максима к Дан... черт, опять она называет его по имени... к Лавердону! Злясь на себя, она крикнула:

— Я же говорю вам, он напал на моего брата!

— И ваш брат убил его один на один?

— В конце концов...

— Разумеется, сейчас вы заявите, что ничего не понимаете!..

Так и есть, он опять рассвирепел.

— Так вот, Лиз Рувэйр, я расскажу все вместо вас. Когда Максим С\*\*\* был убит, Лавердон был вашим любовником, и вы принимали участие в убийстве. Лавердон знал о вас слишком много, он знал, что вы спутались с коммунистами. И вы решили избавиться от него при помощи одного из ваших новых друзей. К сожалению, дело не выгорело и ваш Дювернуа сам попал в тюрьму. Лавердон держал вас в руках, и вы потеряли хладнокровие. Вы решили, что прибегнуть к помощи брата будет умнее всего. Вы отправились в госпиталь и должным образом подготовили его. Затем вы убедили его самовольно отлучиться из госпиталя и встретиться с Лавердоном в этом кабаке. Там вы напоили его... Но теперь вы засыпались, дорогая. Будучи тяжело раненым, Франсис Рувэйр физически не мог в одиночку убить Лавердона...

Лиз подпрыгнула вне себя от ярости. Этот негодяй, этот мерзкий толстяк собирается пришить ей участие в убийстве! Она хотела надавать ему пощечин, расцарапать ему рожу. Он ловко схватил ее за кисти. Он улыбался, и лиловые полосы — следы гнева — были ясно видны на его прыщеватых щеках.

— Тихонько, девочка, тихонько. Будь ты посмелее, ты бы сама отвечала за свои поступки, а не валила бы их на несчастного братишку...

Он рассматривал ее в упор, и глаза его загорались.

— Попрошу вас, мадемуазель Рувэйр, не выезжать из Парижа. Вы можете нам понадобиться в любую минуту.

Лиз наконец обрела дар речи:

— Но это же чепуха! Идиотство!

Она очутилась в коридоре, так ничего и не поняв. Ей было стыдно за свое поведение, и она дрожала при мысли о суде, перед которым она предстанет вместе с Франсисом. Она разразилась долгими, безудержными рыданиями. Она боялась, смертельно боялась, что прошлое никогда не отпустит ее.

\* \* \*

Главный инспектор Рагесс возобновил допрос маленькой Рувэйр просто так, чтобы рассеяться. Надо было сгладить неприятное впечатление, оставшееся от телефонного разговора с Ревельоном. Постепенно Рагесс вошел во вкус, а теперь испытывал высокое интеллектуальное наслаждение, вспоминая о блестящих дедуктивных умозаключениях, избличавших участие Лиз Рувэйр в этой истории. Блестящая мысль! Она пришла ему в голову неожиданно, как озарение свыше, и сразу все встало на свои места. Теперь патрон может возвращаться. Если он решит дать делу ход, у него будет красивая обвиняемая, порочная экзистенциалистка и коммунистка. Этакая королева Марго из Сен-Жермен-де-Пре. Если дело решат замять, получится еще лучше. Если же кто-нибудь начнет вопить по поводу слишком поспешного прекращения дела, то всегда можно снова вытащить Лиз Рувэйр... Все газеты будут писать о разложении молодежи, о ее беспринципности и развращенности, а Лавердон останется в стороне.

Эта барышня рассердила его своими гордыми позами. Впрочем, он понимал теперь, отчего Лавердон был к ней равнодушен. Почему же все-таки он погиб? Только потому, что его выпустили из тюрьмы слишком рано. Но ведь такие типы нужны, так в чем же дело? Всегда так

получается. Для проведения определенной политики не хватает подходящих исполнителей. А когда вы их достаёте, они начинают мешать политике. Они нарушают закон соблюдения тайны... Рагесс подумал о том, сколько ему придется хлопотать, чтобы организовать Лавердону приличные похороны. Просто удивительно, сколько возни с этими отставными убийцами, которые сделали свое дело и больше не нужны...

Зазвонил телефон. Говорил Лэнгар, и Рагесс поспешил опередить его.

— Вы слышали, что случилось с Лавердоном?

В трубке задребезжало; видно, Лэнгар орал, как зарезанный. Рагесс разобрал только: «... как объясняет свое преступление убийца?»

— Его еще не допрашивали.

— Он из ваших парней, не так ли?

— Да нет же, — проворчал Рагесс. Лэнгар говорил то же, что и Ревельон. Решительно, в это утро полиции приписывали слишком многое.

— Так арестуйте убийцу немедленно!

— Но это была обыкновенная драка с непреднамеренным убийством.

— А где этот репатриированный?

— Послушайте, Лэнгар, в день падения Дьен-Бьен-Фу...

— Ах, вот чего вы испугались! Если хотите знать, под Дьен-Бьен-Фу они сдались, как последние трусы!

Рагесса так и подмывало ответить: «Под Сталинградом тоже», — но Лэнгара надо было успокоить любой ценой. Он ограничился ни к чему не обязывающим замечанием:

— Мы должны считаться с общественным мнением.

— Ваше общественное мнение — это публичная девка! — заорал окончательно расщипавший Лэнгар. — Убийство Лавердона — событие международного значения! Его начальники вряд ли одобряют вашу пассивность, она слишком похожа на соучастие!..

Лэнгар повесил трубку. Вспотевший Рагесс облегченно вздохнул, услышав в коридоре тяжелые шаги патрона.

— Знаете, Рагесс, — устало сказал патрон, усаживаясь за свой стол, — правительство полетит ко всем чертям при первых же дебатах по индокитайскому вопросу...



Во второй половине дня Лэнгар проходил мимо газетного киоска как раз в тот момент, когда с машины сгружали свежееотпечатанный тираж вечерних газет. Лэнгар взял одну газету из груды и начал искать какое-нибудь упоминание о смерти Лавердона. Ничего не найдя, он бросил газету и раздраженно попросил другую. Он внимательно просмотрел все страницы и нашел наконец крохотную заметку под заголовком:

**ДАНИЕЛЬ ЛАВЕРДОН РАСШИБСЯ НАСМЕРТЬ ПРИ ПАДЕНИИ.**

«Сегодня ночью, в 0 ч. 15 мин., мсье Даниель Лавердон собирался идти домой после веселого вечера, проведенного в одном из ресторанов Левого берега, где он обычно обедал. На лестнице ресторана он внезапно упал и при падении получил тяжелые ушибы. Пострадавший потерял сознание и скончался по дороге в больницу. Вскрытие показало, что смерть наступила от перелома шейных позвонков. По-видимому, Даниель Лавердон много выпил и оступился на лестнице. Падая, он ухватился за тяжелое железное украшение на перилах, сорвал его и, упав на него, нанес себе смертельное ранение. Напоминаем нашим читателям, что Даниель Лавердон был недавно привлечен к ответственности по делу об убийстве Жозефа Картье, но вскоре был полностью оправдан. Проведенное уголовной полицией следствие установило смерть от несчастного случая».

Лэнгар перевернул лист и пробежал жирные заголовки: ДЬЕН-БЬЕН-ФУ. ЗАПРЕЩЕНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ СОВЕТСКОГО БАЛЕТА В ЗНАК ТРАУРА. Он не рассчитался с Рагессом, но он от него не уйдет. Сегодня же он передаст кое-какие документы о прошлом Рагесса в один ежемесячник, специально занимающийся шантажом. Это научит Рагесса дисциплине. И тут же, перед ошеломленной продавщицей, Лэнгар стал напевать «Песню отъезда». Он хотел поскорее забыть, что его оскорбили, и помогал себе тем, что начал мечтать о карательном отряде, которым будет командовать в свое время. Перед дулами они, как водится, будут петь «Марсельезу»:

...и за нее француз согласен умереть!..

Лэнгар с удовлетворением повторил: «...согласен умереть!..» А дурачина Лавердон не дожил до такой роскошной войны...

*Валлори — Париж.*

*Весна 1954 года.*

# ПОСЛЕСЛОВИЕ

Коричневое пятно, пахнувшее кровью и дымом, расплылось по Европе, захлестнуло Бельгию, Голландию, Эльзас и Лотарингию...

Старый маршал Петэн встал на подагрические колени. Он признал нового хозяина, грубого, беспощадного, бесноватого и уцелел.

11-го ноября 1940 года в оскверненном гитлеровцами Париже в грандиозной антигерманской демонстрации прошла парижская молодежь.

У Триумфальной арки, близ неугасимого факела у могилы неизвестного солдата, со знаменем в руках был схвачен восемнадцатилетний юноша, француз, патриот.

Гитлеровцы бросили юного знаменосца в мрачный лагерь Маутхаузен, одно название которого приводило людей в трепет.

Год в страшном лагере — это или смерть, или сломленный дух, или школа борьбы, мужества, ненависти.

В 1942 году, возмужавший вместе с неистребимой своей ненавистью, недавний знаменосец вырвался из лагеря, взял в руки винтовку.

Лучшие сыны французского народа шли в маки, вставая стеной Сопротивления. Среди партизан, бойцов Сопротивления, боровшихся за свою любимую Францию, был и узник Маутхаузена, юноша, схваченный у могилы неизвестного солдата, в конце войны подполковник ФФИ и коммунист Пьер Дэкс.

В наши дни Пьер Дэкс все тот же боец за Францию, за ее будущее. Он ничего не забыл, он ничего не простил тем, кто предал Францию, и он с гневной яростью разоблачает тех, кто готов ее снова предать. Но в руках его теперь не отбитый у немцев автомат, не самодельная граната, а острое перо писателя.

Бывший узник Маутхаузена, писатель Пьер Дэкс создает свой первый роман «Последняя крепость». Но герои его романа, как и сам Дэкс, могли выстоять в застенках гитлеровской инквизиции только потому, что обладали верой в человека. Его новый роман — трилогия «Сорок второй разряд» (категория военного призыва) — героическое повествование о коммунистах Франции, самой светлой и активной силе Сопротивления.

Пьер Дэкс принимает оружие социалистического реализма как творческое выражение его собственной партийности, его идеологии, его художественного восприятия действительности. Он пламенно защищает социалистический реализм от реакционно-эстетских нападков. Одно из его публицистических выступлений, «Письмо к Морису Мадо», опубликовано в советском журнале «Иностранная литература».

Французским коммунистам Дэкс посвящает и роман «Парижские трудности». С новой, задушевной стороны проявляется в нем писатель, тонко показывающий внутренний мир и чувства тех, кто в низовой партийной организации борется во Франции за путь к социализму.

Кажется, нет французских коммунистов в романе Пьера Дэкса «Убийца нужен...», нет их среди героев, но коммунисты, их идеи, как свет в безысходной жизни послевоенной Франции, наполняют атмосферу романа, написанного не только писателем, публицистом, литературным критиком, но и общественным деятелем, одним из редакторов «Леттр Франсэз».

Распахнулись ворота тюрьмы, Даниель Лавердон, приговоренный к казни, но расчетливо помилованный предатель Франции, эсэовец из французов, палач, убийца, выпущен на свободу...

От тюрьмы до города Лавердона подвез некий пастор, напутствовавший его при новом вступлении в жизнь, где он кое-кому нужен.

Убийца нужен!

Он нужен тем, кто мечтает о «славных временах», когда снова можно будет не церемониться, когда можно будет спустить с цепи уцелевших Лавердонов, готовых убивать, жечь, пытаться, уничтожать всех, кто пишет или читает «Юманите», «Леттр Франсэз», кто с надеждой смотрит в будущее Франции, мира, социализма...

Убийца нужен, ему найдется дело и в колониях, в Азии, где приходится вылезать из войны, как из грязи, засосавшей по уши, или в Африке, где арабы ведут освободительную борьбу, найдется дело и в самом Париже.

И убийца входит в Париж, почти как победитель, заботливо обеспеченный деньгами, женщинами, автомобилем, оружием, развлечениями.

Этого убийцу по профессии и призванию, человека, который топит в ванне женщину, чтобы вырвать у нее нужные сведения, который закалывает кинжалом французского сержанта, чтобы воспользоваться его шинелью, который поливает огнем автомата стариков и женщин в окнах тихой парижской улочки просто так для развлечения, это страшное двуногое исчадие войны и предательства разоблачает Пьер Дэкс в своем романе «Убийца нужен...».

Но Лавердон живет и действует не один. Он не мог бы существовать в одиночестве. Зловредным микробам нужна питательная среда. И Пьер Дэкс показывает эту среду. Ее представителем, умеющим ловко и бессовестно пользоваться любыми средствами, был дружок Лавердона, былой его сообщник, Филипп Ревельон.

Холодный, расчетливый игрок, не останавливающийся ни перед чем, холеный красавец, в прошлом эсэсовский собрат Лавердона, вовремя от него улизнувший, а впоследствии спекулянт, прорвавшийся в капиталисты, беспринципный искатель выгоды, Филипп Ревельон, вызволив старого товарища из тюрьмы, подкармливает его, чтобы тот делал за него грязные дела. Филиппу Ревельону, нуворишу, выскочке, нажившемуся на войне в Индокитае, надо замести следы, убрать кого следует, а для этого нужен уголовный элемент.

Известно, что фашизм всегда делал ставку на уголовный элемент, чтобы использовать его в политических целях.

И на смену первому хозяину Лавердона появляется второй — французский полковник в отставке Лэнгар, действующий под маской мирного землевладельца, а на деле опекающий изменников родины из «перемещенных», Лэнгар бережет их, как исполнителей будущих путчей в социалистических странах или недорогое пушечное мясо в грядущей войне.

Этой войной живет фашист Лэнгар, продававший себя немецким фашистам и продавшийся теперь за океан, откуда получает достаточные средства для содержания и себя и своих подопечных. У Лэнгара вся ставка на войну. И для желанного ее дня он бережет таких парней, как Лавердон. Убийца ему нужен, без него он не сможет скрутить народу руки, заломить их так, чтобы послышался приятный его слуху стон. А это так ловко умеют делать Лавердоны!

Зловещая фигура Лэнгара — символ черных дней Франции, ее позора, стыда, горечи, и одновременно это улика против двоедушия французских властей, которые, играя в демократию, умышленно не замечали Лэнгаров, предоставляли им полную свободу действий. По существу говоря, они подготовили этим попустительством фашистские перевороты, совершенные в Алжире и на Корсике Лэнгарами. Вылезая из замков, поместий, ресторанов и баров, эти полковники в отставке расправляют плечи.

Третьим хозяином Лавердона, пристально и заботливо следящим за ним, оказывается... полиция — знаменитая Сюрте. Полиция прекрасно знает все кровавые дела своего подопечного, не раз арестовывает его, но всегда находит с ним общий язык.

У шефа полиции, который с ним беседует, это даже ощущается в блатной лексике, общей и для уголовника и для полицейского офицера.

Ему тоже хотелось приберечь нужного парня в надежном месте, скажем, в Индокитае, где ему есть на чем потренироваться и где за его постоянные художества не нужно будет отвечать.

Шеф парижских ажанов не ошибся. Лавердоны понадобились его хозяевам, пригодились если не в Индокитае, откуда пришлось уйти, то в Алжире и на Корсике для путчей, в Париже, Лионе, Марселе для провокаций, они усердно расчищают дорогу фашизму и войне.

Рядом с полицейским начальником Дэкс показывает галерею шпииков, хорошо знающих кому и для чего они служат. Они копаются в человеческих отбросах, но сами созданы из той же грязи и ценят отменного парня с тяжелой и верной рукой, которая всегда может понадобиться. Однако у всех трех хозяев Лавердона: и у Ревельона, и у Лэнгара, и у Сюрте есть общий, подлинный хозяин: во Франции властвует капитал.

Кадус ничуть не принципиальнее своего зятя нувориша Ревельона. Кадус считает вполне естественным и убийство, если оно полезно, и то, что полиция по его указке замнет дело; его нисколько не смущает эсэсовское прошлое зятя или темные его махинации в Индокитае, Но Кадус прежде всего капиталист французский, и он смотрит, что выгодно ему и французской промышленности.

Он понимает, что выгода французского капитала в независимости от американских монополий, загребаящих львиную долю прибылей. Да, папаша Кадус понял это и тяжелой ценой освобождается от американской зависимости, готовый скорее принять помощь и даже родство со стороны авантюриста с темными миллионами, чем зависеть от американцев. Но приняв эту помощь, породнившись с Ревельоном, он направляет и свои и его дела так, чтобы это было наиболее выгодно ему, и считает это выгодным и для Франции. У Кадуса реалистический взгляд на вещи, он думает о торговле с СССР и Китаем. Вот где подлинная выгода для него, Кадуса, вот где неиссякаемые возможности для нужного французской промышленности рынка. И папаша Кадус не отрекается от коммунистических стран, как приказывают американцы, он готов идти с ними на деловое сближение. Кадус — интереснейшая фигура, хотя его к не следует переоценивать. В деле освобождения Франции от влияния иностранного капитала он готов действовать заодно с коммунистами и держит при себе умного юрисконсульта, очень близкого к ним.

С особой горечью Пьер Дэкс видит мечущихся представителей французской молодежи.

Отравленные пропагандой войны, уверенные в скором конце света, торопящиеся жить, опьяненные истерическими ритмами импортированных из Америки безобразных танцев и бешеной скоростью автомобилей, отказавшиеся от устаревших представлений прошлого и не приобретшие новых, эта часть французской молодежи, опустошенная, ищущая и не находящая, вызывает у Пьера Дэкса и боль, и заботу, и тревогу.

Героиня романа Лиз Рувэйр — дитя войны и послевоенного психоза ожидания новой, еще более страшной войны.

Но как бы безжалостно ни разоблачал Пьер Дэкс представителей молодежи, показывая трагический для некоторых из них исход, все же он не теряет веры в будущее нации, веры в людей.

И как ни исковеркана Лиз, в ней есть что-то хорошее, здоровое, ростки которого подмечает писатель. Недаром главным обвинением против не совершавшей никаких преступлений девушки выдвигается ее мнимая близость к коммунистам.

Но она еще не понимает коммунистов, еще далека от них. И все же, всегда бежавшая от жизни в своем иступленном желании жить, прятавшаяся за стеной чувственных потрясений Лиз начинает постигать окружающие ее пустоту и грязь и по-женски ищет выхода в привязанности к Алексу, человеку чистому, не похожему на ее прежних любовников, готова довериться его другу, близкому к коммунистам.

Яркой фигурой выводит Пьер Дэкс брата Лиз, Франсиса, израненного на войне в Индокитае, на войне грязной, гнусной, уничтожающей не только стариков и детей, но и все человеческое в тех, кто вынужден уничтожать по чужому приказу.

И все-таки, если есть в человеке гордость, стыд и совесть, если заставляют они человека время от времени содрогаться и вспоминать им содеянное, то в решительную минуту, когда нависнет над нацией угроза фашизма, найдутся силы даже в изуродованном ее теле.

Символом изувеченной французской молодежи становится скованный гипсом Франсис. Он, как статуя Командора, принимает на себя роль мстителя: если сохранилась искра в сердце, даже окаменевшее тело сильнее мускулов откормленной гориллы.

Роман Пьера Дэкса дает картину напряженной политической борьбы во Франции в те дни, когда колониальные войска потерпели поражение под Дьен-Бьен-Фу. Это событие заставило задуматься не только солдат и офицеров, но и всех честных людей, в которых Дэкс видит будущее своей родины.

*Казанцев*

---

---

<b>notes</b>
--------------



МРП (Mouvement Republicain Populaire) — многочисленная, весьма неоднородная по социальному составу политическая партия. В первые послевоенные годы во многом блокировалась с коммунистами, но потом значительно поправела и приняла католический характер. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

ФФИ (Forces Françaises de l'Intérieur) — вооруженные отряды Сопротивления. Филиппом звали маршала Петэна. Откровенно фашистская «милиция» Дарнана расстреливала как непокорных ФФИ, так и нерешительных, не имеющих фактической власти петэновцев.



Антикоммунистическая листовка использует популярную песню Жозефа Косма «Мертвые листья собирают лопатой».

Алэн Жербо — молодой француз, в начале двадцатых годов один, на парусной шлюпке пересекший Тихий океан.

Одна из бригад французских фашистов, сражавшаяся вместе с германскими фашистскими войсками.

Сен-Сир — старейшее во Франции военное учебное заведение, выпускающее офицеров.

Название парка «Багатель» (Bagatelle) — дословно «пустяк», «безделица».

«Печальным подъемом» и «Бритвой господина Дейблера» на языке парижского дна называется гильотина. Представители семьи Дейблер в четвертом поколении занимают пост палача Парижа.

Фашиствующий французский журналист времен гитлеровской оккупации.

«Стрип-тиз»— одна из самых вульгарных разновидностей американской эстрады. По ходу исполнения песенки певица раздевается.